

СИБИРНАДА

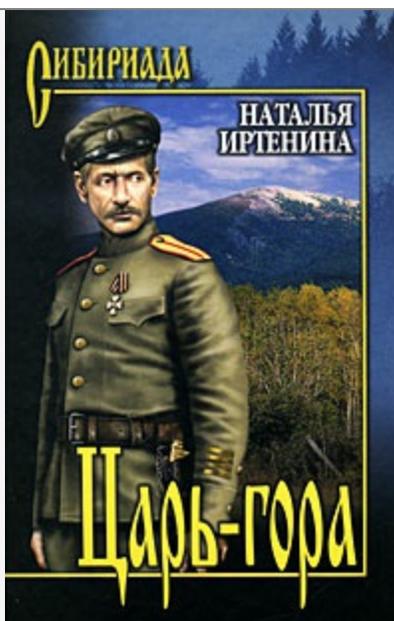
НАТАЛЪЯ
ИРТЕНИНА



ЩАРЬ-ГОРА

- [Наталья Иртенина](#)
 - [Царь-гора](#)
 - [Аннотация](#)
 -
 -
 - [Наталья Иртенина](#)
 - [Царь-гора](#)
 - [***](#)
 - [Часть первая](#)
 - [ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 -
 -
 - [Часть вторая](#)
 - [ПОДЗЕМНАЯ ЧУДЬ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [Часть третья](#)
 - [ГОРНАЯ ДЕВКА, КАМЕННАЯ БАБА](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [БЕЛОВОДЬЕ И ЦАРЬ-ГОРА](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [Часть пятая](#)
 - [БЕЛАЯ БЕРЕЗА](#)
 - [1](#)
-

Царь-гора



«Царь-гора»: Вече; М.; 2008
ISBN 978-5-9533-3517-1

Аннотация

Судьба порой совершает вовсе неожиданные повороты. Молодой ученый Федор Шергин, испытав очередной творческий кризис и полосу неудач, уезжает по совету близких на родину своих предков – на Алтай. Рассчитывая развеяться и отдохнуть, Федор помимо воли оказывается втянутым в круговорот странных событий: ночное покушение в поезде, загадочный попутчик, наконец, участие в расследовании сибирской загадки вековой давности, связанной с его легендарным прадедом – белым офицером, участвовавшим в секретной операции по спасению царской семьи, и поиски таинственной алтайской Золотой орды...

От Усть-Чегеня до монгольской границы восемьдесят километров по Чуйскому тракту. Жизнь среди гор тиха и неприметна, как ручей под миролюбивы. Местные жители любят спокойствие и характером незлобивы. Последнее достойное внимания событие произошло в этих краях четыре года назад. В Усть-Чегене объявилась делегация из Монголии с культурной программой дружбы народов и намерением приобщить здешнее население к учению Будды. Но местные язычники религиозной экспансии стойко воспротивились. Население с азиатским разрезом глаз хранило верность своим духам, русское не спешило отречься от атеистических традиций Страны Советов, не так давно канувшей в небытие. Зато монгольским гостям решительно удалась другая часть программы. Обветшавшие, поборванные пограничниками контрабандные связи были вновь налажены к взаимному удовлетворению сторон. Когда делегация удалась, жизнь опять вошла в тихое и неприметное русло. Только русское население, не находя применения силе русского духа, продолжало вымирать либо уезжало на большую землю. Незлобивые соседи с азиатским разрезом глаз провожали русских братьев до кладбища и помогали живым паковать имущество.

На сгоревшую церковь никто поначалу не обратил внимания. Событие мелкое, обыкновенное. Не то чтобы в Усть-Чегене часто горели храмы Божии – их тут вовсе не было, кроме той деревянной сараюшки без купола на отшибе селения. Творение безымянного купца позапрошлого века стояло безлюдное, необиженное, дырявое, как решето. Одним словом, замухрышка, и перед монгольской религиозной экспансией не удержалась бы, кабы не стойкость местных язычников.

Одна бабушка Евдокинишна знала тайну старой церкви. Свой столетний век она доживала в теплом углу у печки за занавеской. Блаженно жмурила полинявшие голубые глаза, суеты вокруг себя никакой не создавала и проводила дни в неподвижной созерцательности, сложивши руки на коленях. Да иногда глядела в окошко. Так бы созерцательно и в вечность переселилась и тайну унесла бы туда же. Но неожиданно-негаданно в Усть-Чегень прислали священника для возрождения православной веры в местном населении. На церковь, которую будут ставить заново, наконец обратили взоры. Бабушка Евдокинишна, прослышавшая обо всем последней, вдруг оставила созерцательность, ожила, заволновалась, прослезилась по сгубленному купеческому творению и скрипуче молвила:

– Енерала схоронили, у церкви.

– Какого генерала? – спросил Федор, уставясь на прабабку, изумлявшую поведением.

– Белого енерала, – сказала та, быстро набирая твердость в голосе, – с царскими медалями.

Федор бросил книжку, огляделся, закрыл окно, проверил, нет ли кого за дверью.

– Путаешь, бабуль? – спросил он после, заглянув бабке в линияые глаза, будто застиранные былыми слезами. – Тут атаманы да капитаны от красных в Монголию уходили, а про генералов литература не упоминает.

– Что ж литературе поминать, – сморщилась бабушка Евдокинишна. – Поп наш, дядька мне двоюродный, да я – вдвоем енерала схоронили. Другим не ведомо было.

– Это какой поп? – допытывался Федор.

– А его потом в дверях церкви и повесили, – пожевала сизыми губами бабушка Евдокинишна.

Одиннадцать вагонов поезда нестерпимо провоняли человеческой гнилью. Несло от каждой лавки, узлов с барахлом, от свисавших с верхних полок грязных ног, бабьих юбок и из-под юбок, от всей краснорожей сволочи, дезертиров, спекулянтов, мешочников, шулеров и рецидивистов. Даже в окно поддувало вонью из клозета.

Поезд медленно продвигался по февральским снежным заносам на восток, к Уральским горам. На станциях его брала штурмом озверевшая в ожидании толпа: закидывали мешки и чемоданы, лезли в окна, на крышу, набивались в проходы, приносили с собой новую вонь и, захватив место, располагались надолго. Стоянки длились дольше, чем ехали, но выходить из вагона было чудовищной глупостью. Обратного можно было не попасть. Станционные торговки совали в окна вареные яйца, яблоки, кренделя, кульки с семечками, взамен получали сахар, чай, мыло, редко – мятые «романовки» или «керенки».

Кроме вони, спасения не было от вшей, визгливой ругани, детского рева и пролетарских песен под гармошку. Девять суток в пути. Иногда поезд вставал на несколько часов посреди голой степи. По вагонам разносился протяжный волчий вой, но издавали его не волки.

Капитан Шергин пытался освободиться от навязчивой действительности с помощью отвлеченных умственных построений. Маска контуженного солдата, едущего с фронта, позволяла не участвовать в разговорах о мировой революции и не слушать большевистские бредни. Он сидел возле окна, кутался от сквозняка в выдавшую виды шинель и с тоской думал о новом мире, который эта воровская публика собиралась строить на обломках прежнего. На очередной Богом забытой станции стояли пятый час. За окном вдоль поезда бродили люди самого дикого вида и, очевидно, столь же диких намерений. Многие были с винтовками на плече, из-под башлыков краснели пятиконечные звезды. Голодное подвывание ветра и густой снег, сыплющий будто перья из вспоротой большевистским штыком подушки небес, придавали всей картине зловещий апокалиптический характер. У окна вдруг возникла картинно уродливая рожа, припала к стеклу, поводила глазами и носом. Шергин, встретившись с ней взглядом, вздрогнул и отодвинулся к стенке. Когда рожа исчезла, он подумал, что отвращение в нем вызвало не столько каторжное уродство человека, сколько звезда на шапке, торчащая двумя рогами кверху.

Метель ослабла, и на сером станционном здании глянуло красное полотнище от края до края. Шергин уже привык к этим абсурдным, совершенно бандитским лозунгам. Они были бы даже курьезны, если бы шастающая повсюду матросня в кожанках и с наганами, а за ними вся краснопузая рать не находили в этом вздоре глубокий смысл, который тут же, на месте, воплощался ими в жизнь. «Да здравствует Царство социализма, смерть буржуям-кровопийцам!», – сообщала надпись на полотнище. «Царство», написанное с большой буквы, заставляло задуматься над тем, как преломляются в новой большевистской религии прежние христианские представления. Безусловно, думал Шергин, перстом Божиим в новом вероучении была рука вождя пролетариата, указывающая на тех, кого надо расстрелять, чтобы скорее очутиться в красном раю.

Ему вдруг живо и в деталях представился вылепленный в камне идол революции – товарищ Ленин на высоком постаменте, с пророчески вытянутой вперед рукой, с перстом указующим. Шергин принялся размышлять о человеческой привычке различными метафорами и прочими фигурами низводить Бога с небес на землю, приравнивать Его к

своему жалкому земляному пониманию...

В конце вагона пьяно грянули «марсельезу». Он поморщился, закутался плотнее в шинель, поднял воротник до ушей.

...Бог же из жалости к людям сотворил собственную метафору – Богочеловека, накрепко связав земное и небесное. Впрочем, и сама эта мысль, заключил он, всего лишь метафора, приноровленная к жалкому человеческому пониманию того, кто ее придумал, – самого капитана Шергина.

Однако дело совсем не в этом, рассудил он затем. А в том, что вторую неделю он безвылазно едет в грязном общем вагоне, переодетый в солдатскую форму, направляясь с тайным планом в Тобольск к государю, который томится в плену среди бандитских орд, и это голые факты, а не образная фигура. Но и голые факты тотчас обернулись в уме Шергина широкой метафорой. Ему представилась Россия в виде провонявшего человечьей гнилью поезда, куда набилась сволочь всех мастей, мечтающая о земном рае под стать себе, – а впереди у этой измызганной революциями России расплывающаяся цель и государь, скрытый за неизвестностью, до которого надо еще добраться, чтобы вырвать из небытия...

И опять же не в этом дело. Шергин задумчиво потер лоб. Самое интересное и, вероятно, главное теперь заключалось в том, что Божий перст вовсе не метафоричный, а самый что ни на есть упирался ему в лоб и недвусмысленно предупреждал: ты, человек, едешь совсем не туда и не за тем. При этом в голове, как криво вбитый гвоздь, саднило ощущение, что и девять десятых в России нынче делают то, чего не хотят, идут куда им не нужно, и сами об этом смутно догадываются.

Настолько смутно, что можно пренебречь.

Шергину тоже захотелось пренебречь хоть на малое время. Под матерную брань и пьяные вопли о достоинстве республики – опять в вагоне кого-то убивали за контрреволюцию – он стал думать о том времени, когда вся эта красная чехарда с ее «режь-публикой» уймется и забудется. Вероятно, оно окажется похожим на страшный сон. Будет ли Бог милосерден к русским людям будущего, дарует ли им знание того, что нужно знать, и будут ли они понимать, кто они такие?..

Рано утром Федор проснулся в мучительном размышлении о смысле бытия. Не какого-нибудь вообще человеческого, а своего собственного, родного. Еще во сне он пытался убежать от этого тягостного вопроса, но не смог – земля под ногами превратилась в клей. Теперь, наяву вопрос догнал его и оглушил. Федор внезапно осознал, как крупно не повезло ему вляпаться своим личным бытием не в то время и не в то место.

Но времена, как известно, не выбирают, а с бытием надо было все же что-то делать. Вероятно, следовало попытаться просто сменить место, однако существовали опасения, что от перемены географических слагаемых его участь не изменится...

Федор взял пропиликавший телефон, выслушал ультиматум и угрозы. Голос был незнакомый, но это не имело значения.

– Я вас понял, и незачем хамить. Перезвоните в четверг.

Бросив трубку, он отрешенно добавил:

– После дождичка.

После этого попробовал растолкать лежащее рядом женское тело.

– Эй, слышишь? Проснись, тебе говорю.

Девушка приоткрыла глаз и грубо ответила:

– Пошел к черту. Я тебя не знаю.

Федор вспомнил ее имя – Лиля.

– Да и мне с тобой не пуд соли есть. Ты мне скажи: Золотые горы – это где?

– В Центробанке, – сквозь сон пробормотала она.

– А, – разочарованно протянул Федор. – Это меня не спасет. Слышишь? – Он пихнул ее в бок и повторил: – Это меня не спасет.

Девушка промычала нечто, отмахнулась, повернулась спиной, широкой и гладкой.

Федор с внезапной ненавистью смотрел на эту спину. В нем рождалась решимость. Золотые горы, тоже неясно оформившиеся во сне, еще будили в нем надежду, но теперь и она погасла. Он встал, подошел к окну, распахнул настежь. Своим последним взглядом на действительность Федор постарался выразить весь пошлый трагикомизм бытия. Затем он сел на подоконник и быстро перекинул ноги наружу. Оглянулся на женскую спину, все такую же равнодушную. Запустил в нее мягкой игрушкой с окна.

– Да проснись ты, корова! – отчаянно попросил он напоследок.

Девушка лягнула ногой.

Трагикомизм на глазах делался еще более пошлым. Федор не стал медлить.

– Надеюсь, никто не будет обо мне жалеть, – сказал он на прощание, перекрестился на всякий случай и спрыгнул не глядя.

Внизу раздались треск кустов, женский визг и собачий лай.

Через несколько минут в дверь квартиры зазвонили. Громкая, непрерывная трель сосредоточила в себе всю ярость и невысказанную обиду звонившего. Девушке все же пришлось проснуться и, натянув халатик, зевая, идти открывать.

– Сейчас! Кого еще принесло...

Федор ворвался, перепугав ее своим видом. Он был в трусах, босой, исцарапанный до крови, хромал на одну ногу. Кроме того, лицо его исказило страшное выражение. Схватив в охапку полуголую девицу, он вытолкнул ее за порог и захлопнул дверь.

– Пошла вон!

В спальне скатал комом платье, трусики и лифчик, подобрал туфли. Вернулся в прихожую. Девушка рвалась в квартиру, терзала звонок и громко, вульгарно ругалась. Федор бросил ей одежду и снова хлопнул дверью у нее перед носом.

– Идиот, это моя квартира! – услышал он в потоке грубой брани. – Сам пошел вон!

Федор на мгновение задумался, схватился за голову, затем рассмеялся. Им овладела легкая истерика, перешедшая вскоре в икоту.

Он выглянул в окно, из которого выпрыгнул в надежде убиться и уверился в простой истине: прежде чем творить суицид, нужно хотя бы осмотреться вокруг. Квартира находилась на четвертом этаже, внизу росли пышные кусты с гибкими ветвями, едва оперившиеся весенней зеленью. Правда, располосовало его убедительно и вполне ощутимо, но с такими ранами он больше походил на размалеванного индейца, чем на трагическую личность, не имеющую причин продлевать собственное бытие.

Федор вытер простыней кровь, оделся, сунул в карман телефон и впустил наконец бьющуюся об дверь девицу. Вслед ему она отправила с десятков изощренных выражений и в конце поставила жирную точку:

– Чтоб ты сдох, придурок!

Она даже не догадывалась, насколько ее пожелание было близко к тому, чтобы осуществиться – если не по воле Федора, то усилиями других людей, чьи планы он слишком неосмотрительно нарушил и с чьим имуществом так неосторожно обращался. Вот уже двое суток перед ним стоял выбор: раздобыть непредставимо большую сумму денег, что абсолютно невозможно, либо искупить вину кровью, что, напротив, легко осуществимо.

Федор почувствовал себя глубоко несчастным. Несчастьем было уже само место его работы. С самого начала он подозревал, что это приведет к чему-то подобному. Но нервы успокаивал размер вознаграждения, а о душе и совести на такой работе думать опасно – можно себя не уберечь.

Теперь же выходило, что и без совести он себя не уберег. Когда очередной курьер из Сибири, покинув ванную, протянул ему дуршлаг с отмытыми алмазами, Федора попутал черт. Он вдруг решил, что ему все позволено. Камни он должен был передать наутро, а вечер провел в баре, где познакомился с дамой. Она была намного старше его, в глазах у нее плескалась томная печаль. Федор, не долго думая, предложил ей провести ночь в люксо-отеле. Она согласилась. В номере гостиницы самозванный нувориш вел себя развязно и страстно, целовал ей ноги, сорил по полу купюрами, обещал озолотить, а под занавес действия вывалил на постель алмазы...

Утром он проснулся один, с головной болью, и долго ползал по ковру, собирая деньги. Потом его пронзила догадка, он кинулся искать алмазы. Нашел лишь четвертую часть. Томно-печальная дама оставила ему немного крошек с пиршественного стола. Следовало полагать из лучших побуждений. Федор был уверен: окажись на ее месте молодая деваха, о его доле она бы и не подумала.

Над головой в апрельском ясном воздухе медленно растекался колокольный звон. Федору тоже торопиться было некуда, за него спешило время, приближая неотвратимое. Он дошел до конца улицы и уперся взглядом в старинную церковь, похожую на сказочный теремок в окружении клейких листиков весны. У ограды топтались нищие, совершенно дееспособные на вид и хоть не цветущего, но явно крепкого здоровья, еще справлявшегося с избытком алкоголя. В руках они держали картонные коробки и поздравляли прохожих с

праздником. Федор с внезапным интересом кинул им по рублю и спросил о празднике. Двое дали противоречивые ответы, третий, не моргнув глазом, назвал День сантехника. Федор удовлетворенно кивнул, поднялся на паперть храма и, помявшись, обмахнул себя для порядку скромным крестом.

Внутри народу было немного, служба кончилась. Федор приблизился к свечной конторке и спросил у женщины, с головой закутанной в черное:

– Где тут у вас чудотворная икона?

Прежде он не имел отношений с церковью, но из чужого религиозного опыта сделал заключение, что в каждом храме непременно должна быть чудотворная икона.

Женщина поглядела поверх очков, помедлила, рассматривая его физиономию, заклеенную пластырем в аптеке. Будто раздумывала, для чего ему непременно чудотворная. Затем показала: «Там». Федор взял у нее самую толстую, длинную свечу и направился в левый придел. Под киотом со старинной потемневшей иконой был устроен помост с перильцами, перед которым образовалась очередь в несколько человек. Федора это удивило, он предполагал, что просить у иконы чуда можно и бесконтактным способом. Но, видимо, имело смысл делать как все, и он встал в хвост. Воткнув в свечницу зажженную свечку, смиренно дождался своей очереди.

Поднявшись на помост, он рассмотрел лицо Богородицы. Его сложно было назвать женственным, тем более красивым, но Федору красота не требовалась. Пожалуй, это даже помешало бы ему и отвлекло от главного. «Я не знаю, как ты действуешь, – сказал он беззвучно, – но я вляпался в такое дерьмо... Хотя тебе, наверно, и так все известно... Обещаю, больше никогда... – Слова потекли легче и быстрее, словно миновали препятствие. – Меня теперь спасет только чудо... Сегодня я хотел покончить с собой, но как-то не вышло. Случайно оказался не в своей квартире. Может, это тоже чудо... А может, все-таки случайность...»

Федор запутался в мыслях, вдруг заподозрив, что в чудеса он совсем не верит. Поклон получился неуклюжим и стыдливым. Распрямляясь, он задел головой низко висящую у иконы лампаду, и та закачалась. Рядом мгновенно объявилась плюгавенькая старушка, рассерженно потребовала:

– А ну-ка не хулигань тут, парень, а не то тебя живо выведут!

Федор удивленно оглянулся на нее.

– Что, бабусь, в церкви вышибал завели?

Старуха забормотала «свят, свят», косясь на него, и стала протирать тряпкой чудотворную.

Федор спустился с помоста, увидел батюшку в красной пасхальной ризе, разговаривающего с прихожанкой; затем принялся рассматривать росписи. Донесли слова священника:

– Золотые горы нам тут, матушка, не обещаны...

Федор одеревенел, резко повернулся и шагнул в сторону, уходя за прикрытие массивной квадратной колонны. Его пробрала холодная дрожь, и он стал успокаивать себя тем, что это просто случайность. Сильный запах ладана, прежде едва ощущавшийся, теперь обволакивал его плотным невидимым облаком. Он поднял взгляд и увидел того самого попа, стоящего перед ним будто Христос перед мытарем.

– У вас лицо человека, подошедшего к последнему пределу, – произнес священник. – С таким лицом либо налагают на себя руки, либо круто меняют жизнь. Исповедаться не

хотите?

– Спасибо, – вежливо отказался Федор и молвил с неким вызовом: – А все-таки Золотые горы мне обещаны, – он сделал паузу и добавил, словно иронизируя: – батюшка.

– Глупости, – решительно отмел его заявление священник, но вдруг задумался. – А знаете что. Если уж вам вправду обещано. Поезжайте на Алтай. Даст Бог, все сладится.

– Зачем, мне на Алтай? – страшно изумился Федор.

– Затем, что алтайские горы Золотые. Их так называют испокон веку. А если вы там не найдете себе пристанища, я дам вам записку к своему знакомому, тамошнему священнику. Он вас приютит.

Не дожидаясь согласия, батюшка подошел к свечной конторке и черкнул на «здравном» листке несколько строк.

– Вот вам путевка в жизнь, – пошутил он, вручая листок ошеломленному Федору. – От глупостей же сохрани вас Бог.

Священник военной походкой ушел в алтарь, оставив его одного раздельваться с половодьем противоречивых чувств. Федор повернулся к женщине в черном.

– А вы верите в случайности? – спросил он.

– Это бывает, – она улыбнулась, поправив очки.

Федор поискал в карманах деньги на пожертвование. Их оказалось много.

– Не поймите меня неправильно, – он вывалил на прилавок горку крупных купюр, последнее, что оставалось от бывшей уже работы, – просто удивительные случайности у вас тут происходят.

– Тоже бывает, – кивнула свечница, снова улыбаясь.

Теперь она показалась Федору красавицей. Поразительно, подумал он, как украшает женщину сочувствие к ближнему. А ведь еще несколько лет назад его пугало обилие дурных, уродливых лиц на улицах и в студенческих аудиториях, особенно у девиц. Федор относил это печальное явление на счет вырождения нации, слишком жадно припавшей к общему котлу цивилизованных ценностей с портретами американских президентов. Но в последнее время лицо нации явным образом улучшило свои очертания, и это, вероятно, не могло не приводить к мысли, что возрождаемая любовь к отеческим гробам не такое уж пустое занятие.

Бумажку с алтайским адресом Федор прочел, сунул в карман и тут же забыл о ее существовании. Не то чтобы он совсем отвергал мысль о необходимости ехать в алтайские дебри, но все же основывать свои жизненные планы на чудесах и руководствоваться в делах мистическими влияниями он не привык. Хотя, разумеется, все когда-то происходит в первый раз, и, возможно, надо было как раз начинать.

Федор посидел в кафе, выпил чашку кофе и съел бутерброд с ветчиной. Чаевых не оставил – официант не понравился ему лицом и манерами, да и денег было непривычно мало. Затем он спустился в метро и поехал в университет. Там Федора давно ждали для серьезного разговора на тему перспективности его дальнейшего пребывания в стенах альма-матер. Уже год он числился в аспирантуре, но еще того дольше фигурировал в негласных списках золотой столичной молодежи, и оба эти факта решительно противодействовали друг другу. Федор до сих пор не мог объяснить себе, как произошло подобное раздвоение его личности, однако приводить все к единому знаменателю не спешил. За него это отлично могли сделать другие.

Завкафедрой встретила его так будто поджидала с вечера и провела в нетерпении всю

ночь. Мужа у Елены Модестовны никогда не было, и к тридцати восьми годам к ней крепко пристал ярлык матери-одиночки с непреходящей тоской по мужу-подкаблучнику. По мнению Федора, к науке она была непригодна ни в каком виде, и ему всегда хотелось каким-нибудь образом сказать ей об этом.

После посещения храма состояние его души было противоречивым и беспокойным, как море с пятибальной зыбью. С одной стороны, расхотелось совершать прыжки из окна и потянуло к чему-то большому и светлому. С другой – он слишком хорошо осознавал, что пути к светлому ему не одолеть и вряд ли стоит к тому стремиться. Ведь там, в конце пути, непременно окажется своя Елена Модестовна и приобщение путников к оному светлому будет происходить под ее свербящим контрольным взглядом, от которого не ускользнет ни одно отступление претендента от заведенных правил и заповедей.

Федор сел на стул и, кинув ногу на ногу, благосклонно выслушал претензии Елены Модестовны к его кандидатской диссертации, существующей пока лишь в виде названия.

– Вы прекрасно понимаете, – заключила она, под конец речи утекая взором мимо него, – что, при всем уважении к вашему отцу, мы будем вынуждены поставить вопрос прямо...

– Помилуйте, Елена Модестовна, – вскинул руки Федор, – вы прекрасно понимаете, что мой уважаемый родитель тут вовсе ни при чем. Просто меня не устраивает тема моей диссертации. Слишком пресно, по-моему. «Проекты политического устройства России в годы Гражданской войны» – в этой теме, знаете, не хватает оккультного перца. На худой конец, какой-нибудь конспирологии.

Елена Модестовна, чуть побледнев, насторожила взгляд.

– Отчего это вас потянуло к псевдонауке? – спросила она подозрительно.

– Да вот, побывал недавно на одном семинаре, – охотно объяснил Федор, – на тему как раз действия темных сил и оккультизма в истории. Очень современное звучание, знаете. А вы как на это смотрите?

По правде говоря, из того семинара он вынес мрачное впечатление, что всю мировую историю и современность нужно подвергать немедленному экзорцизму. Но, к сожалению, добавлял он про себя, изгнание духов зла не поможет избавиться от проблемы с украденными алмазами. Авторитетные люди, уважающие конкретность в делах, очень плохо поддаются экзорцизму.

– Я на это смотрю как на вашу избалованность и недисциплинированность, – ответила завкафедрой и поджала крашенные в ниточку губы. – Но если вам так угодно... Как, по-вашему, должна звучать тема?

Федор откинулся вместе со стулом, опасно поставив его на задние ножки, и, не гадая, выпалил:

– «Гражданская война как проект обустройства России». Годится? И заметьте, проект вполне действующий. Даже во мне самом ощущаю этот разлагающий мою цельность процесс. Буквально чувствую в себе распад на враждующие лагеря.

Елена Модестовна бесстрастно подвинула к нему чистый лист бумаги, быстро смирившись с капризом *enfant terrible*.

– Пишите заявление.

Федор прихлопнул стул всеми четырьмя ногами к полу.

– Что вы, Елена Модестовна, я же пошутил. Вы однако не дослушали. Так вот, о враждующих лагерях внутри меня. Представьте себе, одна моя половина заявляет о желании

разложить вас сейчас на этом столе и заняться с вами сексом. Другая половина, представьте себе, с ней спорит, уговаривает не делать глупостей, за которые потом будет мучительно стыдно.

Елена Модестовна сделалась мертвенно серой и сжала губы до их полного исчезновения. Федор с наслаждением следил за подземными толчками гнева в этой холодной глыбе мемориального мрамора. Но взрыва не произошло.

– Этот пьяный дебош, – процедила она со стиснутыми зубами, – вам так не сойдет, имейте в виду. Пошел вон, щенок.

– Не смею больше обременять вас своим присутствием, – откланялся Федор.

Он отправился гулять по университетскому городку, растекаясь мыслью по поводу странностей человеческой судьбы. Иной раз, к примеру, судьба дает себя знать, что называется, обухом по голове, единожды и навсегда. Иногда же, а может, и чаще всего ее не допросишься явиться и направить тебя по нужной дороге. С некоторых пор Федору казалось: жизнь проходит не то чтобы мимо, а как-то зря. В неясных перспективах он подумывал о женитьбе. Если жениться, тогда жизнь будет проходить, вероятно, не зря, но все же как-то мимо. «А может, в самом деле поехать в горы, – спрашивал он себя, – размышлять там о вечном, собирать кристаллы бытия и складывать из них слово “Бог”?»

Он дошел до стадиона и направился вдоль трибуны. На скамейках повыше курили студенты. Федор уловил слабый запах анаши. Парень в красной куртке, с некогда обваренной чем-то едким щекой, монотонно рассказывал историю из старого детского фольклора «о черной руке и зеленом диване». Только у него фигурировала черная горелая береза и пустая станция метро.

– ...огромная, и ты в ней как мошка. А красотища неопишная, но ты понять не можешь, что именно красиво, – а просто ощущение, что красотища.

На Федора посмотрели, и рассказчик спросил, не проявляя враждебности:

– Тебе чего? Покурить?

– Послушать.

– Ну, слушай.

Федор сел на скамейку поблизости.

– Ты чувствуешь, что вокруг полно невидимых, которые на тебя смотрят, и знаешь, что они тоже неопишимо красивые, хоть и не видишь их. И это все – тайна. Ты попадаешь в тайну, в самую середину. Ты вдруг понимаешь, что эти невидимые смотрят на тебя, на твою жизнь все время, а не только здесь, и внушают тебе, что нужно делать. Ты не знаешь, добрые они, мудрые или злобные, вредные. Это хуже всего. Если решишь, что они злые, то сойдешь с ума, потому что не сможешь забыть, как они смотрят и думают за тебя. Можешь прямо там свихнуться и даже не выберешься со станции. Или выберешься, а потом сковырнешься от тоски. А если решишь, что они мудрые и все правильно делают, тогда они тебя будут одаривать. Богатым сделают или власть дадут. Могут знание особенное открыть, или гением станешь. У них много всего. Главное, горелую березу найти. Вход туда через нее. Но там обязательно метро, а пещера, например, тоже огромная, красоты неопишимо.

Парень в красной куртке замолчал, сделал затяжку, с губ его порскнула прозрачная струйка дыма. Остальные ничего не спрашивали, сосредоточенно безмолвствуя, и Федор догадался, что все они сейчас примеряют на себе испытание таинственной пещерой. Вне всякого сомнения, это были жертвы науки. Причем, подумал он, совершенно конкретной оккультной науки, без разбору импортируемой со всех закоулков мира и колосающейся диким

образом на отечественных болотах.

– Вот что меня мучает, парни, в последнее время, – поделился он своим риторическим, – отчего это получилось, что русскую жертвенность так полюбили в мире, что приносить русских в жертву стало даже традицией? Причем у самих же русских в первую очередь. Вот где тайна настоящая.

Студенты, вяло переглянувшись, сочли необходимым не вмешиваться в его далеко идущие размышления. Загоптав докуренные косяки, они оставили Федора в одиночестве на скамейке стадиона. Но и ему стало скучно без всякой пользы греться на солнце. В кармане он нащупал последнюю купюру и пошел покупать пиво.

Впрочем, пивом риторические вопросы на Руси никогда не решались. В результате в руках у него оказалась бутылка водки. Распорядившись ею в три приема, он собрался с духом, остановил машину и поехал в Кисловский переулок, к родителям на покаяние.

День быстро подходил к вечеру. Федор, борясь с хмельной квелостью, сочинял в уме речь, которая должна была пробудить разумное и доброе в душе его отца и вынудила бы того расстаться с некоторой суммой денег. Машина ехала быстро, нигде не останавливаясь, хотя обычно в это время вся Москва коптилась в пробках. За окном мелькали незнакомые улицы. Федор насторожился.

– Шеф, куда везешь?

Ответа он не услышал и повернул голову к водителю. Но тут же подумал, что не следовало этого делать. Им овладело непостижимое состояние безумного ужаса пополам с холодной, совершенно трезвой расчетливостью. Он ясно вспомнил, что денег расплатиться у него нет, а тот, кто сидел за рулем, даже не назвал цену. Федор понял, что нужно бежать, и чем скорее, тем лучше. Он почти слышал, как в голове, в образовавшейся там морозной свежести скрипят напуганные шестеренки и вытаскивается сумасшедший план побега.

Федор закрыл глаза, сосчитал до трех и снова посмотрел на водителя. На плечах у того по-прежнему сидела мохнатая медвежья голова, а в зеркале отражалась звериная морда. Ниже головы был буро-зеленый плащ, под ним выпукло обозначалось женское естество. Когда морда начала поворачиваться, Федор толкнул дверь и выпал из машины. В несколько кувырков его отбросило к тротуару, ехавшие следом два автомобиля, страшно проскрежетав, воткнулись друг в дружку.

Держась обеими руками за голову, Федор поднялся и, шатаясь, побежал прочь. Сзади кричали, свистели, но остановить его не смогла бы даже судная труба архангела.

В контакт с родителями, особенно отцом, Федор старался входить как можно реже. На собственные деньги он снимал отдельную квартиру, куда водил девиц легкомысленного поведения и привозил с вокзала курьеров из Сибири, снабжая последних большим количеством слабительного. Ужин в кругу семьи, случавшийся не так часто, почти всегда оказывался расстройством и разочарованием и без того слабых надежд. Но в этот раз все пошло как-то по-особенному наперекосяк.

Заготовленная речь вылетела из головы во время кувыркания на дороге под колесами машин. К тому же, хотя Федору и удалось убедить себя, что медвежья башка соткалась у него в мозгу из спиртных паров, состояние его оставалось взвинченным и нервным. А к утреннему пластырю добавилась обширная ссадина на скуле.

– С таким лицом тебе стоять в переходе с протянутой рукой, – холодно заметил отец за столом.

– Да, пожалуй, мне следует круто поменять свою жизнь, – отозвался Федор.

Но отцу на этот раз было не до его жизни. Он числился третьим в списках своей партии на выборах в областную думу, и за ужином говорил только о политике, впрочем, как всегда, и о плохом состоянии демократии в России. Мать доверчиво поддакивала. Федору ничего не оставалось, как работать за оппозицию.

– Я думаю, – сказал он, – что демократия, если она честная и непредвзятая, должна хоть раз сама себя отменить. Самым демократическим путем. Кстати, прецеденты в мировой истории были, я имею в виду Древнюю Грецию. Но в наше время ей просто не дадут этого сделать – начнут бомбить.

– Ты в этом ничего не смыслишь, и лучше тебе помолчать, – нахмурился отец.

– Меня лишают права голоса? – поинтересовался Федор.

– Ну почему же. Если тебе так хочется поговорить о правах человека...

– Права человека – примитивная политическая ложь, – желчно сообщил Федор. – У человека только одно настоящее право – оплакивать себя. А поиски всеобщего демократического счастья – это поиски Беловодья, бессмысленной мифической страны справедливости и тупого довольства.

– Интересный поворот темы, – сказал отец и обратился к матери: – Наш сын в перерыве между пьянкой и гулянкой прочитал книжку «Вся философия за 90 минут» и возомнил себя Сократом.

– Тогда уж Платоном, – уточнил сын.

– Какие еще сравнения ты почерпнул оттуда?

– Демократия – это политический СПИД, – заявил Федор. – Она разрушает защитные механизмы государства. Сама по себе она ноль, но открывает дорогу чему-то более отвратительному. И кстати. Каков процент педерастов в вашей уважаемой партии? Поскольку это...

– Вон из-за стола! – рявкнул отец. – Наглец!

– ...прямейший показатель уровня демократических свобод, – договорил Федор, вставая, и вздохнул печально: – Все меня сегодня гонят. Никому я не нужен.

Он отправился в свою комнату и лег на старый диван, который не разрешал матери выбрасывать – слишком удобен был для одиноких размышлений. На этой лежанке Федор проводил лучшие часы жизни. На продавленном и протертом, покрытом пледом диване он обретал цельность своей противоречивой натуры, обычно разрываемой на части мощными влияниями окружающей среды. Вот и теперь враждебные лагеря внутри него затихли, и он смог спокойно обдумать свое неустойчивое положение в этом мире. Было очевидно, что он остался без средств и без отцовской денежной подпитки: после такого разговора даже о простом примирении думать было сложно. В этот момент Федору вспомнилось, как он излагал Елене Модестовне свежее видение темы диссертации. А ведь, если вдуматься, очень изящно, отточенно было сформулировано, учитывая, что новое название взялось из воздуха. Теперь мысль о гражданской войне как действующем проекте завладела его воображением и повела вперед. От враждующих лагерей внутри него самого, из-за которых пострадала Елена Модестовна, став его смертельным врагом; от скандала за столом, проделавшего еще одну пробоину в семейных отношениях...

В комнату вошла мать, села на край дивана. Федор взял ее ладонь и положил себе на лоб.

– Мама, я уезжаю, – произнес он. – Ты дашь мне денег?

– Это неправда, что ты никому не нужен, – сказала она.

Он поцеловал ее руку.

– Но мне нужно уехать. Я не могу объяснить. Скажи, наш дед на Алтае еще жив?

Мать щелкнула его пальцем по голове.

– Не стыдно задавать такие вопросы? Папа жив-здоров, занимается какой-то коммерцией. И бабушка жива.

– Прабабка? – удивился Федор. – Сколько же ей лет?

– Сто первый пошел.

– А мне не придется менять ей подгузники и кормить с ложки? – озаботился Федор.

– Ничего, это пойдет тебе на пользу, – ответила мать. – Я дам тебе денег, – сказала она, уходя.

Федор, обрадованный таким исходом, стал искать старый походный рюкзак. Ехать на вокзал он собирался с утра. Потом он так же долго отыскивал завалившийся под стол пиликающий телефон и еще какое-то время раздумывал, отвечать ли, ведь все связи уже порваны и в прежнее возврата нет. Наконец он решил, что это могут быть бывшие работодатели и не нужно, чтобы они хватились его раньше времени.

Голос в трубке опять оказался незнакомый, хриплый, прокуренный, но явственно женский.

– Никуда ты не поедешь.

Федор похолодел, вообразив, что квартира прослушивается и бандиты держат его на крючке.

– Почему молчишь? – спросила трубка, выдохнув ему в ухо. – Страшно? Слишком пугливый.

Федору неожиданно отчетливо представилась медвежья косматая башка, разговаривающая по-человечески. Хотя у него не имелось никаких разумных оснований так думать, отделаться от этой липкой картины в голове никак не получалось.

– Я тебя найду, убью и освежую, – пообещал он твердым голосом, – а шкуру повешу на стену.

Он отключил телефон, вынул из него карту и выбросил в окно. Однако надеяться, что таким образом он избавится от оборотня, Федор не мог. На всякий случай он принес с кухни несколько головок чеснока и украсил ими комнату. Особенно хорошо защитил окно, рассыпав чеснок дольками. Хотя нелепее картины представить невозможно: оборотень с медвежьей башкой и в плаще, карабкающийся в окно на пятом этаже. Но Федора это не смутило. Если уж предполагать, что оборотни, рассуждал он, к тому же умеют водить машину и звонить по телефону, то кто в этом случае поручится, что досконально знает все их повадки? Тем более неизвестно, как это существо узнало о его планах. Мысль о прослушке квартиры Федор все же решил не принимать в рассмотрение. Отверг он и предположение о том, что на нем опробуют новый метод выбивания долгов его алмазные кредиторы. Такие люди работают без выдумки и не допускают неверных толкований своих действий.

Ночь он провел беспокойную, в метаниях и тоске, при этом ни разу не проснувшись. Во сне он видел девку в буро-зеленом плаще с капюшоном. Голова у нее была человеческая, с длинными волосами, но в глазах светился звериный огонь. Она говорила Федору, чтобы он не ездил в Золотые горы, и смотрела не мигая, излучая ту самую смертельную тоску, в которой, как котенок, барахтался Федор. Напоследок она пообещала голосом цыганки-гадалки: «Поедешь в Золотые горы – судьбу потеряешь. А послушаешь меня, дам тебе судьбу»

завидную, долю счастливую».

Рано утром Федор отнес чеснок на кухню и отправился покупать билет на поезд до Барнаула. К самолетам он испытывал стойкую неприязнь.

Поезд отходил с Казанского вокзала в девять вечера. К этому времени Федор успел взять академический отпуск в университете, освободить съемную квартиру на Кутузовском проспекте и переговорить с несколькими людьми, от которых можно было ожидать посильной помощи. Однако все они на поверку оказались порядочной дрянью, о чем Федор прежде не догадывался, считая их хорошими друзьями.

На вокзале, возле вздыхающего поезда, его нашел старый приятель Гриша Вайнсток, обнял на прощание и сунул в руки толстую пачку денег. Неожиданное вспомоществование оказалось так кстати – денег, полученных от матери, хватило бы лишь на месяц, – что Федор расчувствовался. Они снова обнялись, обмениваясь подходящими к случаю репликами.

– Гриша! Друг ты мой! – восклицал Федор. – Как ты узнал?

– Прослышал, что ты покидаешь нас, и позвонил твоей маме. Немного логики, и вот я здесь. Твоя мама сильно огорчена, что ты поругался с твоим папой. Из этого я сделал вывод, что ты нуждаешься в моей помощи. Зачем ты поругался с твоим папой, если не имеешь своих средств?

Федор посмотрел в сторону окутанного вечерним туманом здания вокзала. На такой конкретный вопрос можно было ответить только очень расплывчато.

– Мне не нравятся разговоры о выборах в облдуму за ужином. У меня пропадает от этого аппетит. Я обязательно верну тебе деньги, Гриша, как только смогу.

– Что-то мне шепчет на ухо, что ты не скоро это сможешь, – посерьезнел Вайнсток. – Дела твои, как я слышал, швах.

– Ну, не так чтобы очень, – бодрился Федор. – Ты же не хоронить меня сюда пришел и деньги не на венки принес?

Они отошли в сторону, чтобы не путаться в ногах и чемоданах толпы.

– А там, куда ты едешь, – ответил вопросом на вопрос Вайнсток, – есть что-нибудь, кроме похороненных надежд России?

– Эх, Гриша, давай не будем об этом, – вздохнул Федор. – Но ты все-таки человек, Григорий. Что бы я без тебя делал?

– Что бы вы все без нас делали? – переформулировал Вайнсток. – Что бы эта страна делала без нас? Ты никогда об этом не задумывался?

– У тебя сегодня остро встал национальный вопрос? – кисло поинтересовался Федор.

– Он у меня всегда стоит в полный рост. Это дело принципа и моей гордости. Россию умом можем понять только мы, евреи. Но никто из вас не хочет этого признать.

– Видишь ли, Гриша, – осторожно сказал Федор, – вопрос можно поставить иначе: нужно ли России, чтобы ее понимали вашим умом?

– Ты шовинист, – рассердился Вайнсток. – Проклятый юдофоб. И как у такой замечательной мамы вырос такой черносотенец! Где бы сейчас вообще была эта нелепая страна, если бы мы не сделали в семнадцатом году вашу русскую революцию?

Федор пожал плечами. Разговор становился все менее приятным и более обременительным, учитывая ту пачку денег, что лежала у него в кармане. Его долг Вайнстоку возрастал в геометрической прогрессии.

– Тихо загнивала бы на оккультно-масонских дрожжах, – в тон Григорию ответил Федор. – А так благодаря вашей революции у нас теперь есть закваска мученичества и

исповедничества. Многих это, знаешь, вдохновляет. Говорят, мучениками выложена дорога в рай.

Вайнсток усмехнулся и хлопнул его по плечу.

– Не будь таким циничным. Тебе еще жить здесь.

– Где это здесь?

– В вашем мученическом раю, – ответил Григорий. – Прощай, Федя. Не огорчай свою маму. Надеюсь там, куда ты едешь, ты поправишь свои дела.

Отойдя на несколько шагов, он обернулся.

– Если ты так любишь Россию, то почему обворовывал ее своим маленьким гешефтом?

Федор растерянно моргнул, чрезвычайно сконфуженный тем, что его раскрыли и уличили. Друг детства Гриша Вайнсток всегда поражал его непостижимой способностью проникать в чужие дела и узнавать то, что никогда и никем не афишируется.

– Этого я не могу тебе сказать, – ответил Федор. – Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы работал в Кремле или, на худой конец, в Государственной думе. Ума не приложу, как я вообще дошел до такой жизни.

– Ты всегда был слишком сентиментальный, – заключил Вайнсток. – Может быть, ты теперь смысл жизни ищешь?

– Как ты догадался?

– Это совсем нетрудно. У русских интеллигентов есть интересная привычка, – когда их прихватит за задницу, они начинают искать смысл жизни.

Вайнсток махнул на прощание рукой.

Сильно удивленный тем, что его назвали интеллигентом, Федор отыскал нужный номер вагона и погрузился в поезд, следующий на далекий восток, откуда, по преданию, должен прийти свет миру. Его багаж состоял из чемодана на колесах и старого застиранного рюкзака. Федор покидал Москву с необыкновенным и волнительным чувством решительного поворота в своем бытии.

Купе спального вагона, где ему предстояло жить двое с лишним суток, оказалось неожиданно уютным. Окно было занавешено зелеными, туго накрахмаленными шторками, столик покрывала благоухающая скатерка. Мягкие диваны синей кожи располагали к мечтательному удобству. Зеркало на двери отражало мужественное, лишь немного усталое, чуть заросшее, покрытое легкими шрамами лицо Федора. Ему было двадцать три года, он познал все сладости любви и не нашел никакой тайны в отношениях между мужчиной и женщиной, кроме лукавой игры двух самолюбий. До последнего времени ему сопутствовала удача, и не беда, что на какое-то время она решила оставить его в одиночестве. Наконец он был полон сил и доволен тем, что сумел вырваться из золотой клетки беспамятной столичной жизни. Саднила лишь маленькая заноза – воспоминание о девке-оборотне, грозившей ему потерей судьбы. Но и это не омрачало настроения. Как можно потерять то, чего не имеешь?

Поезд мягко тронулся, вокзал медленно поплыл в прошлое, и Федор, прислонившись затылком к спинке дивана, задремал.

Разбудил его проводник в синей форменной одежде и фуражке с позолоченным кантом. Федор отдал билет и поинтересовался, будет ли у него попутчик.

– До Муромы объявится, – ответил проводник, – ночью побеспокоит.

– Ничего, я крепко сплю. Нельзя ли чаю?

Проводник обещал принести, а Федор стал думать о том, каковы могут быть попутчики

из Мурома. Как известно, в страшных муромских лесах водилась в оные времена разная нечисть и дикий разбойный люд. Вполне вероятно, что и до сих пор не перевелись отдельные экземпляры того и другого. Федор поежился, снова вспомнив медвежью голову и свое кувыркание на дороге. Предположение о возможности кувыркания из окна поезда ему совсем не нравилось. Впрочем, решил он, все это глупые страхи на почве нервного возбуждения.

Проводник принес стакан крепкого чая в начищенном до блеска подстаканнике. Федор поужинал бутербродами, напился чаю с мятной добавкой, потом разобрал постель и лег спать, с наслаждением вдыхая запах свежестиранного белья.

Вопреки заверениям насчет крепкого сна он проснулся от ощущения постороннего движения в купе. В слабом свете зажженного ночника высилась бесформенная фигура. За окном отливали серебром стационарных фонарей тугие струи дождя. С плаща незнакомца лила на пол вода. Лицо под надвинутым капюшоном было угрюмым, наполовину скрытым густой короткой бородой. Федор догадался, что это попутчик, вышедший, очевидно, из тех самых муромских лесов. Он запоздало пожалел о том, что не подумал прихватить с собой отцовский пистолет, который пригодился бы не только теперь, но и в дальнейшем. Ведь там, куда он едет, наверняка правят законы дикого запада.

Парадоксальная мысль о диких законах запада на диком российском востоке показалась ему забавной.

– Что это вы ухмыляетесь? – спросил незнакомец, разоблачаясь. Вода с плаща фонтаном обрызгала Федора. Интеллигентный баритон попутчика развеял все его сомнения в благонадежности этого человека. Без плаща, в свитере, он стал похож на таежного романтика советских времен, бродящего с гитарой по сибирским лесам в поисках сиреневых туманов и снежного человека.

Федор заложил руки за голову и с удовольствием объяснил:

– Да вот, подумалось вдруг: отчего это мы убеждены, что дикий запад с его странными законами – это где-то далеко, там, где нас нет. Между тем я, например, еду как раз оттуда, где давно обосновались эти самые законы.

– Бежите от них? – любопытно спросил попутчик.

– Кто знает, от чего мы бежим и к чему в итоге придем, – философски отозвался Федор. – Спокойной ночи.

Он повернулся к стенке и быстро заснул.

В следующий раз его разбудил шорох над головой. Он почувствовал неясную угрозу, перевернулся на спину и увидел занесенный над ним нож, который держал бородатый попутчик с выпученными глазами. Федор перехватил его руку и с силой оттолкнул, потом ударил в грудь ногами. Бородач вылетел в коридор, проломал дверь.

От громкого удара Федор вновь проснулся. Не сразу разобравшись в происходящем, он бросился на попутчика, который колошматил кого-то в дверях купе. Федор зажал локтем его шею и стал душить, одновременно пытаясь выбить из руки нож.

– Да отвяжись от меня, – прохрипел попутчик. Тот, кого он держал за ногу, вырвался, вскочил и побежал в конец вагона.

– Кто тебя нанял меня убить, отвечай! – пропыхтел Федор.

– Идиот! – бородач вывернулся и ударил его кулаком по скуле.

В голове у Федора тренькнуло, он упал на диван, закрываясь руками. Но попутчик вывалился из купе и скрылся в коридоре.

Вскоре он вернулся, задвинул дверь, задумчиво потер шею.

– Удрал, – сообщил он. – Выпрыгнул в окно.

Федор смотрел на нож в его руке, с клинком странной закругленной формы. Бородач усмехнулся и бросил нож на стол.

– У вас своеобразное чувство благодарности, – сказал он. – Я спас вам жизнь. А тот головорез, очевидно, хотел снять с вас шкуру этим ножиком.

Федор на мгновение онемел, рассматривая оружие несостоявшегося надругательства.

– Как шкуру? – выдавил он. – Для чего?

– Вероятно, чтобы повесить ее на стену, – объяснил попугчик, садясь. Диван его был застелен, но спал он, очевидно, одетым. – Это нож для освеживания туш. Вы хоть успели рассмотреть того типа? Какой-то уродливый коротышка.

– Не успел, – сознался Федор, холодея сердцем и душой. – Я думал...

– Теперь уже не имеет значения, что вы думали. Но в следующий раз так ошибаться я вам не советую. Мне не понравилось подобное обращение со мной.

Он опять потер шею и откашлялся.

– Простите, – виновато произнес Федор. – Вы полагаете, будет следующий раз?

– Глядя на этот нож, я совершенно определенно могу сказать, что наш ночной гость имеет к вам личные претензии. На обычную охоту за кошельками с таким не отправляются.

Попугчик смотрел на Федора пристально, будто искал на нем малейшее чернильное пятно.

– Евгений Петрович.

Он протянул руку.

– Федор Михалыч, – ответил Федор.

– Надеюсь, не Достоевский? – серьезно спросил попугчик.

– Пока только Шергин, – еще серьезнее сказал Федор, натягивая брюки. – Направляюсь на Алтай по личным делам.

– Ирония судьбы, – со странным выражением произнес бородач. – Ну надо же.

– Что вы видите в этом ироничного? – поинтересовался Федор.

– Ну... я еду туда же и по тем же делам. Хотя вы правы. Наверное, в этом следует видеть не иронию, а... – Он замолчал, глядя в окно, где нежно розовел рассвет, ползли вверх-вниз провода, и дорожные столбы, как стойкие оловянные солдатики, несли свою вечную вахту.

– Самолетом, конечно, быстрее, – продолжил через минуту попугчик, сменив тему, – но печальная статистика, увы, не внушает доверия. Что-то вы бледны и вялы, Федор Михалыч, после неудачного освеживания. Не составить ли нам компанию?

Бородач после ночной стычки, напротив, демонстрировал румяный вид и душевную бодрость словно хорошо размялся на утренней гимнастике. Федор подумал, что ему немногим за тридцать, а по роду занятий он торговый агент какого-нибудь мыльно-пильного завода средней полосы России. Однако некоторые его слова и интонации не вполне убедительно вписывались в эту простую схему. Федор решил вести себя осмотрительно и по возможности отстраненно.

Однако от коньяка, запасенного в дорогу попугчиком, он отказываться не стал. Лишь подумал, что путь к Золотым горам только начался, а его уже пытались убить тем же способом, каким он угрожал звонившей по телефону девке. Здесь ему пришло в голову, что это может быть месть которой-нибудь из брошенных им девиц. Ведь раздобыть медвежью голову и нацепить на себя не составляет труда. За ним могли следить и в церкви и таким

образом узнать о его решении ехать в Золотые горы. Ну а присниться могло и вовсе что угодно.

Соображение о разбитом женском сердце неожиданно развлекло Федора. Вряд ли теперь, рассудил он, стоит ожидать следующего покушения на его жизнь, если тот уродливый коротышка, по описанию попутчика, прыгнул с поезда.

– А что, Евгений Петрович, – оживленно спросил он, – много ли золота в Золотых горах?

В уральских предгорьях Шергин отстал от поезда. Сделал это намеренно, не в силах более терпеть присутствие публики каторжного вида, размахивающей мандатами и маузерами, после каждой станции производящей реквизицию в вагонах. Он ловил на себе их въедливые, ошупывающие взгляды и всякий раз думал о том, что теперь наконец придется дать в зубы «товарищу», пристрелить нескольких из них и самому быть убитым на месте, а потом изуродованным, раздетым и выброшенным из поезда. К счастью, его мрачный вид вызывал у них нечто вроде опасливого уважения. Возможно, его бритая голова и шрам от прошлогодней раны, перечеркнувший правую половину черепа, создавали у «товарищей» ложное впечатление некой причастности его к тому эпицентру большевистского извержения, от которого по стране расходились огненно-красные круги, позволявшие и этим несчастным служителям зла поплавать на поверхности, топя других, менее удачливых. Но, может, все было проще, и вчерашние пролетарии, переквалифицировавшиеся в бандитов, инстинктивно чувствовали спрятанный у него под шинелью американский кольт вкупе с решимостью применить его в любой момент. К слову сказать, рана от австрийской сабли оказалась пустяковой, несмотря на безобразность.

Но долго испытывать счастье не стоило. К тому же от долгого сидения и страшной антисанитарии в вагоне могли образоваться неприятные последствия для здоровья. В маленьком уральском городке Шергин решил дожидаться следующего поезда на Екатеринбург и Тюмень. Опоздание на несколько суток ничего не меняло. Остальные участники тайной операции должны были собраться в назначенном месте под Тобольском в течение трех недель.

Правда, еще со времени отъезда из Москвы, полнящейся разнообразными слухами, Шергин подозревал, что у их маленького кружка заговорщиков имеются серьезные конкуренты. И отнюдь не такие же одержимые чувством долга офицеры или романтически-восторженные юнкера. А, например, германский Генштаб с его золотым запасом и армией агентов, шпионов, агитаторов и доносителей. Любому здравомыслящему человеку ясно, что большевики рано или поздно выйдут из-под опеки своих немецких хозяев. Для Германии было бы слишком расточительно не иметь запасного варианта в виде реставрации картонной монархии с иллюзией государя на троне, за которым стояла бы вся империя усатого Вильгельма. «Странная ирония, – подумал Шергин, – год назад Россия плясала на костях павшей монархии. Теперь же император понадобился всем. Даже этот большевистский Атила Бронштейн, бредящий мировой революцией, по слухам, не прочь выставить худшую копию монархии против болтливое республиканства Антанты».

Между тем он нисколько не сомневался, что Николай, при всей его политической вялости, не примет предложения немцев. Одну несусветную глупость царя уговорили сделать второго марта, от следующей, надо полагать, у него хватит благоразумия отказаться. Шергину не давало покоя ощущение, что за отречением государя стояло нечто большее, чем кайзеровские интриги, кадетские благоглупости и ловко состряпанный солдатский мятеж. Иногда ему начинало казаться, что отказ от престола был глубоко личной, давно выношенной, возможно, выстраданной Николаем мыслью. На чем основывалось это чувство, неясно, но своей интуиции Шергин доверял – она не раз помогала избежать неприятных ситуаций и хоть на миг да опередить события. Сейчас она подсказывала, что переиграть

прошлогоднее отречение, переименовать то самое выстрадавшее бывший император не захочет.

С другой стороны, это нежелание государя делает бессмысленным и заговор, в котором участвовал Шергин. Он снова уперся в совершенно логический, но разрывающий душу вывод, что делает совсем не то, чего хочет, и не то, что нужно. Причиной этому, как он догадывался, было повисшее в пустоте чувство долга, которое теперь не к чему привязать. Государь в ссылке рубит дрова, народ в беспамятстве звереет и скоро перегрызется окончательно, Господу Богу до демонизировавшейся России, похоже, нет больше дела...

От станции он направился вниз по улице, к центру города. После многодневной пытки в битком набитом вагоне шагать по заснеженной земле и дышать морозным воздухом, выдыхая облака пара, было истинным удовольствием. Навстречу не попадалось ни единой приличной физиономии. Шныряли темные личности, пряча носы в жидких воротниках и руки в карманах. Из-за угла выглянули две гимназистки и быстро исчезли. Потом его обогнал некий господин в черном пальто и с тростью, похожий на осведомителя. Оглянувшись на Шергина, он дернул небритой щекой, взмахнул тростью и ускорил шаг.

Улица оканчивалась площадью, окруженной двухэтажными купеческими домами. Шергин намеревался найти спокойный трактир, чтобы пообедать и привести в порядок отросшую бороду. Но внимание его привлекли несколько человек, топтавшихся возле ограды церкви. Над ними громко и нагло каркало воронье, у самой церкви тонко, будто побитая собака, выла баба. Шергин остановился рядом и заглянул через решетку.

На фронте он видел смерть в разных обличьях, но в этой картине была нечеловеческая выразительность, словно адская злоба убивавших напитала все вокруг и внушала парализующий ужас. К дверям церкви был приколот штыками священник в одном подряснике. Вместо глаз у него кровавились глубокие ямы, грудь крестообразно изодрана штыком. В ногах у мертвеца убивалась воющая попадьа, рядом с папертью стоял поникший мужик и как будто хотел увести бабу, но сам не мог сдвинуться с места.

Прохожие останавливались возле ограды и либо застывали на месте, либо торопились прочь. Тихо, вполголоса передавались подробности. Комиссары явились во время отпевания покойника и потребовали прекратить «контрреволюционную агитацию».

– А батюшка-то наш взял кадило да стал гнать их из храма, как псов приبلудных, – захлебывалась шепотом женщина, похожая на обедневшую купчиху, – да так яро, что и ожидать никто не мог. А они-то иконы заплевали, свечи порушили, дьякону голову проббили...

– Святые посты не соблюдал, мясо в пятницу ел, сам видел, – перечислял кто-то грехи убиенного попа, – младенцев за мзду крестил, а за так отнекивался, занят, говорил, и иное лихоимство чинил. Проповеди ленился возглашать, нищих гнал с паперти, а благочинного ругал за глаза, сам слышал...

«Надо же, – думал Шергин об убитом, – пастырем был дурным, жизнь прожил скверную, а умереть Господь дал мучеником за веру. В подвиге умер поп».

Широким жестом он раздвинул толпу и вошел внутрь ограды. Труп с дверей снимать, похоже, никто не решался. Шергин поднял со ступеней бьющуюся попадью и передал ее на руки скорбно вздыхавшему рядом мужику. Затем осторожно вытащил штыки из двери, поддерживая тело, и уложил его на крыльце.

– Уносите, – велел он толпе. Вперед выдвинулись двое добровольцев.

Возле самой двери, где был прикован мертвый священник, он заметил книгу малого

размера, запятнанную кровью. Поднял ее, раскрыл – оказалось Евангелие. Он опустил книгу в карман шинели и перешагнул порог церкви.

Храм был очевидным образом осквернен, на иконах блестели дорожки комиссарских плевков. Возле аналоя ничком распластался дьякон с кровавым нимбом вокруг головы. Еще один покойник лежал в гробу, так и не отпетый, сжавшийся, будто в опасении, не считается ли теперь естественная смерть контрреволюционным деянием и не полагается ли по нынешним законам помирать со штыком в груди, с распоротым животом, с проломленной головой.

Шергин поднял глаза на Христа, сидящего справа от Царских врат.

«Ты этого хотел? – спросил он горько, догадываясь, что с таких вопросов начинается путь в безверие. – Для чего же Ты дал нам дойти до такого?»

Кто-то тронул его за плечо. Шергин запустил руку под шинель, хватая рукоять револьвера, и резко обернулся.

– Вам надо уходить, – сказал молодой парень с русым чубом, торчащим из-под шапки. – Вы нездешний. Могут донести в чеку.

Шергин кивнул.

– Где тут можно переждать время до следующего поезда?

Парень подумал, закатив глаза, и раздвинул в улыбке толстые губы.

– Пойдем. Есть одно место. Ни одна краснозадая сука туда не ползет.

Попутчик разлил по стаканам коньяк и поставил вторую опустевшую бутылку под стол. Несколько раз заглядывал проводник, узнавая, не надо ли чего. От чая оба отказались, а закусывали голой ветчиной и розовой икрой с ножа. Рядом на столе лежал целый, неразрезанный лимон.

– Так, значит, золотишком интересуетесь, Федор Михалыч? – попутчик под действием коньяка стал изображать хитрована и прищуривать на Федора глаз, будто высматривал его насквозь. – А позвольте спросить, с целью теоретической или, так сказать, прикладной?

– А вам на что знать? – Федор, подперши голову руками и набычившись, пыжился выглядеть не менее того пронизательным и себе на уме. – Я, может, в карты продулся, а долг отдавать нечем. Долг чести, знаете. Старушка-мать дома плачет. Отец на паперти с протянутой рукой стоит. А все из-за меня, подлеца. А? Что вы на это скажете?

– А шкуру с вас, дорогой мой, за что хотели снять? – ласково грозил пальцем попутчик.

– Так это... несчастная любовь у нас... она меня любит вдрызг, а я ее ни капли. Вот такие «Ромео и Джульетта». Что вы на это возразите?

Евгений Петрович развел руками.

– На это у меня нет слов. Но имейте в виду, Федор Михалыч, – он поманил пальцем, оглянувшись на дверь и понизил голос, – в Гражданскую войну там золото было.

– Где? – Федор округлил глаза.

– В Золотых горах.

– А почему сейчас нет?

– Этого я не говорил, – быстро сказал Евгений Петрович и напустил на себя загадочный, непроницаемый вид.

Федор поискал глазами, чего бы выпить, но все было выпито.

– Так есть или нет? – сглотнул он, стремительно вспотев.

– Говорю же, было, – сварливо ответил попутчик. – Что за непонятливость.

– Ну и где оно было? – хмыкнул Федор.

– А где было, там уже нет.

– Все-то у вас не пойми-разбери. Темните вы, сосед. А может, сказки рассказываете? – разочарованно молвил Федор и спросил прямо: – Вы кто по профессии?

– Я? Рыбак. Рыбу я ловлю. – Евгений Петрович с широким размахом изобразил, как подсекает и вытягивает из воды крупную рыбину.

– Это вы сейчас какого кита поймали? – Федор отодвинулся, чтобы не получить по лицу рыбьим хвостом.

– Нет, – покачал головой попутчик, – не кита. Так, карася.

– Все равно темните, – выдохнул Федор. – Что я, рыбаков по телевизору не видел? Не похожи вы на них.

Евгений Петрович наклонился к нему через стол, обдав коньячным духом.

– Достоверно известно, во время Гражданской из тамошних гор вывозили золото для Советов.

Федор, не сводя глаз с попутчика, нашарил рукой лимон и с хрустом откусил. Медленно прожевал, не поморщившись, положил лимон обратно и спросил с профессиональным интересом:

– Факты?

Евгений Петрович откинулся на спинку дивана и со скучной бесстрастностью английского джентльмена задал встречный вопрос:

– Вы, конечно же, не слышали о Золотой Орде? Да и где вам было слышать об этом.

– Имбецилом меня считаете? – обиделся Федор. – Ее в школе, между прочим, проходят.

– Нет, милый мой, эту Золотую Орду ни в школе, ни в аспирантуре не проходят. О ней вообще никто до сих пор не знает, кроме... кроме немногих.

– А вы, значит, немногий? – иронично спросил Федор. – Поймали золотую рыбку, и она открыла вам страшный секрет?

– Вообразите себе, примерно так и было, – добродушно ответил Евгений Петрович.

– Расскажите, – попросил Федор, глядя по-детски чистыми и доверчивыми глазами.

Но попутчик не торопился утолять его любопытство.

– Что это мы сидим тут, как раки-отшельники, – сказал он, оглядев убранство стола. – Предлагаю выйти в свет, позавтракать как подобает приличным людям. Согласны?

Федор охотно поддержал предложение и даже сделал движение к двери, но Евгений Петрович саркастически осведомился:

– Куда вы, юноша, в таком виде? Кто вас учил манерам? Повяжите хоть галстук.

Федора манерам никто и никогда не учил, он привык заходить в рестораны и прочие кабаки по-простому, в чем был, не смущаясь и линялыми джинсами, галстуки же не переносил вовсе. Но перед попутчиком, который был явно не так прост, как воображалось с первого взгляда, ему хотелось выглядеть серьезнее.

– Знаете, Евгений Петрович, скажу вам честно, – он приложил руку к сердцу, – светская жизнь меня так утомила, что я решил бежать от нее на край земли. И представьте, не взял с собой ни одного галстука, не говоря уже о фраке или смокинге.

– В таком случае, – ответил попутчик, облачаясь в светлую пиджачную пару, – мне придется выдавать вас за племянника из провинции. Не думаете же вы, что по вашей милости я должен оставаться без внимания прекрасных дам?

– Вы полагаете, в этом поезде обретаются прекрасные дамы? – с сомнением спросил Федор. – Разве какие-нибудь декабристки, преданно следующие за своими мужьями в захолустные гарнизоны.

– Не нужно так мрачно смотреть на вещи, Федор Михалыч, пока еще не Достоевский, – в приподнятом настроении молвил попутчик, критично разглядывая себя в зеркале. – Гм... Как же портит меня эта проклятая борода.

– Сбрейте, – предложил Федор, и тут ему на ум пришло новое соображение. – Или она нужна для маскировки? Кто вы, Евгений Петрович?

– Я уже сказал вам. Я рыбак, – никак не интонируя, ответил попутчик. – Идемте же.

В вагоне-ресторане посетителей в этот час оказалось немного. Прекрасных дам среди них не обнаружилось вовсе, однако Евгений Петрович не спешил разочаровываться.

– Подождем до обеденного времени, – подмигнул он Федору. – Я просто уверен, они здесь есть. Нынче ночью при посадке мне привиделось в одном окне прелестное создание.

– Вам привиделось, – кивнул Федор. – А вы, однако, бабник. И в этом, думаю, ваша слабость.

– Не вздумайте ею воспользоваться, – сухо посоветовал попутчик, изучая меню. – Да и потом, кто бы говорил. Шкуру-то хотели не с меня содрать.

Не зная, чем парировать, Федор подозвал официанта.

Они сделали заказ. Пока их обслуживали, Евгений Петрович не спешил начинать застольную беседу, оглядываясь на редких клиентов ресторана. У Федора создалось впечатление, что он оценивает людей по каким-то одному ему известным критериям, отыскивая нужный человеческий сорт. Определенно это был изучающий взгляд торгового агента – Федор утвердился в изначальном предположении. Все же остальное, очевидно, просто мишура от скуки жизни.

– Так вот, – Евгений Петрович наконец повернулся к собеседнику, взявшись за вилку и нож, – о Золотой Орде. Знакома ли вам фамилия Бернгарт? Роман Федорович Бернгарт.

– Первый раз, – покачал головой Федор, также принимаясь за завтрак. – Кто это?

– Это, милый мой, одна из самых таинственных фигур в отечественной истории. Правитель Алтайской Золотой Орды.

– Кажется, я догадываюсь, – с тонкой улыбкой поделился Федор. – Это тот самый, который во время Гражданской организовал в горах добычу золота и поставлял его большевикам. Угадал?

– Не совсем. Скорее золото поставляли ему. А уж Бернгарт переправлял его в Москву.

– А кто поставлял ему? – недоумевал Федор. – И откуда?

– Из гор, конечно. Вы никогда не задумывались о существовании на нашей земле невидимых народов?

Это было уже слишком, и Федору вдруг стало скучно. Он ощутил себя хандрящим Байроном, которому в деревенском трактире пытаются сбыть траченный молью сюжет для романтической поэмы.

– Знаете, те времена, когда я зачитывался фантастикой о человеках-невидимках, давно миновали, – с легким раздражением сказал он.

– Я неточно выразился, – быстро взглянув на него, поправился Евгений Петрович. – Впрочем, вы можете думать, что Бернгарту просто повезло и он обнаружил в горах золотую жилу. Вы также можете считать его красным командиром, создавшим свою партизанскую республику – кстати, при Колчаке на Алтае таких было несколько. В советских исторических исследованиях именно так и описывается эта загадочная личность.

– Простите, – сказал Федор, отодвигая тарелку, – я все-таки не совсем понимаю, в чем загадочность этой личности.

– Все дело в том, – его собеседник понизил голос и наклонился вперед, – что на Алтае никогда, ни до, ни после Гражданской войны, не было месторождений золота. Так откуда оно там, по-вашему, взялось? В большом количестве, имейте в виду. И вот еще вам для справки: в двадцать втором году Бернгарта арестовали и продержали в тюрьме до тридцать четвертого. В тридцать четвертом его расстреляли.

– В то время это происходило со многими, – флегматично заметил Федор.

Евгений Петрович покачал головой.

– Его схватили как предводителя антисоветского мятежа, главаря контрреволюции. Приговор по этому обвинению был один и беспелляционный – расстрел. Его же двенадцать лет держали в тюрьмах. Даже не отправляли в лагеря. Для чего? Очевидно, он располагал информацией, но не желал ею ни с кем делиться.

– Так вы полагаете...

– Нет уж, Федор Михалыч, прошу прощения, – возразил попутчик, – теперь ваша очередь рассказывать.

– Что рассказывать? – немного растерянно спросил Федор.

– Вашу историю. И не про скуку столичной жизни с несчастной любовью, а настоящую. От кого вы бежите, кто вас хотел зарезать этой ночью и почему.

Федор вновь почувствовал себя обманутым ротозеем, которому ловкий делец всучил дрянной товар, и теперь нужно расплачиваться, потому что вернуть его уже нет возможности.

– Знаете, Евгений Петрович, – сказал он не вполне дружелюбно, – мне кажется, это будет неравноценный обмен. Приятного аппетита.

Он направился к стойке бара, чтобы расплатиться. Здесь ему пришло в голову прихватить бутылку «Столичной», с которой не так бессмысленно будет коротать дорогу и не столь уж пустой может показаться даже эта темная история про краснопартизанскую Золотую Орду. Выходя из вагона-ресторана, он оглянулся на попутчика и едва не выронил из рук бутылку. Оказалось, пока они обсуждали тайну алтайского золота, через два столика от них расположилось весьма приметное создание женского пола в темно-синем облегающем платье и с белой лилией в подколотых волосах. Девушка не только подходила под определение «прекрасная дама», но и намного превосходила его. Она была без сопровождения, и коварный попутчик не замедлил этим воспользоваться. В тот момент, когда Федор увидел их, Евгений Петрович демонстрировал весь свой лоск, целуя девушке руку.

Федору, испытывавшему мгновенный укол чувства обделенности, тотчас страстно захотелось, чтобы прекрасная незнакомка ненавидела бородатых мужчин, тем более мужчин с быстрым, оценивающим взглядом торгового агента, который сбывает залежалый товар по завышенной цене и покупает драгоценные раритеты на приманку льстивых салонных манер.

Он вернулся в купе, сел к окну и попытался получить наслаждение от лирически-унылых весенних пейзажей средней полосы России. Через полчаса созерцания он вспомнил, что родина невероятно обширна и если смотреть в окно всю дорогу до самого города Барнаула, то от этой берущей за душу пронзительной печали русского поля и ветхих селений можно без вина сделаться горьким пьяницей. Придя к такому заключению, Федор отвинтил крышку «Столичной» и налил в стакан, еще пахнувший коньяком.

К тому времени, когда вернулся сосед, в бутылке оставалось не так много, а Федор, прислонившись лбом к окну, отчаянно тосковал.

– Правильно, – быстро оценил ситуацию попутчик, – отечественные расстояния надо обязательно пропустить через себя, чтобы понять, отчего в России все беды.

– Отчего, по-вашему, в России все беды? – с трудом вымолвил Федор. От укачивания и грустных эмоций его сильно развезло. Отнять голову от стекла он не мог, поэтому приходилось поневоле смотреть в окно на русскую бесконечность и необъятность.

– Все беды России оттого что она слишком огромна и не вмещается в нормальное человеческое восприятие. Оттого-то в России живут люди с ненормальным восприятием реальности.

– Слушайте, а *е й* вы тоже рассказывали про беды России и про эту вашу Золотую Орду? – Федору удалось сдвинуть центр тяжести тела, и голова самостоятельно переместилась к стенке купе.

– Ей? – переспросил Евгений Петрович, делая вид, что не понимает, о ком речь.

– Вы прожженный тип, вот что я вам скажу, – подумав, выговорил Федор. – Вы продавец воздуха и скупщик чужих тайн. Вы... торгаш. Скажите честно, вас любят женщины?

Евгений Петрович сел к окну и тоже стал смотреть на проплывающий плэнер.

– Нет, – наконец произнес он, – не любят. Они отдаются мне без любви.

Минуту длилось молчание.

– А выпить у вас есть? – спросил затем Федор, несколько смягчившись.

Очнулся он в Екатеринбурге. Предыдущие сутки помнились смутно. В голове остались обрывочные эпизоды и наиболее отчетливый, как он идет по вагону, заглядывает в каждое купе в поисках прекрасной незнакомки и требовательно барабанит кулаками в запертые двери. Самым мучительным было то, что Федор не помнил, нашел ли он ее, а если нашел, то насколько свинским и пошлым было его поведение. Еще в памяти засели алмазные копии царя Соломона, показавшиеся очень подозрительными, учитывая тот настойчивый интерес, который проявлял попутчик к причинам его убытия из Москвы.

Тихонько протонав, Федор сел на диване, удивленно оглядел пустую тару на столе и под столом, пересчитал бутылки. Он не мог понять, когда они успели столько выпить. Попутчик водил палочкой по экрану карманного компьютера. Наконец он оторвался от своего занятия и доброжелательно посмотрел на Федора. Тот разочарованно отметил, что сосед абсолютно трезв. И только после этого обнаружил, что лицо попутчика оголилось.

– А где же ваша борода? – удивился Федор.

– Отклеилась, – пошутил попутчик.

Федор в ответ усмехнулся правой половиной лица. Второй половиной он двигать не мог из-за сильной головной боли.

– Это... я один? – Он показал пальцем на бутылки.

– В основном да.

– Я ничего не сломал? – беспокойно поинтересовался Федор. – Ни с кем не дрался?

– Как вам сказать. Сломать не сломали, но проводнику по лицу съездили. Он пригрозил снять вас с поезда, и мне едва удалось уговорить его не делать этого. Кстати, обошлось недешево.

– Я отдам, – смущенно пробормотал Федор.

– Не стоит, – великодушно отказался попутчик.

– Я еще, наверное, бредил тут? Так вы не обращайтесь внимания. Это со мной бывает. Про алмазы особенно. Давняя история, очень волнительная, впечаталась в голову. – Федор решил на всякий случай подстраховаться.

– Какие проблемы, – с широкой сердечной улыбкой сказал Евгений Петрович.

Поезд, стоявший до этого, толкнулся и пополз вперед, медленно набирая скорость.

– Где это мы? – спросил Федор, мутно всматриваясь в незнакомый город.

– Екатеринбург, – ответил попутчик, также прикикая к окну. – Место заточения и казни последнего русского царя со всей его семьей. Обратите внимание вон на ту большую церковь на площади. Видите? Храм-на-Крови. Раньше на этом месте стоял дом, где их содержали, а в подвале расстреляли.

Федор проводил тяжелым похмельным взглядом место кровавой расправы над бывшим всероссийским самодержцем, символом теперешнего поднимающегося монархизма.

– Вы здесь бывали? – спросил он.

– Доводилось.

– Странно, – сказал Федор.

– Что именно?

– Я сейчас испытал удивительное ощущение, – слегка взволновавшись, объяснил он, –

будто я видел раньше эту площадь и дом на месте этой церкви, и поезд точно так же увозил меня на восток, в полную неизвестность. Но я никогда не был здесь.

– Дежа вю, – кивнул попутчик. – Случается.

Федор снова посмотрел на город, обильно зеленеющий.

– Не бродят ли там по ночам призраки?

– Почему же только там? – пожал плечами Евгений Петрович. – Эти царские призраки по всей России давно бродят, реванша требуют.

Федор страдающе поморщился и отвернулся от окна.

– Ради бога, не начинайте разговор о политике. В моем состоянии это равносильно убийству без наркоза.

– Сходите освежитесь, – сочувственно предложил попутчик. – Только не напивайтесь снова. Проводник в следующий раз может оказаться несговорчивым.

Федор пообещал и вышел в коридор, размышляя о том, что никакое дежа вю не сможет объяснить, отчего ему привиделся дом, снесенный задолго до его появления на свет, и почему он был огорожен двойным забором.

В вагоне-ресторане после ста граммов ему немного полегчало, и он стал рассматривать Уральские горы. Они совершенно разочаровали его, в голове у Федора родилось сравнение с зелеными холмами Шотландии, населенными кроликами, и с могильными курганами, в которых обитают древние мертвецы. В обратный путь он пустился, прихватив бутылку.

В Екатеринбурге на поезд сели новые пассажиры. В коридоре вагона ему встретился буддийский монах, бритый наголо, в красно-оранжевой одежде. Федор, никогда прежде не сталкивавшийся нос к носу с буддийским монахом, страшно заинтересовался. Он тут же предложил выпить за знакомство и поговорить о вечном. Монах, никак не отреагировав на его радушие, скрылся в купе. Федор ввалился туда вслед за ним и увидел второго монаха, отчего радостное изумление его только усилилось. Монахи молча смотрели на него, сидя друг против друга, и лица их не выражали ровным счетом ничего. Федора это не обескураживало.

– Ну что, братья во Будде, – провозгласил он, открывая бутылку, – ударим по миру-страданию?

Он попытался разлить водку в чайные стаканы, но второй монах, загородив посуду рукой, возразил:

– Мы не пьем.

Федор обрадовался еще больше.

– Так вы и по-русски можете? Чего ж отказываетесь, братья во Будде?

– Мы не пьем, – терпеливо повторил монах.

– Как это не пьете? – недоумевал Федор. – Все московские буддисты пьют. Самого Будду просветлением озарило под мухой, известный факт. Как же иначе?

Монахи смотрели на него одинаково непонимающими глазами.

– Нет, ну как же так! – почти расстроено убеждал их Федор. – Мир – страдание. Надо с ним бороться, растекаясь умом в пустоте. Так или не так?

Первый монах, страшный судя по всему молчун, вышел в коридор. Федор отчего-то решил, что он приведет третьего собрата для поддержания беседы, но вместо этого явился решительно настроенный проводник. Он без слов взял Федора за шиворот и выволок из купе. Федор хотел было сопротивляться, но вовремя вспомнил об угрозе ссадить его с поезда и покорился. Только спросил:

– Простите, я не сильно ушиб вас по лицу в прошлый раз?

– Навязался на мою голову, – недовольно буркнул проводник, вталкивая Федора в его купе и бросая на диван.

– Да вы, милый мой, дебошир просто, – иронично сказал Евгений Петрович.

– Не вы первый это заметили, – проворчал Федор и пожаловался на монахов: – Весь ихний буддизм – сплошная профанация запоя. А не признают, мерзавцы.

После этого он уронил голову на подушку, заснул и проспал до вечерних сумерек.

Проснувшись, Федор мрачно поделился с попутчиком, который сидел в той же позе, только вместо компьютера в руках была газета:

– Мне приснился Будда милосердия. Знаете, что он сделал? Принес мне пиво.

– Чем же вы недовольны?

Федора мучила жажда и сознание собственного бессилия. В этот момент он как никогда ясно понимал, что бессилён отделаться от самого себя – это навязчивое соседство собственного «я» начинало раздражать тем сильнее, чем дальше он удалялся от Москвы и своей прежней жизни. С другой стороны, было неясно, с кем именно соседствует его «я» и кого именно оно раздражает.

– Пиво оказалось теплым, – произнес он с гримасой отвращения. – Даже тут никакого милосердия. Сплошные иллюзии.

Заглянувший проводник, не помня зла, предложил чаю. Федор забрал у него все четыре стакана. С жадностью выпил два, в третий добавил сахар, а четвертый отдал попутчику.

– Удивительное дело, – заговорил он после. – В Москве у меня было множество знакомых буддистов и буддисток, и я ничего не имел против. Хотя, мне кажется, обыкновенное, сермяжное язычество русскому человеку должно быть ближе, чем забубенный дзен или извращения тантры. Но почему-то они – эти бритые ламаисты – кажутся мне совершенно неуместными, когда я думаю о Золотых горах. А ведь они там, вероятно, на каждом шагу попадают?

– По моим сведениям, – ответил Евгений Петрович, помешивая ложечкой в стакане, – алтайские аборигены до сих пор пребывают в девственном язычестве.

– Шаманят? – восхитился Федор, обнаруживая интерес к теме. – Это хорошо. Вот найду себе самого девственного и дремучего шамана и попрошусь к нему в ученики.

– Для чего, позвольте узнать? – попутчик бросил на него взгляд, полный насмешки.

– Не смейтесь, – попросил Федор. – Я вам по секрету скажу... – Он заговорил тише. – Хочу избавиться от комплекса неполноценности. Каждого человека должно вести по жизни знание, для чего он рожден, это ведь так понятно. Я предполагаю, что у большинства это знание своей судьбы есть. Что-то наподобие врожденного, вставленного в голову оракульского билетика. На худой конец рекламного штампа из телевизора. Но у меня самого ничего такого нет. Я беспутен и бесперспективен. Думаю, это болезнь. Шаманы должны знать, как она лечится. А заодно уж фокусам их научусь, тоже ведь пригодятся, как вы считаете?

– Учитесь, Федор Михалыч, учитесь, – с невыносимо загадочным, вероятно, заимствованным у Джоконды выражением лица ответил попутчик.

На последней неделе февраля восемнадцатого года капитан Шергин сидел в вокзальном буфете Тюмени ипил отвратительный чай, имевший вкус грязной воды после мытья в ней посуды. Он вливал в себя четвертый стакан этой мути, наблюдая в окно за посадкой пассажиров на поезд. Среди толпы различались примелькавшиеся за последние несколько дней рожи шпииков. Позавчера по их наводке красные арестовали двух человек, желавших ехать в Тобольск. Их дальнейшая судьба осталась Шергину неизвестной, но он предполагал, что несчастных расстреляли. Наметанным глазом он узнал в них – по выправке и отточенности движений – переодетых офицеров. Они были неизвестны ему, но их арест тревожил. Еще неделю назад триста верст от Тюмени до Тобольска казались сущим пустяком, и вот неожиданное препятствие почти у цели. С поездов в сторону Тобольска снимали всех, кто вызывал малейшее подозрение. Накануне Шергин попытался нанять сани, однако не нашел ни одного мужика, пожелавшего рискнуть, – город был наводнен большевистскими осведомителями.

Он вышел из буфета, поднял воротник от разбойно свистящего в ушах ветра и направился на соседнюю улицу. Пройдя по ней несколько шагов, Шергин обратил внимание на стоявшую у обочины пролетку. Лицо единственного пассажира, закутанного в шубу, в лисьей шапке, показалось ему знакомым. Пока он вспоминал, где встречал этого человека, у пролетки возник вокзальный шпик, верткий мерзавец в английском пальто. Седок наклонился к нему, выслушал, ответил, затем велел извозчику трогать. Мерзавец-шпик нырнул в подворотню.

Шергин задумчиво двинулся по улице. Он вспомнил этого господина в пролетке и даже его имя. В уме стала понемногу, в общих чертах, обрисовываться картина, не сулившая ничего хорошего. Владелец лисьей шапки, по фамилии Соловьев, был немного известен в петербургских оккультных кругах. Перед революцией он сделал кое-какую карьеру по военному ведомству, стал генеральским адъютантом. Но репутацию составил себе не этим, а недавней, с полгода назад, женитьбой на дочери убиенного Гришки Распутина. Слухи приписывали ему шпионское ремесло, для которого оккультные увлечения были превосходным средством, отпирающим многие двери и обеспечивающим доверие. Неудивительно, что ловкач затесался в самый центр политического клубка, состоящего из многих перепутанных нитей. Все эти нити вели, разумеется, к одному – к особе бывшего государя, и одну из них держал в руках Шергин. Впрочем, эта нить могла в любой момент оборваться. Вокзальные шпиики находились в распоряжении Соловьева. Сам же он, на кого бы ни работал по своей основной профессии, безусловно, имел отношения с местными большевиками. Через эту мелкую сеть и мышь не могла бы проскочить к Тобольску.

Две недели спустя вся группа заговорщиков собралась в Тюмени. Они поселились на разных адресах и встречались на улицах, мимоходом обмениваясь сведениями. Только однажды, в самом конце марта, тяготясь бездействием, устроили общий совет в комнате, которую снимал у местного лавочника Шергин.

– Этот негодяй, надо думать, взял на себя роль заменителя Распутина, – горячился штабс-капитан Скурлатовский, ряженный под прогоревшего купчика. – Как будто мало нам было одного. Это семейство – злой рок России, попомните мои слова, господа. Как прежде Гришка цербером крутился у трона, так и его зять теперь никого близко не подпускает к уше

свергнутому монархам. Кстати, не кажется вам, господа, зловеще-символичным, что деревня, откуда родом Распутин, стоит как раз на пути между Тюменью и Тобольском?

– Говорят, Соловьеву здесь покровительствует некий немецкий офицер, имеющий большой вес у местных комиссаров, – флегматично дымил папиросой поручик Любомилов, натурализовавшийся в городе под видом частного учителя.

– Я совершенно не удивлюсь, если он шпионит в пользу Вильгельма, – фыркнул Скурлатовский.

– По крайней мере это объясняет, откуда у него такая власть, – задумчиво шагая по комнате между стульев, проговорил Никитенко, единственный не военный среди них. – Ведь он, кажется, заявил, что без его позволения никто не может приблизиться к Тобольску?

– Но я слышал, господин Соловьев декларирует себя ревностным монархистом, к тому же имеет сношения с императорской семьей, – вставил слово штаб-ротмистр Чесноков, разливая вино по рюмкам. Он изображал собой вечного студента, пустившегося на заработки по России-матушке.

– Ах, бросьте, Александр, – взмахнул руками Скурлатовский, – кто нынче не монархист? Даже среди самих большевиков и сочувствующих им имеются настроения, царя уже хотят.

– Однако, господа, надо решать проблему, – молвил поручик, – мы не можем сидеть здесь вечно, ничего не предпринимая.

– Именно не можем! – Скурлатовский раскраснелся и начал волноваться. – Что мы вообще можем, кроме как перетирать кости Распутину номер два! Какая ужасная бессмысленность, когда для спасения России дорог каждый день!

– Что вы предлагаете, господин штабс-капитан? – спросил Любомилов.

Скурлатовский на миг задумался, затем сообщил:

– Я предлагаю войти к господину Соловьеву в доверие. Он, я слышал, получил за границей некое оккультное образование? Вероятно, на этой почве с ним можно близко сойтись.

Чесноков оглядел присутствующих и с иронией поинтересовался:

– Господа, кто из вас достаточно сведущ в оккультных материях, чтобы составить компанию наследнику «святого старца» и гипнотизера Гришки Распутина?

Все головы, будто по команде, повернулись в сторону Шергина. Он единственный из них имел продолжительный опыт жизни в столице и представление о бытовавших там модах на «духовное».

– Должен вас разочаровать, господа, – объявил Шергин, – в роли мистика я провалюсь моментально. Оккультные материи мне глубоко омерзительны, уж не обессудьте.

– Вы можете временно пожертвовать убеждениями ради пользы дела, Петр Николаевич, – настаивал Скурлатовский. – Вы более всех нас способны пустить пыль в глаза этому распутинскому выродку. Надо лишь составить для вас новую легенду...

– Довольно, Михаил Андреич. – Шергин остановил его резким жестом руки. – Вот вам мои убеждения. Вы ратуете за спасение России, между тем в ее погибели, я уверен, не последнюю роль играли те самые оккультные поветрия, заразившие с прошлого века обе столицы и подпилившие ноги у трона. Вам мало этого, вы хотите продолжения?

– Однако вы, Петр Николаевич... слишком уж как-то... – Растерянный Скурлатовский потянул себя за воротник и повел головой из стороны в сторону, словно ему не хватало воздуха.

Шергин налил вина и быстро выпил. Он вспомнил ту петербургскую атмосферу повального увлечения «тайными знаниями» в последние годы перед революцией. Ему, приезжавшему с фронта в короткие отпуска, это и в самом деле представлялось «как-то уж слишком». Все пересуды о «мистическом разврате» в покоях императрицы и ее доверенной фрейлины, поначалу оскорблявшие его, сделались в конце концов чем-то обыденным, вроде разговора о дурной погоде. Шергин считал, что Гришка Распутин всего лишь характерный показатель состояния умов. Этот наивный шарлатан, которого так яростно и свято ненавидели со всеми его блудливо-восторженными поклонницами, выглядел на фоне великосветского салонного мистицизма обыкновенным деревенским идиотом, ряженым в шелк. Впрочем, несмотря на всеобщую ненависть, каждый из этих господ мистиков, несомненно, страстно мечтал оказаться на месте Распутина и развернуться куда как шире невежественного мужика...

Расходились по одному в темноте, так ничего и не придумав. Решили ждать до установления дорог после весенней грязи и пробираться в Тобольск своим ходом. Однако делать этого не пришлось. Двадцать седьмого апреля поздно вечером к Шергину прибежал взмыленный Никитенко и возбужденно оповестил о приезде в Тюмень под конвоем на конных подводах бывшего императора с женой. Их сразу повезли на вокзал к поезду. Княжны и наследник, очевидно, остались в Тобольске. Весть была неожиданна и ошеломительна.

Тотчас собравшись, Шергин отправился на вокзал. Он предполагал узнать, куда отправляют государя. Но вокзал был оцеплен солдатами, никого не пропускали, и пришлось возвращаться ни с чем.

В первый день мая, когда большевики широко праздновали свой пролетарский праздник и толпою ходили по улицам с красными флагами, из газет стало известно, что новым местом заточения государя сделался Екатеринбург. В следующие два дня пятеро заговорщиков поодиночке покинули Тюмень, отправившись в столицу Урала.

Поезд медленно вползал в Барнаул по мосту через сибирскую великаншу Обь. В вечерней мгле, подсвеченной огнями, ее воды казались мощно разлившейся из гигантской колбы ртутью. Федор распрощался с попутчиком и первым вышел из вагона. На здании вокзала колыхались по ветру флаги, вывешенные в честь трудящихся, которые завтра с утра будут демонстрировать радость по случаю праздника. По какому-то трудноуловимому ходу мысли и сцеплению ассоциаций Первомай всегда казался Федору некой данью той обезьяне, которая первой взяла в руки палку, нацепила на нее банановую шкурку и так, по слухам, превратилась в человека. А в звуках демонстраций ему слышались бубны профсоюзных шаманов, заклинающих силы природы не дать всем этим людям опуститься обратно на четвереньки. Словом, оставаться в городе до завтра и в очередной раз становиться свидетелем пролетарского камлания Федору не хотелось. Он изучил расписание поездов до Бийска, конечной станции железной дороги в направлении Горного Алтая, и купил билет на утреннюю электричку.

Несмотря на все предосторожности, первомай догнал его в Бийске. Электричка пришла туда к одиннадцати часам, когда по улицам еще бродили отставшие от основных масс группы студентов, народной самодеятельности и пенсионеров с портретами Ленина и Василия Шукшина. Федор, стараясь не попадаться им навстречу, перебрался с железнодорожной станции на автовокзал, запасся пирожками и минеральной водой. После этого он обошел несколько частных извозчиков, стоявших в стороне. Быстро сговорился с владельцем крепкого на вид отечественного тарантаса ехать до Усть-Чегеня за две тысячи рублей. «Примерно четыре рубля на километр», – прикинул он и расплатился сразу. Торговались здесь не жадно, и в глазах водителей Федору чудилось то самое человеческое, которое в Москве теперь искали с фонарем и только в театрах, да и то немногих.

– Первый раз на Алтае? – спросил шофер, назвавшийся Иваном, когда переехали по мосту на другой берег Бии и покатали по Чуйскому тракту.

– Второй, – ответил Федор. – Лет пятнадцать назад был, на каникулах. Только ничего не помню.

– Вспомнишь, – пообещал Иван. – У нас края знаменитые.

– Как тут у вас с культурной жизнью?

– Водка подорожала. А так ничего, живем.

– Ясно, – сказал Федор. – Ну а с мифами и легендами как обстоит?

– Так ты по этому делу? – оживился Иван. – Недавно тоже приезжал один... фольклорист. Ко всем приставал, говорил – край тут непаханный. По части баек, значит. Ну, набросали ему на диктофон кто чего. Про белую женщину, про горелую березу...

– Про березу я слышал, – удивленно сообщил Федор. – Еще в Москве.

– Так это от нас туда пошло, – с гордостью сказал Иван.

– А я думал из Кастанеды.

Огорчившись, он достал пирожок и принялся задумчиво жевать.

– Это страна? Не знаю такой, – покачал головой шофер. – Она где?

– В Южной Америке, – ответил Федор, разыскивая начинку в пирожке, а затем бросил наудачу: – А говорят, тут в Гражданскую странные дела были.

– Какие дела? Не слышал. Шамбаландию искали, это точно. Так ее до сих пор ищут. Про

Рериха и его рёхнутых слышал небось? Они в Уймонской долине обосновались. Есть еще которые Беловодье ищут, эти отдельно от уймонских. Как раз недалеко от Чегеня, в Актагаше. А про другие дела не знаю. Но историй разных много ходит, что правда, того врать не буду. Это еще от алтайских шаманов осталось.

– Что осталось? – не понял Федор.

– Ну, привидения, или как сказать. – Иван покрутил в воздухе рукой, изображая нечто невразумительное и неопознаваемое. – Старые хозяева, по-ихнему.

Федор задумался. Ему, конечно, и раньше приходило в голову, что жизнь в горах, особенно девственно языческих, рождает долгое эхо, которым мистическим образом перекликаются между собой первобытная древность и не так далеко ушедшая от нее современность. Но все же столь глубокая погруженность этого красивого края в область инфернального немного тревожила.

– А не встречается у вас здесь, – наугад спросил он, – такая... вроде баба, только с медвежьей башкой?

– Бывает, – ответил Иван и плюнул через левое плечо. – На дорогах попадается.

– Ну и... кто она? – Федор ощутил, как внезапно напряглись нервы.

– Злой дух, говорят, – с неохотой сказал шофер. – Ты про нее лучше не спрашивай, а то накличешь. Ее увидишь – потом тебя по костям собирать будут. Занесет на ровном месте либо в поворот не впишешься.

Федор замолчал, доел пирог, наконец обнаружив следы мясной начинки, и стал смотреть в окно, постаравшись как можно скорее забыть то, что услышал. По правому берегу реки тянулся великолепный сосновый бор; скоро его сменила тополиная аллея, явно рукотворная. Бурная речка скакала по камням вдоль шоссе, упрямый гомон ее вод рождал в душе удивительно светлое и печальное настроение. Федору тут же пришло на ум странное размышление о том, с чего начинается родина. Совсем не с того, о чем поется в песне, а как раз с этого светлого и печального, невыразимым образом вдруг заполняющего человека, когда он совсем не готов к тому. Эти-то внезапно сходящие в душу лучи чего-то непостижимого, очевидно и называются любовью. Если же задаться вопросом, откуда именно они сходят, то после здравого и честного рассуждения окажется, что в самой человеческой личности, со всеми ее темными закоулками, нет такого заповедного родника и им просто неоткуда излучаться. И если это не означает, что любовь в душе берется извне, из каких-то неведомых небесных источников, то ничего другого не останется, как признать ее эфемерностью и обманом чувств. Тут Федору стало казаться, что именно так он и поступал прежде, когда варился в столичном бульоне. Да и все остальные желтые кружки жира на поверхности бульона, воображающие себя золотой молодежью, точно так же считали любовь чем-то вроде пузырьков воздуха в кипящем супе. Но, оказавшись на расстоянии трех с половиной тысяч километров от булькающей кастрюли, Федор неожиданно понял, что больше не хочет так считать. Может быть, думалось ему, это оттого, что он добровольно обрек себя на одиночество в диком горном захолустье? Но, с другой стороны, разве не был он совершенно одинок в Москве, среди нескольких миллионов таких же хаотично движущихся человеческих атомов?

Виды за окном стали меняться с оглушающей воображение частотой. Мелькали сельские поселения, стада овец, коз и других, неизвестных Федору животных, извивались узкие ленты хвойных лесов, затем дорога начала петлять между гор, взбираясь все выше и вдруг стремительно вылетела на гладкую узкую долину. Федор увидел указатель:

«Манжерок», и в памяти всплыл звонкий, как полет комара над ухом, шлягер времен укрепления советско-монгольской дружбы.

После того как по мосту перебрались на другой берег Катуня, Федор задремал. Во сне он видел гуляющие по склонам гористых холмов тучные стада, обрывистые скалы, нависающие над стремительными водоворотами, и далекие заснеженные вершины над синезелеными лесами. Ощущение красоты было настолько пронзительным, что Федору во сне хотелось плакать. Напоследок ему приснился одинокий белый цветок на голом тонком стебле, скромно, но уверенно выглядывающий из каменной расселины. Федор протянул руку, чтобы сорвать его, и вдруг услышал:

– Еще рано.

От этого таинственного голоса он вздрогнул и проснулся.

– Долго я спал? – спросил он, оглядываясь на виды вдоль дороги.

– Над Чуей идем, – лаконично ответил Иван.

Федор опустил стекло и высунулся наружу. Его обдало резким ветром, в котором летели мелкие и колкие капли воды. Река неслась вскачь, по ней стелилась седая грива пены, подпрыгивая на выступающих валунах и навевая мысли о блоковской степной кобылице, – хотя сравнение хромало и вокруг была не степь, а горный перевал, озаренный розоватыми, почти горизонтальными лучами закатного солнца.

Ехать оставалось недолго, и Федор решил пополнить свои знания о местах, куда направлялся.

– Чем промышляет здешнее население?

– Здесь-то? Кто чем. Алтайцы – так те скотом, русские – больше охотой.

– Браконьерствуют?

– Так где ж без этого? – подтвердил Иван. – С монголами тоже... товарооборот делают. Не без того.

– Контрабанда? – уточнил Федор.

– Она самая.

Больше вопросов он не задавал, вдруг встревожившись от мысли, что это поразительное и почти чудовищное великолепие природы станет для него лишь новой золотой клеткой, по своему экзотичной, но не менее бессмысленной. С той разницей, что отсюда будет уже некуда бежать в следующий раз, когда под ним снова загорится земля. А что рано или поздно это произойдет, у него сомнений не было.

Спустя некоторое время вокруг стало просторно – машина выехала в межгорную степь, испещренную, как сперва показалось, огромными, лежащими отдельно валунами. Затем Федор увидел, как один из черных валунов увеличился в размерах и передвинулся на другое место. Разглядеть его получше мешали сумерки.

– Сарлыки, – мотнул головой шофер. – По-нашему як. Такая зверюга, с шерстью и рогами.

За час миновали несколько небольших степных селений. Усть-Чегень располагался в двух километрах от тракта, посреди степи. Машина остановилась на окраине поселка. Иван на прощание пожелал не замерзнуть, развернулся и поехал в соседнюю деревню, где жил его родственник.

Усть-Чегень выглядел безлюдным и бесприютным. Горели редкие окна в одноэтажных домиках, где-то далеко неохотно ронял тусклый свет одинокий фонарь. Даже в брехливом собачьем приветствии, раздававшемся неподалеку, слышалось что-то безнадежное. Федор не

помнил, в какой стороне находится дом его деда. Он отправился по улице наугад, грохоча колесами чемодана по изъеденному ямами асфальту. Чем дальше он шел, тем быстрее становился шаг. Степная высокогорная ночь пробирала до костей, и, когда Федор очутился на противоположном конце поселка, он заледенел окончательно.

Сквозь клацанье зубов он различил топот, быстро приближавшийся, а затем из темноты на него выскочили лошади. Федор, отпрыгнув, повалился вместе с чемоданом на землю и закричал. Кони, не задев его, остановились, а с последней зверюги спрыгнул человек. Подбежав к Федору, он оказался рассерженной девушкой.

– Что это вы падаете посреди дороги? Разве не ясно, что животные вас не тронут?

– А из чего это ясно? – поинтересовался Федор, продолжая лежать на спине. – Налетели на меня, как исчадия ада, и я же еще виноват?

– Если вы сейчас не встанете и заполучите воспаление легких, то уж точно не я буду виновата, – сказала девушка, упрямо тряхнув волосами, заколотыми на голове в подобие метелки. Одета она была в короткую меховую куртку и брюки, заправленные в невысокие сапоги.

– Встану, только после того как вы назовете свое имя, – ответил Федор, глядя в ее лучившиеся звездным светом глаза.

– Вот еще, – фыркнула она, – я с валяющимися на дороге бродягами не знакомлюсь.

– Я не бродяга, – сказал Федор, поднимаясь. – Да и вы не ночная фея. Но ведь я всего лишь предложил вам немного побыть ею. И почему бы вам не принять участие в судьбе несчастного путника, замерзающего в ледяной мгле?

Девушка насмешливо смотрела на него, качая головой. в ореоле лунного сияния она была невероятно прекрасна – еще и от того, что казалась спустившейся с гор дикаркой, своевольной и прямодушной.

– Вам нужна помощь?

– Да. – Федор показал ей свой лоб. – Видите, ваша лошадь копытом чуть не пробила мне голову. Пощупайте, какая шишка.

– После удара копытом вы бы не были так болтливы, – возразила она, возвращаясь к лошади.

– Стойте! – Федор испугался, что сейчас она ускачет и навсегда исчезнет из его жизни, растворившись в степном пространстве. – Мне действительно нужна ваша помощь. А много говорю я потому, что пытаюсь произвести на вас впечатление, но, – он добавил отчаяния в голос, – кажется, мне это не удастся.

– Вам это не удастся, пока вы не прекратите валять дурака, – всерьез рассердилась девушка. – Говорите, какая помощь вам нужна, или я уйду.

– Я ищу дом деда Филимона, – быстро произнес Федор. – Вы его знаете?

– Конечно, знаю. А зачем он вам? – спросила она с женским любопытством, неистребимым даже в лучших представительницах этого пола.

– Я его внук. Федор Михайлович Шергин, – представился он, протягивая руку. – А вы?

– Вы Федор? – удивилась девушка, снова разглядывая его с головы до ног, и вдруг смутилась, улыбнулась чему-то, отведя глаза. – Я Аглая, – сказала она, но руки не подала. – Идем, провожу вас.

Федор подхватил рюкзак с чемоданом, Аглая тихонько свистнула лошадям. Четверо были неоседланы, а пятую она повела под уздцы.

– Мне показалось, вы на меня странно посмотрели, – дорогой сказал Федор. – Я

теряюсь в догадках.

– Ничего странного, – пожалала она плечами, – дед Филимон о вас всем рассказывает.

– Что же он рассказывает обо мне? – слегка приосанился Федор.

– Ну, что внук и что в Москве.

Федор уныло подумал, что дед мог бы быть поласковее и не так скупно отзываться о родном внуке.

– Знаете, Аглая, – произнес он, – за последние дни в моей голове уместилось столько разных впечатлений... но вы – самое прекрасное из всех, достойно венчающее мое долгое путешествие. И эта холодная неприятная ночь после встречи с вами расцвела в моей душе фейерверком неземных грез наяву...

Он хотел сказать еще что-то, столь же витиеватое, но она прервала поток красноречия:

– Лучше вам не грезить наяву, а пойти в дом и хорошенько отогреться, чтобы не стучать так зубами. Мы уже пришли.

Она нажала на кнопку звонка в заборе, окружавшем деревянный дом с палисадником.

– Это у меня от волнения, – объяснил Федор, пытаясь унять дрожь. – Если бы я знал, что на краю света живут такие девушки, как вы... словом, мне хочется сделать вам какой-нибудь подарок, но мне совершенно нечего...

– И хорошо, что нечего.

– Могу я по крайней мере...

– По крайней мере можете, но не более, – смеясь, ответила Аглая.

– Какого лешего там принесло? – донеслось от двери дома.

Дед Филимон с фонарем в руке и в тапочках прошлепал к калитке, осветил на них.

– Ты, девка, видать, сдурела, – сказал он Аглае, – по ночам тут бродишь. А это что за наглая морда с тобой? Не признаю никак.

– Это, дед, твой внук, – досадуя, ответил Федор. – Из Москвы.

Две секунды дед Филимон набирал в грудь побольше воздуха.

– Федька!!! Приехал, паршивец этакий!!!

Он выронил фонарь и бросился обнимать внука, издавая радостные вопли на всю улицу. Когда Федору наконец удалось вздохнуть и оглянуться, Аглаи не было. Она бесшумно исчезла вместе с лошадьми.

За несколько дней в Усть-Чегене Федор обжился: наладил дорогу в поселковый магазин, свел знакомство с местными псами, которые делили территорию между тремя деловито снующими стаями, и обнаружил в двухстах метрах от села юрты алтайских туземцев. Правда, об их аборигенском происхождении он догадался не сразу и поначалу принял деревянные постройки за врытые в землю избышки. Вблизи «избушки» оказались круглыми и практически без окон, зато имели двери, из чего Федор заключил, что здешние туземцы – стойкий народ: приспособливают к своим обычаям цивилизацию, а не цивилизация приспособливает их к себе, как случилось с остальной Россией, за каких-то несколько лет приспособленной для нужд белого человека с Запада.

Обрадовавшись соседству стойких аборигенов, Федор попытался выяснить, имеется ли среди них шаман, но ничего не добился. Они то ли не хотели его понимать, изображая незнакомство с русским языком, то ли делали вид, что непосвященным чужакам к их языческой духовности доступа нет. Впрочем, могло быть и иное объяснение. Над юртами, как кресты над церквями, возвышались телевизионные антенны, а на двух прилепились спутниковые тарелки. Федор разочарованно рассудил, что духовная основа здешних

язычников все же повредилась в результате столкновения с цивилизацией и искать ему тут нечего. Вероятно, где-то в глубине гор эта основа еще сохранялась в первозданной младенческой чистоте, но для путешествия в горы было слишком холодно.

Курайская и Чуйская степи, между которыми расположился Усть-Чегень, отличались от прочего Алтая, и горного южного и степного северного, отвратительным климатом. Зимой до минус шестидесяти, ночные заморозки ковали землю до середины июля. К началу августа в горах принимался за работу осенний маляр, расплескивал из ведра свои краски. Федору с непривычки было жутковато в этой полупустыне. Над головой круглый год сияло солнечное небо, а под ногами на много метров вглубь уходил вечномерзлый грунт, по берегам рек превращавшийся в топь. Дед Филимон страдал пыльными бурями и экономией воды, по ночам же из степи доносился голодный вой волков. Хотя у этих-то, по мнению Федора, еды хватало вдоволь: в горах, кроме овечьих и козьих стад, паслось множество разной добычи, вокруг поселка днем шныряли зайцы и рыли норы сурки. Однажды он с изумлением встретил тушканчика – зверек услышал его приближение и ускакал на двух лапах, заматавая след длинным хвостом.

Аглая снова повстречалась Федору лишь неделю спустя, хотя все эти дни он нарочно ходил по поселку, украшая свою внутреннюю жизнь и медленное течение времени мыслью о ней.

От деда он узнал, что девушка работает в туристической лавочке, организующей конные экскурсии по окрестностям. Ходит за лошадьми, когда те простаивают без дела, выпасает в горах.

– Ладная девка, – со значением молвил дед. – Сирота сиротой, а толк знает. Ты, Федька, у себя в столицах невесту не завел еще?

– Я, дед, от них сбежал, от невест этих, – сказал Федор, почесывая за ухом серого сибирского кота Басурмана. – Дуры одни.

– Уж вижу, что сбежал, – прищурился дед. – А то хочешь, мы тебя здесь оженим? Оженим, мать, Федьку? – крикнул он бабушке Евдокинишне, тихо лежавшей за занавеской. Ответного слова от нее никто не ждал уже много лет, но дед Филимон привык вовлекать ее для порядка в разговор.

– Жениться я, дед, не хочу.

– Чего ж ты хочешь? – прямо спросил тот. – Просто так под юбки девкам лазать? Я в твоих годах уже дите нянчил и второго дожидался. А ты о чем думаешь?

Он вытряхнул из картонной коробки на стол маленькие костяные статуэтки, и, нацепив на нос очки, принялся рассматривать их.

– Я, дед, думаю о том, что жизнь слишком коротка и надо ее употребить с пользой.

– Это как, например? – Дед отвлекся от фигурок и, сдвинув очки на лоб, взглянул на внука.

– Например, в размышлениях о вечном и смысле бытия, – размечтался Федор. – Или вот о том, как и почему, и за какие заслуги нам даруется в этой жизни красота. А главное – кем. Невозможно же всерьез верить, что красота есть всего лишь продукт слепой жизнедеятельности безликих сил природы... Если не сказать вторичный продукт...

– Ну и какая в этом, Федька, по-твоему, польза?

– Безусловно, она есть, – с досадой ответил внук. – Но какая, этого я еще не придумал.

– Ну, думай, думай. К пенсии, может, чего надумаешь, – сморщился дед и стал укладывать фигурки в коробку. – Анархист ты, Федька.

– А я этого не скрываю. В отличие от тебя.

– Чего это я скрываю? – удивленно осведомился дед Филимон.

– Да то, что ты контрабандист. – Федор показал на коробку. – Вот она, статья дохода. А государству убыток.

– Какой ему убыток, забодай его вошь, – затряс бородой дед. – Я свой рубль, по сравнению с этим государством, честно зарабатываю. А ты мне тут, Федька, политику не разводи. Я тебе в своем доме этого не разрешаю, понял?

– Понял. – Федор капитулянтски вскинул руки. Басурман прыгнул на пол и стал тереться о ножку стола возле деда. – Кстати, о политике. Говорят, в ваших горах спрятано золото партии?

– Какой партии? – насторожился дед. – Советской, что ли? Которая ум и честь?

– Ее самой. Сдается мне, ее постсоветские бледные заменители в ваши края до сих пор не добрались. Да и золота столько не накопили.

– Это что ж, здесь скоро нашествие будет? Искать понаедут? Чего еще-то говорят?

Деду Филимону новость не понравилась, хотя, на взгляд Федора, авантюризма в характере ему было не занимать, и, надо думать, в молодые годы к тихой жизни он не стремился.

– Может, и не понаедут, – туманно ответил Федор. – Может, и нет никакого золота. Может, я всего лишь от скуки и томления заполняю собственное сознание коварными химерами?

– погоди, Федька, – сказал дед, отпихивая кота. – Ты выражайся яснее. Какие там еще химеры? Это ты по девкам, что ли, таким манером сохнешь? Заговариваться вон стал. Ты с ихним коварством осторожней.

Федор вздохнул и, сложив руки за спиной, встал у окна, наполовину закрытого горшком с могучей геранью. В уме снова возник чистый и невинный образ Аглаи – она сидела верхом на лошади, одновременно хмурясь и улыбаясь, но Федору не хотелось подозревать ее ни в каком коварстве. Наоборот, верилось в понимание и чувство сострадания.

– Оставь девок в покое, дед, – молвил он. – Лучше скажи, отчего это ходят нелепые байки о здешних краях? Я по дороге много всего наслушался. О злых оборотнях, о горных духах, подбрасывающих золото, о партизанах, которые играли в наследников Чингисхана в Гражданскую войну.

Дед Филимон сходил к двери, выпустил на улицу орущего Басурмана, потом сел на стул у печки, взялся чинить старый башмак. Наконец проговорил, смущенно и будто стыдливо:

– А может, и было что. Может, и чудь тогда в горах на свет повылазила, тоже говорят. А у энтой чуди подземной сокровища всякие запасены.

Федор, застыв у окна, решительно обрывал один за другим лепестки на красном цветке герани. Нелегко ему было разобраться в закружившем вихре чувств, поднятом неосторожными словами деда. Сравнить это сложное ощущение можно было, например, с тем, что, как известно, случается, когда наступаешь на грабли. Причем на эти грабли Федор наступал второй раз. Но если личные убеждения частного возчика Ивана остались для него невыясненными, то дед Филимон уже был замечен в явном неодобрении туземного язычества и религии вообще. Посреди общего мистицизма здешних краев дед до сих пор сохранял свежесть радикального советского восприятия действительности.

– Как же мне тебя понимать, старый ты матерьялист? – спросил Федор самого себя вслух.

– А так и понимай, Федька. Тут в пещерах кержаки по триста лет от царских сатрапов хоронились. Думаешь, до них никто не догадался под землю уходить, чтоб жилось спокойней?

– Да, – отрешенно сказал Федор, – про сатрапов я и не подумал.

На следующее утро дед разбудил его рано. Вместо обычной шерстяной поддевки он надел синий пиджак с медалью на груди.

– Вставай, Федька, пойдем к памятнику, долг отдадим.

– Какие долги в этой глухой дыре, – пробормотал Федор, отворачиваясь.

Дед Филимон стянул с него одеяло и потребовал:

– Вставай. Хоть ты анархист, а победу и для тебя добывали, чтоб ты мог дрыхнуть сколько хочется.

Федор вспомнил, что сегодня девятое мая. Эту дату он поневоле уважал, хотя никогда не ходил в этот день ни к каким памятникам и никому не дарил цветы. Дед со своей медалью за укрепление тыла ушел ждать на крыльцо, Федору пришлось одеваться и умываться наспех. Торопливости его движениям придавала и надежда на то, что у памятника он увидит Аглаю.

Надежда оправдалась. На окраине поселка, где росли квелые ели, собралась толпа человек в сорок. Аглая стояла посреди них и сосредоточенно слушала однообразные речи. Пока возлагали цветы к гранитной доске с тремя фамилиями, Федор приблизился к девушке и шепнул на ухо:

– Умоляю, не исчезайте так же внезапно, как в прошлый раз. Я не переживу этого снова.

Аглая повернулась и тихо произнесла:

– Судя по вашему загару, вы провели эту неделю с пользой для здоровья. Не старайтесь убедить меня в том, что страдали.

– На этом солнце я скоро превращусь в негра, – усмехнулся Федор. – Удивляюсь, как вам удастся в таком климате сохранять естественный цвет кожи?

– У меня с солнцем договор – оно меня не трогает, – с самым серьезным видом сказала Аглая. Ее светлые до белизны волосы казались выгоревшими или крашеными, однако цвет был натуральным.

– И все-таки вы не правы, – продолжал Федор, – всю эту неделю я искал вас, и мое сердце было полно грусти. Я слышал, вы работаете в туристической фирме. У меня есть предложение. Вернее, просьба. Давайте устроим небольшую экскурсию по окрестностям.

Аглая размышляла недолго.

– На лошадях?

– Предпочитаю пешком, – поспешно отказался Федор. – Знаете, к лошадям я с детства питаю предубеждение. Мне почему-то все время кажется, что их копыта не лучшее соседство для моей головы.

– Я согласна. Но должна предупредить, – она окинула его взглядом, от которого Федору почудилась мгновенно выросшая между ними непроходимая стена, – если вы начнете вести себя неприличным образом, я сумею защититься.

– Боже, какие у вас мысли. Хорошо, я возьму меч и буду держать ему между нами, – пообещал он.

– Где вы возьмете его?

Она рассмеялась, и прозрачная стена моментально рухнула.

– Нарисую в уме.

После салюта, выпущенного из ракетницы, толпа у памятника стала редеть. Из старого магнитофона гремел голос Кобзона, невидимой лавой растекаясь по голой бугорчатой степи. Хотя солнце припекало, растительность вокруг, насколько хватало глаз, оставалась чахлой и редкой, как на плешивой голове.

Через полчаса Федор встретился с Аглаей у выезда из поселка. На спине у него болтался рюкзак, у нее к поясу была прицеплена торбочка.

– Идем к тем холмам, – показала Аглая, – там есть интересные вещи.

Неровная линия холмов на юго-востоке пересекалась медленным притоком Чуи. По берегам трава росла гуще, как в настоящей степи. На противоположной стороне реки горбатыми кочками лежали апатичные верблюды.

– Здравствуй, Белая Береза, – прокричал пастух.

Аглая весело помахала в ответ:

– Привет, Жанпо!

– Это что за желтолицый Бельмондо? – поинтересовался Федор, чувствуя досаду.

– Послушайте, вы видите меня всего второй раз, а уже ревнуете как свою невесту, – немного раздраженно сказала Аглая.

– Было бы странно, если бы я ревновал кого-то другого, – заметил он. – Я здесь никого больше не знаю. Кроме того, я не уверен, что вы сердитесь искренне. Однако вы не ответили на мой вопрос.

– Вы не задали никакого вопроса.

– Нет, я спросил – этот верблюжий пастух ваш воздыхатель?

– С чего вы взяли?

– Он назвал вас Белой Березой. По-моему, это слишком похоже на альковное прозвище.

– Если будете хамить, нам лучше сразу разойтись в противоположные стороны. – Аглая наклонилась и сорвала ковыльный стебель. В этом движении была такая прозрачная невинность и простодушная нежность по отношению к былинке, что Федор устыдился своих слов.

– Простите, я сам не знаю, что говорю. Наверное, еще не акклиматизировался.

– Прощаю. С Жанпо мы приятели. Кстати, его действительно называли Жан-Подем в честь французского актера. А Белой Березой меня зовут здесь все алтайцы и казахи.

Федор едва удержался от нового бесцеремонного высказывания.

– Вероятно, это что-то романтическое, – пустился он в рассуждения, – в духе Фенимора Купера: Большой Змей, Острый Глаз, Танцующее Перо. Скво Белая Береза. От этого веет какой-то забытой наивной свежестью, близостью к природе. И такой родной образ... Белая береза под моим окном... Кажется, я понимаю. Для туземцев вы олицетворяете все русское, северное. Не скажу имперское, нет, совсем нет...

– Федор, – остановила его Аглая, сосредоточенно глядя вдаль, на узкую полосу перистых облаков над холмами, – скажите, для чего вы приехали?

Приготовившись было дальше развивать тему взаимоотношений братских народов, Федор выпустил воздух из легких.

– Неужели я вам так быстро надоел? – расстроился он.

– Вы пытаетесь изображать кого-то другого, ужасно фальшивого, – сказала она. – Просто перестаньте это делать. Когда вы смотрите в зеркало, кого вы там видите – себя или своего наскучившего двойника, который притворяется вами? Разве вы не чувствуете, что это ваш недруг, навязчивый, злой, уродливый? Вам не хочется освободиться от него?

Вот так белая береза под окном, подумал Федор, внутренне остолбенев и собираясь с мыслями.

– Боюсь, это долгий разговор, – ответил он. – Но надеюсь, эту тему мы с вами еще обсудим. Поверьте, она, безусловно, волнует меня. – Он прижал ладони к груди. – Как раз в поезде, по дороге сюда, я размышлял об этом, но, увы, мой двойник, мой черный человек оказался сильнее меня. Однако ваше присутствие, Аглая, дает мне надежду, что здесь, в этой благословенной пустыне, я обрету избавление. Имейте это в виду.

– Хорошо, – коротко молвила она.

Федор подошел к воде, умыл лицо. Становилось жарко, поблизости пищали то ли птицы, то ли зверьки.

– А приехал я сюда, чтобы готовить диссертацию по Гражданской войне.

Солгав, он тут же подумал, что это вполне может стать правдой. И даже тема оккультного, словно исполняя его недавнее пожелание, в этом случае находит себе место и применение в качестве исторического материала.

– Что-то подсказывает мне, – продолжил он, – это будет такая диссертация, от которой все ахнут. Аглая, вы ведь поможете мне отыскать хороший материал? Я имею в виду – первосортный?

– Смотря что вы подразумеваете под этим словом.

Она тоже сполоснула лицо, а после, нагнувшись с прибрежного камня, покрытого красно-желтыми заплатками мха, напилась прямо из реки. Федор, глядя на нее, рискнул проделать то же самое. Вода была немного мутной, но приятной, со степным горьковатым привкусом. Отдохнув недолго, они снова пустились в путь.

– Ну, например, я подразумеваю под этим имя Бернгарта. Вам оно что-нибудь говорит?

– Совсем немного, – не сразу и с неясной грустью в голосе сказала Аглая, – я почти ничего о нем не знаю.

– А откуда он вообще вам известен? – Федор не ожидал подобного ответа и невольно сделался подозрительным.

Она пожала плечами.

– Здесь рассказывают много всяких историй. И эту тоже. В Актагаше, на базе «Беловодье», даже есть его музей. Считается, что во время Гражданской он искал в горах путь в Беловодье.

– А золото? – нетерпеливо спросил Федор.

– Про золото ничего не говорят, – покачала она головой, совсем не удивившись. Федора это подтолкнуло к неожиданному повороту мысли.

– Аглая, вы должны рассказать мне, что вам известно о... – он хотел сказать «мифах, связанных с подземной чудью», но вырвалось другое: – о подземной чуди.

Они перешли через гребень длинного бугра. Внизу стояла исполинская каменная фигура. Федор бегом спустился к ней, крича на ходу:

– Каменная баба!

Он жадно оглядел истукана со всех сторон, нежно поглаживая пальцами грубые каменные бока древнего тюркского воина, страшно уродливого. Глыбу, чуть накрененную вперед, окружали в беспорядке камни помельче.

– Алтайцы называют их кезер-таш, – сказала Аглая, подойдя. – Когда-то здесь был жертвенник.

– А, может быть, это курган? – волнуясь, спросил Федор. – Его раскапывали?

– Бугровщики давно перерыли каждый холмик.

– Жаль, – успокоился Федор. – Я не прочь сделать какое-нибудь археологическое открытие.

– Например, отыскать дорогу к подземной чуди? – поддела его Аглая.

– А что, есть такая дорога?

Аглая пошла дальше, не ответив. Фамильярно похлопав на прощание каменного сторожа, Федор догнал ее и молча зашагал рядом. Дорогу им перебежал здоровый степной кот с широкой плоской, совершенно монгольской мордой и затаился в траве. До больших, вырастающих впереди холмов оставалось немного, уже видны были их каменистые остовы и зубцы скал вокруг. Из обрывистой низины справа выглядывали верхушки молодых лиственниц.

– Вы заметили, Федор, здесь совсем не растет береза, – заговорила Аглая.

– Заметил – тут вообще мало что растет, – хмыкнул он.

– Я не об этом. В горах есть и леса, и луга. Но березы встречаются только старые, которым за сто лет. Или карликовые на границе снегов.

– В ваших словах, милая Аглая, чувствуется сильный подтекст. Что вы хотите этим сказать?

– Есть легенда. Когда на Алтай пришли люди Белого царя, то есть русские, в этих краях начала цвести белая береза. Смуглокожий народ, который тут жил, не захотел быть под властью Белого царя и ушел под землю, в пещеры. Стал там хранителем «ключей счастья». Иногда, правда, рассказывается, что они предпочли самоуничтожение – погребли себя под камнями. Но в легенде говорится, что они вернуться, когда настанет счастливое время. Сто лет назад счастливым считалось такое время, когда не будет ни царя, ни...

– ...царских сатрапов, – подсказал Федор.

– Вот-вот. Сейчас, конечно, по-другому рассказывают про Беловодье и посланцев оттуда, которые должны принести всем великую науку и научить счастью. Все это, разумеется, ерунда.

– Разумеется.

– Только после революции и Гражданской войны белая береза перестала здесь расти, – закончила Аглая. – А вместо нее появилась черная горелая береза.

– Так, – сказал Федор, – с этого места подробнее, пожалуйста. Я уже в третий раз слышу об этой мифической горелой березе, но никак не уразумею, в чем суть.

Аглая остановилась и повернулась к нему, посмотрела в глаза. У нее был невероятно выразительный взгляд, которым она, как настоящее дитя природы, могла говорить без слов и от которого Федору вдруг захотелось спрятаться. Такими глазами, подумал он, можно хоть сейчас разжигать костер.

– Я все ждала, когда ты вспомнишь, – сказала она, внезапно перейдя на «ты». – Но ты все забыл... Федор, ты сам видел эту горелую поляну и черную березу.

– Я? – изумленно переспросил он. В тот же миг в его сознании вспыхнуло черное пятно, медленно превращавшееся в совершенно четкую картину-воспоминание: большой круг, выжженный в степном покрове, и в центре его – торчащий обугленный ствол с голыми, поникшими, будто изломанными, ветвями...

* * *

Над высушенной, красной от зноя землей висело жаркое марево. Воздух колыхался, и казалось – протяни руку, дотронься и почувствуешь упругое сопротивление, а потом

перейдешь прозрачный барьер и окажешься в совсем другом месте, на чужой планете, в далекой от Земли галактике. В другом мире, манящем своей непохожестью и чудесами.

Трое уходили от поселка все дальше в степь, решительно настроенные на поиск приключений. Верховодил в компании Санек. Низко надвинув на глаза кепку, он хлюпал болтающимися на ногах сандалиями и шепеляво насвистывал. Время от времени он оборачивался, с высоты своего возраста озирал малышню и бросал завистливый взгляд на новые кроссовки Федьки, который всего лишь закончил первый класс. Позади всех ковыляла четырехлетняя Аглая в желтом платье – упрямо пыхтела, не желая отставать.

– Ну чего тащитесь, как козявки? – подгонял их Санек. – С вами далеко не уйдешь.

– Ну и шел бы один, – пробурчал Федька, – а мы сами по себе.

– Да куда вы без меня! – свистнул Санек. – Сразу заблудитесь и сопли пустите. А я места знаю. Я тут тыщу раз ходил.

– Ну и чего ты знаешь? Тут же нет ничего. Одни ямы и камни. И жарко. Лучше бы к горам пошли.

– Ты приезжай, вот и молчи, шкет, – сурово сказал Санек. – В горах ты свои кроссовочки живо издерешь, мамка за них тебе влупит.

– Не влупит.

– Ладно, пошли, чего встали, – оборвал спор Санек. – Я тут одно место нашел. Оно секретное, никто про него не знает. Я тебе покажу, потому что ты все равно уедешь, а ты никому – понял?

– А она? – Федька кивнул на Аглаю. – Увязалась за нами. Девчонка! – презрительно добавил он.

– Она не разболтает. Еще говорить как следует не научилась.

– Я научилась, – четко выговаривая слоги, пропищала Аглая.

Санек махнул на нее рукой.

– Все равно малявка. Не запомнит.

– А что за место? – деловито спросил Федька.

– Вход под землю, – таинственно произнес Санек. – Я думаю, там пещеры.

– Пещеры? – затаил дыхание Федька. – Ты в них лазил?

– Нет еще, только собираюсь, – с важностью сказал Санек. – Нужно добыть длинную веревку и фонарь со сменными батарейками. И еды запастись. Думаю, на несколько дней.

– Ну да? – не поверил Федька. – Такие здоровенные пещеры?

– Ага. И под горами тоже полно пещер. Они тут везде. Только их искать надо, входы все закрыты камнями. И никто в них не был. Ну, может, некоторые.

– А чего там? – заинтригованно спросил Федька.

– Сокровища разные, – заверил Санек. – Их древние люди насобирали, самоцветы разные, золото всякое. Они в пещерах прямо жили. А может, и сейчас живут. А между пещерами лазы проделывали, чтобы ходить в гости. Или от опасности прятаться.

– От какой опасности?

– От тех, кто их завоевать захочет или сокровища отобрать. От нас, в общем.

– А ты меня за сокровищами возьмешь? – стал напрашиваться Федька.

– Возьму. Там одному несподручно. Особенно если много сокровищ найдем. Тащить придется. Только ты хиловатый. – Санек с сомнением пощупал мышцы на руке Федьки.

– Я зарядку делаю, – шмыгнув носом Федька. – Меня дед научил. Табуретку за конец ножки поднимать. Уже десять раз могу одной рукой.

– Ладно. Пока будем готовить вылазку, ты качайся.

– А вдруг там не пещеры? – усомнился напоследок Федька.

– Если не пещеры, тогда лаз, – подумав, ответил Санек. – А он может на много километров идти. Так что кроссовки ты свои обязательно издерешь, – с легким злорадством заключил он.

– И я с вами, – заявила Аглая.

– Еще чего! – фыркнул Санек.

– А вот чего! – заупрямилась девочка. – Я слово волшебное знаю. Мне пещера откроется.

– Какое еще слово ты знаешь? – нахмурился Санек.

– Пож-жалуйста! – выговорила Аглая.

Санек с Федькой переглянулись и покатались от хохота.

Аглая отвернулась от них и стала собирать вокруг белые и синие цветки на длинных ножках.

– А мы заблудились, – сказала она вдруг, сев на корточки.

Санек перестал смеяться и оглядел из-под ладони степной горизонт.

– Ничего не заблудились. Нам вон туда. – Он показал на росшую вдалеке одинокую сосну.

Но когда они дошли до сосны, Санек почесал в голове и сказал:

– Наверно, не туда завернули.

– Да тут все места похожие, – жалобно произнес Федька. – Я пить хочу.

– Не ной. Там ручей должен быть. Пошли.

Они зашагали обратно, забирая сильно в сторону, но и в том направлении Санек не узнавал места.

– Заблудились, – уныло сказал Федька, садясь на валун. – А говорил, тыщу раз ходил! Нет тут никаких пещер. Ты, может, просто наврал.

– Ну ты, малявка! – вскипел Санек. – За панику знаешь, что полагается? Расстрел на месте.

Он достал из-за пояса водяной пистолет и выстрелил в Федьку. Тот жадно поймал ртом несколько капель.

– Ты убит, – сказал Санек.

– Нет, не убит, – недовольно возразил Федька. – Я не хочу больше искать пещеры.

– А там что? – подала голос Аглая, тыча пальцем вперед.

Мальчишки повернули головы, всмотрелись сквозь зримо движущийся раскаленный воздух.

– Черные камни какие-то, – сказал Санек.

– Это мираж, – убежденно заспорил Федька.

– Пойдем глянем.

Приблизившись к странному месту, они увидели черную обгоревшую землю и опаленный ствол дерева посреди нее.

Санек остановился первым, не дойдя до выжженного круга. Из-за него выглядывала напуганная Аглая. Федька с круглыми глазами продолжал идти вперед. Горелая поляна притягивала словно магнитом. Будто неслышно звала к себе, как в сказках зовет яблоня попробовать яблочко и печка отведать пирожка. Федька чувствовал в этой поляне страшную тайну, перед которой блекли все пещеры с их несметными сокровищами. Он медленно

дошел до самой границы черной земли и остановился, переводя дух. Всего один шаг отделял его от того, что скрывала в себе поляна с черной березой.

Федька оторвал ногу от земли, в тот же момент кто-то схватил его и отбросил назад. Санек репьем вцепился в него, оттаскивая прочь, и орал дурным голосом, как заведенный:

– Не ходи туда! Не ходи туда! Не ходи туда!..

Федька, ничего не понимая, молча брыкался, но отделаться от Санька не получалось. В стороне громко ревела Аглая.

К поселку они вернулись под вечер. Их искали с фонарями, оглашая степь криками. Санька отец наградил крепкой затрешиной и поволок в дом пороть. Федька отделался пощечиной, полученной от матери. Аглая, еле передвигавшая ногами, заснула на руках у первого встретившегося им взрослого.

Никто и никогда не узнал о том, что они видели в степи.

...Когда горелая поляна исчезла позади из вида, Федька, шаркая ногами по траве, мрачно спросил:

– Ты чего меня не пустил? Забоялся?

– Дурак, – так же угрюмо ответил Санек. – Ты бы там пропал. Это плохое место.

– Чем плохое?

– Там живут злые человечки, – тихо проговорила Аглая, утирая ладонью грязное от пыли и слез лицо.

– Плохое место, – твердил Санек. – Там пропадают. Эта поляна все время в разных местах появляется. Она бродячая.

Федька подумал и спросил:

– А до Москвы она может добраться?

– Может.

Еще немного помолчав, Федька сказал:

– В Москве много людей пропадает. А куда они пропадают?

– Под землю проваливаются, – прошептала Аглая, но ее никто не услышал.

* * *

– Я вспомнил, – сказал Федор. – Так эта малявка в желтом платье была ты?

– А тот мальчишка, которого поманила горелая береза, был ты.

Они повернули в сторону от реки, направляясь к самому высокому холму. Его каменистые склоны, оголенные, с редкими кустиками травы, местами совершенно отвесные казались изъязвленными стригушим лишаем. В тени скал лепились группками низкорослые и тонкоствольные сосны.

– А наш Сусанин? – с усмешкой спросил Федор. – Санька, кажется. Где он теперь?

– Его убили в Дагестане семь лет назад. Он попал в плен, и ему отрезали голову...

Федор внутренне одеревенел, задумавшись о темной стороне жизни, на которую раньше ему не приходило в голову обращать внимание. Он, конечно, знал о ее существовании и даже сам недавно подошел к ней слишком близко, но все же не имел достаточного представления о том высоком трагизме, который придает этой темной стороне жизни отблеск некой светлой красоты и гармонии. Между тем в голосе Аглаи прозвучало нечто столь простое и трогательное душу, что Федор почувствовал себя, может быть, безосновательно причастным к этой возвышающей человека светлой гармонии.

– Тот смуглокожий народ из легенды, который скрылся под землю, – продолжила она рассказ, – был знаком с тайной силой. Они умели ходить через огонь, видеть сквозь землю –

руду, драгоценные камни, владели магическими знаниями. Так старики передают. А когда они уходили, то оставили секретные ходы, через которые можно было попасть к ним.

– Милая Аглая, – снисходительно произнес Федор, – я надеюсь, сейчас не прозвучит утверждение, что эта чертова поляна с горелой березой – один из тайных ходов?

– Ты спрашивал – я рассказала, – уклончиво ответила она.

– Я понимаю. Это-то меня и беспокоит. С тех пор как моя нога ступила на эту трижды благословенную землю, – Федор воздел руки к солнцу, – я просто купаюсь в атмосфере первобытного мистицизма. Но мне бы не хотелось, чтобы и вы... то есть ты... – он запнулся, глядя на нее.

– Что – я? – спросила Аглая.

Она шла вдоль скалы, ведя по камню рукой, и из-под ладони выскальзывали рисунки, которые несли в себе столько первобытного мистицизма, что Федор на миг растерялся. Древние пиктограммы, за века ввевшиеся в плоть скалы, изображали какой-то языческой ритуал.

– Однако, – Федор задумчиво поменял тему, внимательно изучая рисунки, – я не исключаю, что художник запечатлел здесь просто древнюю семейную сцену, скажем, наказание провинившегося балбеса-отпрыска... Впрочем, в первобытные времена любое действие, несомненно, являлось ритуалом и обращением к богам либо духам.

– Какое чувство они в тебе пробуждают? – спросила Аглая, нежно поглаживая изображение человечка.

Федор рассмеялся.

– Я чувствую ревность. Как бы я хотел сейчас оказаться на месте этого древнего неотесанного дикаря.

– Ради бога, Федор... – поморщилась Аглая.

– Но я действительно думаю, что этот кроманьонец счастливый человек, – серьезно произнес он. – От него на земле осталась столь прочная память, что спустя тысячелетия мы можем с замиранием духа разглядывать его изображение, выдумывать его судьбу и даже ласкать его пальцами.

Аглая убрала руку от рисунка.

– И вот я пытаюсь представить себе, – продолжал Федор, – останется ли от меня что-нибудь через каких-то несколько тысяч лет? И станет ли какая-нибудь красивая девушка воображать себе мою жизнь, поглаживая чудом сохранившееся изображение?

– Попробуй рассуждать с другого конца, – посоветовала Аглая. – Захочется ли тебе вообще через тысячи лет любоваться своими бренными земными отпечатками.

Она повела его дальше, огибая холм. Федор не сразу заметил, как под ногами появилась утоптанная тропинка.

– Разумеется, – ответил он, – когда я превращусь в облако, проплывающее по небу, или, что, конечно, хуже, в баобаб, этот вопрос совершенно не будет меня волновать. Но ведь мы говорим не об этом?

– Конечно, не об этом. До сих пор ни одному человеку не удавалось превратиться в облако.

Федор подумал, что еще немного и он будет загнан в постыдный тупик.

– Аглая, мне кажется или я ошибаюсь, что для тебя этот вопрос серьезнее, чем тон, в котором мы об этом говорим? – отчаянно спросил он. – Я бы не хотел оказаться в твоих глазах слишком легкомысленным.

– Не думаю, что это имеет большое значение, – слишком легкомысленно, на взгляд Федора, ответила девушка.

Они очутились в живописном и диковатом месте. Посреди распадка между холмами находилась старая лиственничная рощица. Молодая хвоя распушилась на верхушках полузасохших деревьев. Голые растопыренные ветки, начинавшиеся почти от земли, были увиты цветными лентами, старыми, выгоревшими на солнце и совсем новыми. Между ними болтались на нитках деревянные и костяные фигурки, мелодично звякали от ветра колокольчики.

– Знаешь, а у вас тут мило, – сказал Федор, оглядываясь. – Священные рощи, каменные бабы, наскальная живопись. Еще бы хоть одного шамана найти.

– Для чего тебе шаман?

– Очень хочется познакомиться с живым шаманом. И чтоб потомственный был.

Федор взял белую фигурку старика с длинной бородой и посохом в руках.

– О! Знакомые все лица, – обрадовался он. – Монгольская контрабанда деда. Он торгует ими и прочей дребеденью на базаре.

– У нас бывает не так уж мало туристов, – сказала Аглая. – Они покупают эти «дары» и идут сюда, чтобы попросить духов исполнить их желания. Алтайцы оставили эту рощу туристам, а свою устроили в другом месте. Издержки цивилизации. Мило, но чересчур потребительски.

– Кто этот почтенный патриарх? – Федор щелкнул фигурку пальцем.

– Монгольское божество, Цагаан-Эбугэн, Белый Старец. Он отшельник, сидит у входа в пещеру под персиковым деревом и наблюдает за своими владениями – лесами, горами, водами, зверями. Одним словом, хозяин земли. Прикосновение его посоха дарит долгую жизнь. Те, кто вешает здесь эти фигурки, верят, что станут долгожителями.

– Надеюсь, он не укоротит мою жизнь за непочтительное обращение? – усмехнулся Федор.

– Нам пора возвращаться, – сказала Аглая. – Меня ждет тетка.

– А твои родители?..

– Они погибли в горах.

Она повернулась и пошла по тропинке назад.

На обратном пути Федор пытался продолжать беспечный разговор, но собственные реплики все больше казались ему лишены смысла. Это было странно, потому что такого с ним не происходило никогда. Он вдруг остро почувствовал, что всю жизнь был немного лицедеем, немного шутком, немного философом, но все его ипостаси нисколько не интересовали эту девушку. И совсем уж необъяснимым было то, что он не мог списать это ни на ее провинциализм, ни на дикарскую простоту.

– Аглая, я не могу разгадать тебя, – признался он наконец и спросил у неба: – Ну отчего в этих горах все так загадочно, даже девушки?

– Лучше было бы, если б каждый встречный мог разгадать меня с первого взгляда? – слегка улыбнулась она.

– Увы мне, – сказал Федор, разведя руками. – Но, впрочем, я не теряю надежду.

Аглая остановилась и показала на что-то вдалеке. Они шли вдоль резкого обрыва, а внизу простиралась поросшая елочками, уютная на вид долина, с противоположной стороны подпираемая предгорьем. Ее пересекала вьющаяся нитка ручья. Возле особо живописного изгиба речушки, среди елок воздвигся двухэтажный дом из красного кирпича с островерхой

крышей и аккуратным деревянным забором. Пасторальной картинке не хватало только дымка над трубой, играющих детей и пасущихся овец.

– Чья-то дача? – удивился Федор.

– Его построили год назад, и с тех пор там никто не появлялся.

– Похоже на скромное шале в швейцарских горах, где живет какая-нибудь престарелая пара, радушно принимающая всякого приبلудного туриста.

– Ты был в Швейцарии? – спросила Аглая, снова пускаясь в путь.

– К сожалению, не был. В своих предположениях я часто опираюсь исключительно на собственное богатое воображение. Кстати, я не преувеличиваю. Оно у меня действительно богатое. Например, я легко могу вообразить тебя в Москве, живущую в элитном комплексе, сделавшую отличную карьеру. Я не шучу, Аглая, – сказал он, услышав ее смех. – Я уверен, с твоим умом и внешностью ты могла бы, обойдясь без всяких сентиментальных московских слез, покорить любой столичный олимп. Ты могла бы открыть свое дело...

– Хватит, Федор, – остановила она его с легким недоумением и даже, как показалось ему, брезгливостью. – У меня есть мое дело, и оно меня вполне устраивает. Я не собираюсь покорять Москву и вообще не намерена никуда уезжать отсюда.

– Хочешь убедить меня, что запах конского навоза тебе милее всего на свете? – саркастически спросил Федор.

– Да я лучше буду убирать конский навоз, чем продавать пылесосы в стеклянном супермаркете, где гуляют толпы городских бездельников, которым нужно заглядывать в зубы и угадывать их желания.

– Однако странные у тебя представления о жизни в городе. В зубы скорее заглядывают как раз лошадям.

– Город для меня бессмысленное и хаотичное место. Я никогда не стану жить там.

– Ты хоть раз была в городе? – поинтересовался Федор, чувствуя себя задетым за живое.

– Один раз была. В Горно-Алтайске.

– И с таким богатым опытом ты ненавидишь город за его пылесосы и стеклянные магазины? – съязвил он. – Как это похоже на деревню! Не видеть ни черта в мире и выносить обо всем брезгливые суждения. Что ты будешь вспоминать на смертном одре? Как всю жизнь накручивала хвосты лошадям?

– Я буду вспоминать то же, что и все, – невозмутимо сказала она. – А количество жизненных впечатлений необязательно переходит в качество. Везде происходит одно и то же. Я могу жить в деревне и знать о мире гораздо больше тебя.

Это было чересчур. Федор ощутил в себе злость и с удовольствием излил свое раздражение:

– Ну, конечно. Где уж нам, городским бездельникам. Приезжаем к вам в деревню писать диссертации, за жизненным опытом, так сказать. И все равно питаем странные иллюзии. Все никак не обретаем нужной степени бесстрастия. А нужно-то всего: сидеть в горах и изо всех сил сомневаться в многообразии мира. Ты случайно в буддисты не записалась?

– Нет, – спокойно ответила Аглая. – Но я не сомневаюсь. Я просто знаю.

– Что ты знаешь? – нетерпеливо осведомился Федор.

– Что жизнь везде одинакова.

Она поискала что-то глазами, подошла к лежавшим впритык камням и сдвинула один. В тени под камнями спаривались темно-серые ящерицы с красивым сетчатым рисунком на

спинках. Внезапно оказавшись на свету, они недовольно заморгали круглыми глазами и с шорохом шмыгнули в траву. Федор несколько секунд точно так же моргал, не находя слов.

– Да, – наконец произнес он, – как говорится, комментарии излишни.

Аглая, вдруг зардевшись, положила камень на место.

– Я не совсем это хотела сказать.

– Да нет же, именно это, – возразил Федор, неожиданно успокоившись и даже ощутив потерянную было уверенность в себе. – Хотя я не буду повторять избитую истину, что все бабы дуры. Это слишком просто.

Он прошелся туда-сюда и снова встал перед ней.

– Думаешь, я не вижу тебя насквозь? – спросил он, забыв, что несколько минут назад говорил нечто противоположное. – Все твои желания вижу. У тебя в голове одно: осчастливить какого-нибудь здешнего немытого пастуха, нарожать ему десяток пастушат и всю жизнь штопать им драные носки. Вот твой предел. А вся философия насчет пылесосов и остального – самообман, чтобы не чувствовать себя ущербной и не реветь над своей несчастной жизнью. Ну что, я не прав? Ведь хочешь нарожать кучу детей, чтоб ни о чем другом не думалось?

Аглая молчала, опустив глаза, и казалась беспомощной. Федор готов был явить милосердие и сказать что-нибудь мелодраматическое, пошло пообещать, что «все будет хорошо», но вдруг почувствовал некое неудобство. Сперва ему показалось, что оно чисто психологического свойства, однако в этом пришлось усомниться. Федор отчетливо ощущал, как что-то легко, вроде ветра, толкает его в грудь. Ничего не понимая, он сделал шаг назад, но неприятное чувство не пропало. Нечто продолжало отпихивать его прочь от девушки. Когда она подняла взгляд и уперлась глазами в переносицу Федора, его точно ткнули кулаком под ребра – и это намного превосходило всю меру дикости, которую он прежде отмерил этой гордой дочери природы.

– Уходите, Федор, – тихо сказала она. – Оставьте меня в покое.

Развернувшись, Аглая быстро зашагала по степи.

– Хорошее дело, – крикнул он, опомнившись, – куда это я уйду посреди пустыни? Хотя бы доведите меня до поселка.

Он догнал ее и какое-то время шел молча. Затем уточнил:

– Итак, мы вернулись к официальному «вы»?

Ответа не последовало, и он продолжал:

– Ну, простите меня, Аглая, я погорячился. Да и за что вам на меня злиться? Что я такого сказал? Ну хотите, влепите мне пощечину, только не надо больше так смотреть на меня. Вы бы вообще поосторожней с этим магнетическим боксом, а то, знаете, даже страшно стало. Не за себя, разумеется, за вас.

– Я не понимаю вас, Федор, – не поворачивая головы, произнесла Аглая.

– Ну хорошо, ладно, пусть я бессмысленный идиот и так далее. Как хотите. Но вы все равно не убедите меня, что я вам абсолютно безразличен. Даже не пытайтесь. Если бы это было так, вы бы не стали водить меня, как Моисей, по пустыне, показывая ее достопримечательности. И кстати, я благодарен вам за эту экскурсию. Вы замечательный гид.

– Но я действительно не испытываю к вам никаких особых чувств. А эту прогулку, если уж она так волнует вас, можете считать бонусом от туристической компании, где я работаю.

– Вот как, – с деланным равнодушием молвил Федор, притормозив.

Он снова злился на нее, но теперь к этому чувству примешивалась сильная струя холодной ярости. Остаток пути до поселка они проделали в молчании, которое со стороны Федора было враждебным и мстительным. Он пытался придумать достойный ход, но был слишком раздражен, чтобы сладкое вино мести не приобрело уксусный вкус.

Пожар на окраине поселка первой заметила Аглая. С криком «Горит!» она побежала к полыхающему строению. Федор бросился за ней, ясно сознавая, что их пробежка ничем и никому не поможет. Деревянный сарай на отшибе поселка горел, как факел, вот-вот должна была обрушиться крыша. Аглая беспомощно металась, потом налетела на Федора и крикнула, чтобы он вызывал пожарных. Он помотал головой:

– Поздно. – И тоже заорал на нее: – Да что за страсти по дырявому сараю?

Аглая застыла.

– Дырявому сараю? – повторила она тихо и устало. – Что вы понимаете... Это старая церковь. – И, посмотрев ему в глаза, добавила с неприязнью: – Уходите. Я не держу вас.

Приложившись к кресту в руках священника, малочисленные прихожане Вознесенской церкви тихо и незаметно покидали храм. У Богородицы в левом приделе молился солдат в расстегнутой шинели, с широким шрамом на обритой голове. Унеся крест и закрыв алтарные врата, священник подошел к солдату.

– Исповедуйте, отец Сергей, – сказал тот.

Священник неторопливо оглядел храм – после недолгой службы стало пусто и безмолвно. В людях поселился страх, боялись лишнюю минуту оставаться в церкви. Многие вовсе перестали посещать богослужения и заходили украдкой – поставить свечку, коротко помолиться у иконы, затем торопливо уйти в беснующийся, наполненный злобой мир, чтобы никогда, может быть, не вернуться сюда. Отец Сергей вспомнил слова из январского послания патриарха Тихона: «Если нужно будет пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, на эти страдания вместе с собою». И свои собственные грустные мысли на этот счет: вот и на Руси наступили времена Нерона и Диоклетиана, вот и наш черед настал, пришел день посещения Божьего, грозный, светлый день. Но много ли найдется русских исповедников, готовых идти до конца, до смерти, достанет ли их крови, чтобы смыть с народа клеймо вероотступничества и предательства клятвы 1613 года? Этот вопрос до сих пор мучил отца Сергея, несмотря на доходившие вести о страшных смертях иерархов, рядовых священников, монахов и монахинь. Слишком благодушествовала Россия последние десятилетия, слишком дебелой сделалась, чтобы под силу ей теперь было высоко поднять меч веры и не выронить его. Но разве Бог не милостив и посылает испытания сверх меры? Отец Сергей не мог допустить такой невероятной и мрачной мысли. Значит, всем зверствам и безумствам большевиков Россия в силах противопоставить превосходящий их подвиг любви и терпеливого, мученического несения креста. Значит, нужно терпеть и до конца совершать свое дело.

Оглядев храм, отец Сергей повернулся к переодетому солдатом офицеру. Пять дней назад тот точно также подошел на исповедь, а после назвал, попросил помощи и участия в тайном плане. «Вам разрешено приходить в дом напротив и служить обедню для императорской семьи, – сказал он. – Я отдаю себе отчет в том, насколько обременительна для вас эта просьба, но у нас нет другого способа». Отец Сергей согласился и принял записку, которую следовало незаметно передать государю. Теперь офицер ждал ответа.

– Не могу вас ничем порадовать, – негромко произнес священник. – Записку вашу я передал по назначению. Это стоило мне огромного усилия, охрана ни на минуту не ослабляет надзор за пленниками.

– Они русские? – спросил Шергин.

– Увы. Русские рабочие. Подумать только, до какого скотства может дойти русский человек, – священник горестно вздохнул. – Они постоянно пьяны, разнузданны, на каждом шагу намеренно наносят пленникам оскорбления. Дом превращен в помойку, в какой-то красный кабак. Только представьте себе, каково жить в подобных условиях.

– Да-да, – нетерпеливо произнес Шергин, – эти мерзавцы не понимают, что творят. Но что государь? Он не смог передать вам ответ?

– Он, безусловно, ознакомился с вашим письмом. Но вчера во время причастия он дал мне понять, что ответа не будет.

– Каким образом вы это поняли? – немного разочарованно спросил Шергин.

– Он очень выразительно покачал головой. Я трактую это так, что государь не желает бежать. Он намерен разделить судьбу своего народа и России. Ведь и раньше, вспомните, еще будучи под стражей в Царском Селе, император заявлял, что не покинет страну.

– Но сейчас не семнадцатый год, и у власти не кукольное Временное правительство, а кровавые душегубы, – в сердцах произнес Шергин. – Да и ситуация благоприятствует. Чехи подняли мятеж против советов, Сибирь уже начала освобождаться от большевиков. Знает ли об этом Николай?

– Газет им не дают, а слухам проникнуть в дом неоткуда. Я уверен, охранники ни о чем пленникам не сообщают.

– Значит, это должны сделать мы. Вечером я принесу новую записку. Вы не откажетесь передать ее?

– Я всего лишь исполню свой долг перед Богом и Его помазанником, – тихо ответил священник.

Сойдя с церковной паперти, Шергин постоял немного, глядя через площадь на двухэтажный дом, совсем недавно обнесенный наспех двумя рядами забора. Особняк инженера Ипатьева был приспособлен большевиками под тюрьму, где содержалась безвыходно царская семья. Для чего понадобилось увозить из Тобольска государя с женой и лишь через месяц доставить сюда наследника с княжнами, оставалось загадкой, хотя и не такой уж неразрешимой. Шергин подозревал, что Николая намеревались использовать в политических целях, хотели добиться от него согласия на что-то. И вряд ли это были большевистские интриги. Скорее всего, тут следовало предполагать германские планы «реставрации», каким-то образом сорванные.

От отца Сергия стало известно, что бывший самодержец и его жена занимают угловую комнату дома. Однако разглядеть что-либо в постоянно закрытых окнах, выходящих на площадь и в переулок, было невозможно – не из-за двойного забора, а из-за того, что стекла густо выбелили известью. «Скоты», – выругался Шергин на счет большевиков и направился вниз по Вознесенской улице к центру города. В конце ее находился пруд, где плавали утки со своим потомством и ловили рыбу особенно удачливые по этой части мещане. Шергин обогнул пруд, прошел еще квартал и позвонил в дверь скромного двухэтажного дома, принадлежавшего коммерсанту Потапову. Полтора месяца назад его приютила здесь дочь Потапова, Лизавета Дмитриевна, соломенная вдова без детей и с большим запасом нерастрченных чувств.

Дверь открыла хозяйка. Слуги разбежались еще зимой, польстившись революционной свободой и прихватив с собой кое-что из коммерсантского имущества. Елизавета Дмитриевна после этого слышать не желала о развращенной Советами прислуге в доме и хозяйствовала сама – очень боялась быть зарезанной ночью в постели. И за больным, не встающим с постели родителем, тоже ухаживала самолично, стойко перенося старческие капризы.

– Петр! Наконец-то.

Шергина обдало волной густого цветочного аромата. Лизавета Дмитриевна схватила его за руку, но сейчас же отпустила. Вдова была импульсивна и порывиста, однако время от времени вспоминала о приличиях.

– К тебе пришли, – сказала она взволнованно. – Я бы не впустила его в дом, но этот человек назвался твоим товарищем. Тебя так долго не было, я вся изнервничалась. Такое

ужасное время, я все время чего-то боюсь...

– Где он? – спросил Шергин, снимая солдатскую шинель.

– В твоей комнате. Я на всякий случай заперла его ключом, а украсть там едва ли что можно.

– Вы неподражаемы, Лизавета Дмитриевна, – усмехнулся Шергин. – А если он выпрыгнул в окно с моими вещами? К тому же там деньги.

– Господи. – Глаза Лизаветы Дмитриевны стали круглыми и перепуганными. – Об этом я не подумала.

Они поднялись по лестнице, вдова отперла дверь и заглянула в комнату.

– Слава Богу! – выдохнула она, пропуская Шергина.

На его кровати развалился штаб-ротмистр Чесноков и томно перебирал струны гитары, напевая под нос. При виде Шергина он отложил инструмент и, когда дверь закрылась, отрезав Лизавету Дмитриевну, развязно подмигнул:

– Ну и как оно? – Он изобразил непристойное движение. – Хороша вдова на вкус?

– Вы пришли говорить об этом, ротмистр? – не слишком дружелюбно осведомился Шергин.

– Не будьте столь мрачны, господин капитан, – ухмыльнулся Чесноков. – Все мы люди-человеки. Просто завидую я вам, Петр Николаич. Самому как-то не удается устраиваться с таким купеческим комфортом да под теплым женским боком. А ведь я бы не сказал, что вы принадлежите к тому типу, который нравится женщинам. Совсем не принадлежите. Вам еще никто не говорил, что с этим шрамом вы похожи на Франкенштейна?

Он вынул из кармана студенческой тужурки портсигар и закурил.

– Александр Иваныч, – сказал Шергин, садясь на стул у окна, – переходите к делу.

– Большевицкие газеты сегодня подтвердили, – с удовольствием сообщил Чесноков, – что Совдепы вынуждены были драпать из Новониколаевска, Челябинска и Омска. Особенно расписывают «злодеяния» некоего атамана Анненкова с его казачьим отрядом. Вы не знаете, кто таков этот бравый Анненков?

– Что-то слышал, не то в шестнадцатом, не то в семнадцатом году. Кажется, он командовал партизанским полком в составе Сибирской казачьей дивизии. И отзывы о нем как будто были самые противоречивые. Вы чай будете?

– Всенепременно. Да и от рюмочки не откажусь в честь таких-то известий.

Шергин вышел на лестницу и кликнул Лизавету Дмитриевну. Та, догадавшись сама, уже несла поднос с чайниками, чашками и связкой кренделей.

Громко, со вкусом прихлебывая душистый, с травами чай, штаб-ротмистр продолжал:

– Но это не все. Из достоверных источников известно: Комитет Учредительного собрания в Самаре, коротко КОМУЧ, объявил о создании своего правительства и Народной повстанческой армии. В Самаре успешно произошел офицерский мятеж, и руководил им подполковник Каппель. Его отряд и несколько других составили костяк армии. Я предлагаю поднять тост за успех рожденного Белого движения.

Шергин откупорил початую бутылку вина, разлил по бокалам.

– Что ж, – чувствуя некоторое возбуждение, произнес он, – о Каппеле я слышал как о честном и храбром человеке. Будем надеяться, что господа кадеты и эсеры из этого Комитета не обоср...ся от собственной смелости и не будут мешать честным русским людям выполнять свой долг перед отечеством. За Россию, ротмистр.

– За победу русского духа, – добавил Чесноков.

– Кстати, что это за достоверные источники? – выпив до дна, поинтересовался Шергин. Штаб-ротмистр рассмеялся.

– Я подслушал на базаре разговор двух остолопов из советской милиции. Они так простодушно сердились на контрреволюционные мятежи, что не заслушаться их беседой было невозможно. А что у вас, Петр Николаич? Встречались с попом?

Шергин в двух словах обрисовал ситуацию.

– Необходимо как можно скорее убедить государя, – подытожил он, – что его дальнейшее пребывание в большевистском застенке угрожает ему и наследнику смертельной опасностью. Скоро вспыхнет вся Сибирь, а за ней остальная Россия. Красные изуверы в этих условиях вполне способны решиться на крайние меры.

– Это значит, что у нас мало времени, – сказал Чесноков. – Нужно искать и другие пути сообщения с пленниками.

– Я уже думал о подкупе охраны. Отец Сергей снабдил меня кое-какими сведениями. Еду арестантам приносят из комиссарской кухмистерской, ею заведует какой-то еврей. Так вот, один из помощников коменданта дома самолично навещается туда и наблюдает за доставкой. Можно попытаться перехватить его по пути, завести разговор.

– С наскака может не получиться, – засомневался Чесноков. – А действовать нужно наверняка.

– Побольше развязности, наглости и похабных шуток – получится. На красную сволочь это действует как пароль. Вам, ротмистр, это вполне удастся, я полагаю, простите за прямоту.

– Да чего уж там, – хмыкнул Чесноков. – По молодости два раза на дуэль вызывали за эти самые шутки. Едва жив остался.

– Неужто всего два раза?

– На третий получил кулаком по физиономии, – сознался ротмистр. – На четвертый... Хотя не буду вас утомлять. Это долгий перечень.

– Охотно верю.

– Между прочим, Петр Николаич, вы не в курсе, чем большевики кормят царских особ? Сдается мне, в их жидовской кухне омерзительная еда. Да к тому же евреи жадные. Как вы думаете?

– Ни капли не сомневаюсь, что кормят их помоями, – сказал Шергин. – Для русского царя у жида не выпросишь и куска хлеба. Особенно бывшего царя.

– У меня сейчас родилась замечательная мысль. Что если им станут приносить в качестве милосердной помощи продукты из здешнего женского монастыря, Ново-Тихвинского, кажется? А через сестер можно будет наладить и сообщение. Как вам идея? Я даже знаю, через кого это устроить, чтобы нам самим не засвечивать свои физиономии.

– Через кого же?

– Здесь в городе поселился бывший личный врач наследника Алексея. Доктор Деревенько. К нему для знакомства отправим Никитенко, они хохлы, общий язык найдут.

– Прекрасно, – одобрил Шергин. – Однако все упирается в то, насколько сговорчивой окажется охрана и ее начальство.

– Попытка не пытка, – бодро произнес Чесноков. – Кстати, по поводу пытки. Один вопрос не дает мне покоя – введут ли комиссары институт пыток? Все-таки неприятная мысль, согласитесь. Так и представляется мрачная картина в огненных отсветах: висящее на дыбе полумертвое тело и палач, ласково перебирающий в углу свои изуверские

инструменты.

– По крайней мере свою красную инквизицию он уже ввели. Да и пытками вряд ли брезгуют. Поговаривают, главарь уральского совдепа, еврей Голощекин, имеет садические наклонности. Но я вам не советую подобными картинками заранее страшаться. Еще посмотрите такого вживую.

– Благодарствую, Петр Николаич, утешили.

Шергин дернул уголком губ, усмехаясь.

– Сегодня вечером надо собраться, обсудить план действий. Предупредите Любомилова. А Никитенко и Скурлатовскому я сам сообщу.

Проводив штаб-ротмистра до порога дома, Шергин зашел в гостиную. Лизавета Дмитриевна расположилась в кресле с рукодельем, но тотчас отложила шитье, вопросительно посмотрев на постояльца. Он склонился над спинкой кресла и обнял вдову, поцеловал в розовое ушко с поддельным бриллиантом.

– Лиза...

– Петр, – со страстью выдохнула она.

– Ко мне вечером наведаются друзья, – проговорил он, спускаясь губами ниже, к полной шее Лизаветы Дмитриевны, – мы посидим немного у меня в комнате, поговорим. Их будет четверо. Они, разумеется, живоглоты, но, думаю, обойдутся чаем с вареньем. Ты же не будешь возражать?

– Ах, боже мой, – почти простонала она. – Пятеро мужчин в доме. Ведь это будет шум, топот, громкие разговоры. Папа□ обеспокоится. Что я скажу ему?

– Ничего, мы будем тихо. Я велю им не топтать.

Он расстегнул пуговку на лифе ее платья.

– Петр... ты чудовище... Франкенштейн...

Дело сладилось через неделю, и все совершилось на удивление гладко. Доктор Деревенько, принявший живое участие в переговорах, коротко свел сестер Ново-Тихвинского монастыря и коменданта «дома особого назначения» Авдеева. Монахини, переодетые в мирское платье, приходили каждый день к воротам тюрьмы и отдавали караульным молоко, яйца, овощи для пленников. Отец Сергей оповещал Шергина о том, что поведение охраны заметно переменилось. Тюремщики помалу перестали издеваться над арестантами, больше не орали глумливо революционные песни и вообще вели себя мягче.

– По-видимому, они изумлены кротостью и незлобием пленников, – говорил священник, – их поистине христианским перенесением тягот и оскорблений. Все же, нацепив красные звезды, они остаются людьми, которых вразумляет любовь и пример ближних.

– Я бы, батюшка, – заметил Шергин, – не стал особенно надеяться на человечность тех, кем управляет стадный инстинкт. Помяните мое слово, достаточно одному из них застыдиться этой мягкости либо попасть под раздел вышестоящего начальства, как все они удвоят прежнюю наглость по отношению к пленникам.

– Не все, – покачал головой священник, – не все, даст Бог.

Оба оказались правы, и подтверждение этому обнаружилось меньше месяца спустя. Пока же, используя «вразумленность» охраны, заговорщики склонили второго помощника коменданта Петрова к роли посредника. Монахини два раза передавали ему записки для Николая, содержание которых становилось все настойчивее. Заговорщики умоляли государя не рисковать собой и наследником, дать согласие на подготовку побега, подробности

которого пока держались в тайне. Однако оба раза получали в ответ устный отказ.

– Он с ума сошел, – процедил Шергин, когда Скурлатовский принес последнее царское «нет».

– Знаешь, Петр, – угрюмо сказал Скурлатовский, – я начинаю думать, что наша затея была бессмысленна с самой первой минуты. Мы вообразили себя спасителями царя и отечества, а на самом деле кто мы? Жалкие просители у ворот высокого терема, в котором царственно томится драгоценная Жар-птица... Ну вот, стихами заговорил, – еще больше опечалился он. – Освободиться она может, только расправив крылья и вылетев в окно. Но оно заделано решеткой, а жалкие просители у ворот хотят уволочь ее, вульгарно запихнув в мешок и обломав крылья.

– Перестаньте распускать нюни, господин штабс-капитан, – бросил Шергин. – Вашей Жар-птице уже давно обломали крылья, а скоро свернут и шею, пока она будет мечтать о полете.

– Ба! – поразился Скурлатовский. – И это я слышу из уст верного монархиста, до печенок преданного идее сакральности престола. Что с вами, Шергин? Не зная вас, я мог бы подумать сейчас, будто вы презираете свергнутого государя, как какой-нибудь паршивый эсер или, не дай бог, краснопузый пролетарий.

– Государю я вполне предан, – раздраженно сказал Шергин, – и клятве моих предков в шестьсот тринадцатом году верен. Для меня Николай не бывший, а до сих пор настоящий. Помазание при венчании не может быть отменено подписью на какой-то бумажке. Вам ли этого не знать, Скурлатовский. Он не имел права отречься от престола, он еще мог спасти страну от гибели. Но он даже не попытался этого сделать, вместо этого подрубил корни монархии! А теперь он изо всех сил показывает, что отрекся всего лишь от престола, но не от России? Тогда как Россия – это и есть престол и то, что вокруг престола! Другой России нет, вам ясно это, Скурлатовский?

– Да что ж вы так кричите, голубчик? – с озабоченной гримасой спросил штабс-капитан. – Мне уже давно все ясно. Надо ставить жирную точку в нашем молодецком умысле и разойтись в стороны. Лично я наметил для себя каппелевский белогвардейский отряд на Волге. Буду бить голозадую шантрапу и молить Господа, чтобы был милостив к нашей несчастной России... Между прочим, чехословацкие части рвутся к Екатеринбургу. Через несколько недель они, возможно, будут здесь, и стены царской тюрьмы рухнут сами собой.

Шергин резко мотнул головой.

– Боюсь, Михаил Андреич, к тому времени она опустеет, причем самым радикальным образом. Сделаем хотя бы последнюю попытку. Если и на этот раз Николай не решится, тогда и в самом деле лучше на Волгу, к Каппелю. Или в Сибирь, там тоже неплохо комиссаров зачищают.

Монахиня сестра Ирина, потупив глаза, сидела у стола в монастырской гостиничной комнате для паломников, которых уже давно не было, и тихим голосом рассказывала:

– Пришли мы с сестрами к воротам, постучались, а как открыли нам, сразу мы поняли – неладное что-то. Караульные прямо не глядят, смущаются будто и продукты так-то неохотно берут, с грубостью даже. Раньше-то они нам не грубили, вежливо обходились. А тут их начальник пришел, новый совсем, незнакомый. Расспросил их, потом нас и давай ругаться. И караульным солдатикам досталось, и нам, грешным. О правилах ареста все толковал, что мы его нарушаем и преступление делаем. Наказанием грозился от советской власти. А нам-

то и наказание было б в радость, только б невинные не страдали. Так ему и сказали прямо. Ну, он еще поругал нас малость и разрешил носить молоко, ничего больше.

Другая монахиня, сестра Неонила, стояла у двери и кивала, подтверждая рассказ.

– А Петрова вы видели? – спросил Шергин, нервно прохаживаясь из угла в угол.

– Не было его, – быстро сказала сестра Неонила. – По двору какие-то незнакомые шатались, не по-русски горланили.

– Черт! – вырвалось у Шергина. Заметив, как сестра Ирина еще ниже опустила голову и торопливо перекрестилась, он пробормотал извинения.

– Вы в святой обители, уж будьте добры, себя держите, – укорила его сестра Неонила, – беса-то не призывайте, а то, неровен час, явится.

Не успела она договорить, по коридору за дверью пробежал шум, послышались скорые шаги и неясный говор. Сестра Неонила также спешно осенилась крестом и робко выглянула в коридор. Затем она вовсе скрылась за дверью, а через минуту маленькая комнатка заполнилась до предела. Кроме сестры Неонилы, появились еще две монахини, между ними втиснулся рослый и широкоплечий детина. Это был красногвардеец Петров, второй помощник коменданта Ипатьевского дома. С ходу бухнувшись на стул, он вытер рукавом пот со лба и сказал:

– Что хотите со мной делайте, товарищи женщины, только я отсюда не уйду, пока не будет мне спасения.

Увещевавшие его монахини оторопело умолкли. Сестра Неонила раскрыла от изумления рот, а сестра Ирина наконец подняла глаза – в них стояли слезы.

– Для спасения ты, братец, неудачно место выбрал, – усмехнулся Шергин. – Это тебе в мужской монастырь надобно.

– Нет уж, вы меня в это дело втравили, теперь и вытаскивайте, как хотите, – отрубил красногвардеец Петров. – Вот вам ваши бумаги, царь передал, а мне теперь за это башку снесут, если поймают.

Он достал из-за пазухи бумаги и положил на стол. Шергин узнал свою последнюю записку, адресованную Николаю, она была приложена к согнутым пополам листам, исписанным крупным прямым почерком. На обратной стороне записки Шергин обнаружил ответное послание: «Я прошу Вас, не тратьте понапрасну время и усилия. Прочтите это письмо, полученное мною пятнадцать лет назад, и Вы поймете, почему я говорю Вам нет. Благодарю Вас, русских офицеров, за Вашу преданность мне, верность Богу и Отечеству. Как воины и христиане Вы должны понять. Не мстите за меня, я всех простил и за всех молюсь, чтобы не мстили ни за меня, ни за себя. Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти Россию. Зло будет усиливаться – терпите. Да свершится воля Божия над нами: Россия спасена. Николай».

«Это писал безумец, – подумал Шергин, пряча записку и листки с неизвестным письмом в карман солдатских галифе. – Он твердо решил принести себя в жертву большевистскому Молоху».

– Авдеева с Мошкиным, ну, помощником его, арестовали утром, – рассказывал тем временем Петров, оглядываясь по очереди на монахинь и Шергина. – Объявили, будто за покражу и пьянку, а только по правде не за это, уж я-то знаю. Пока арестантам житья не давали, начальство ничего, через пальцы на водку глядело. И что вещи у них таскали, тоже ничего. А как у нас маленько сердце защемило на них глядеть, ослабу дали, так комиссару из чрезвычайки, Юровскому, это сильно не по нраву стало. Ну и вот. Этих в тюрьму уволокли,

караульных заменили, латышей теперь поставили, не то немцев.

– А ты? – спросил Шергин.

– А я сбег. Не стану же я дожидаться, пока мне голову открутят. Мне-то точно бы из чрезвычайки обратного ходу не было, если я с вами завязался.

– Так откуда бы они это узнали? – наклонился к нему Шергин.

– Они все узнают, что им надо. Вот посмотрели бы мне в глаза, я бы им сам все и выложил. – Он набрался духу и выпалил: – Пытают там сильно. На то она чрезвычайка.

Монахини у дверей зашушукались, сестра Неонила ахнула, а у сестры Ирины по щекам текли мокрые дорожки.

– Так что мне теперь одна дорога – к вашим уходить, – сказал Петров. – А они, слышно, совсем сюда подбираются. Недолго уже осталось.

– Что ж ты, братец, своих предаешь? – насмешливо спросил Шергин. – Может, покаяться тебе перед ними? Авось помилуют.

– Какие они мне свои, – обиделся красногвардеец Петров. – Насмотрелся уже ихней власти. Жид русскому не товарищ. В здешнем совете хоть и наши горнозаводские сидят, да вертит ими Шая Голощекин, а Шае Янкель из Москвы указания шлет. А мне моя рабочая гордость не позволяет больше, – твердо заявил он.

– Что теперь с ними будет? – глотая слезы, прошептала сестра Ирина.

– С кем? – спросил Петров.

– С царственными страдальцами, – еле слышно выдохнула она.

Петров задумался, почесывая под гимнастеркой.

– Не знаю. А жалко их. Мальчонку особо – будто христосик лежал, хворый. И девок... – он сконфузился, – барышень, я говорю. Краси-ивые, прямо ангелы какие. Мы над ними смеялись спервоначалу и над Николашей с его немкой. Да злость разбирала, всякое им непотребство чинили. А они – ну хоть бы слово поперек. Мы им «марсельезу» – к революции, значит, приучаем, а они нам «Царя небесного» или еще там чего духовное. Один раз за обедом случай был. Стою я сзади барышни, навалившись над ей, и тяну со стола кусок. А она мне говорит, ласково так: если ты, мол, голодный, так садись с нами и ешь. Еще на «вы» сказала. Я аж поперхнулся. У них на столе всего-то ничего – хлеб сухой да котлетки из гнильцы, а еще приглашают, да вежливо так. Я после того будто сам не свой стал. Все ходил, в пол смотрел. А еще вот чего было. Мошкин наш царю прямо сказал: надоели вы нам, Романовы, на шее народной сколько сидели и теперь все сидите, не слазите, хоть и бывшие уже. А царь ему отвечает, тоже так ласково будто: потерпите, мол, скоро уже не будем на вашей народной шее сидеть. Так и сказал – потерпите, мол.

Сестра Неонила всхлипнула. Вслед за сестрой Ириной и остальные залились слезами. Шергину тоже сделалось не по себе. Он почувствовал себя бессильным свидетелем чего-то катастрофически несчастного, чего не мог ни объять умом, ни принять сердцем. Поздно было отказываться от этого свидетельствования, потому что ему уже вручены подтверждающие бумаги, которые он должен сохранить и передать по назначению. Но он чувствовал и то, что ему не нужна эта жертва, он не хотел смирения перед красным хаосом и большевистским игом, меньше чем за год обогнавшим триста лет татаро-монгольского.

В обеих революциях семнадцатого года ему виделась не более как цепь горьких случайностей, помноженных на злой умысел и помраченное состояние умов. Теперь ему пришло на ум, что, возможно, он ошибается и в том, что происходит с Россией, следует искать не столько политическое содержание, сколько мистическую сущность. Разумеется,

смешно предполагать, что эта сущность понятна большевикам или науськавшим их подданным Вильгельма. Для первых мистицизм невнятен и не способен конкурировать с простым булыжником – оружием пролетариата. Соплеменникам же Фауста, напротив, мистицизм противопоказан из-за склонности сводить его к чернокнижию.

Тот, кто найдет истинный смысл совершающегося, тот увидит спасение России. Но Шергину очень не хотелось думать, что государю Николаю Александровичу совершенно ясна мистика происходящего. Полагать так значило, как и он, сделаться фаталистом, добровольно отдающим себя в жертву коммунистическим идолам, которые и без того уже обожрались кровью. Дикая картина представилась Шергину: Николай с кровавым венцом на голове, распятый на кресте. «Не вообразил ли он себя Христом, идущим на заклание?» – изумленно подумал он.

– Ни за что б вы меня не сговорили на это дело, кабы не было так жалко глядеть на них, – решительно заявил красногвардеец Петров.

– Вспомнила бабушка, как девушкой была, – невесело проговорил Шергин. – Жалко было, а деньги все же брал?

– А как бы вы мне поверили, ежели б я за просто так согласился? – с лукавым простодушием отвечал красногвардеец.

Вечером того же дня, 4 июля 1918 года, тайные планы заговорщиков прекратили существование и были похоронены в огне печки. По неясному расположению духа Шергин скрыл от остальных бумаги, переданные Николаем. Из окна поезда, уходящего на восток, в Сибирь, он, прощаясь, смотрел на дом екатеринбургского инженера, обнесенный двойной линией забора, с белыми слепыми окнами, за которыми творилась какая-то безумная трагедия, готовилось чудовищное человеческое жертвоприношение. Поезд увозил его в неизвестность, носящую имя гражданской войны. Вместе с ним из Екатеринбурга в недавно созданную Сибирскую армию уезжал бывший красногвардеец Петров.

Найти сносную библиотеку в краю верблюдов и каменных истуканов Федор не надеялся. Усть-Чегень в смысле просвещения был жестокой глухоманью, куда не добиралась нога первопроходца, сеющего разумное и доброе. Федор объездил несколько сел в поисках доступа к всемирной паутине, пока не ударил себя по лбу, вспомнив о культурном центре «Беловодье» в Актагаше и музее Бернгарта при нем. Запасшись едой, он сел на автобус и три дня не появлялся в Усть-Чегене. Вернулся обросший щетиной, с мрачным блеском в глазах и пластырем на разбитом носу. Деду Филимону, который заинтересовался происхождением заплаты, Федор объяснил:

– За научную истину, дед, по-прежнему бьют. У вас тут просто какие-то монстры инквизиции водятся.

– Беловодцы-то? Ну так, а я тебе, что говорил. Весной у них к тому же обостряется... это самое. – Дед покрутил пальцами у головы. – А у нас тоже новости, слышь, Федька. Церковь новую ставить будут взамен сгоревшей. Попа прислали, у Кузьминишны в комнату вселился. Будет, значит, опиум распространять среди народа. Во как.

– Попа, говоришь? – умываясь, переспросил Федор. Мысль о церкви и присланном священнике плавно перетекла в другую: – Дед, ты Аглаю не видел?

– Да встречалась. Запала девка в душу? – усмехнулся дед. – О вечном думать боле не тянет?

– Да как тебе сказать. Вот если бы она попалась на перо Петрарки или Пушкина, они бы сделали из нее небесное создание, живущее где-то там, под облаками, и простым смертным недоступное...

– Ну а ты, Федька, кого из нее сделал? – спросил дед.

– Кого я мог из нее сделать? – погрустнел Федор. – Она мечтает о куче детей и ненавидит иные возможности. Я не мог не объяснить ей, насколько это неподходяще для нее. Но она не захотела слушать и прогнала меня.

– Ну, это ты брось, слышь, Федька, – сказал дед. – Неподходяще ему! По-нашему – семеро на лавке и еще трое у мамки. Вот так вот. У меня пять девок народилось, всех замуж отдал, ни одной при себе на старость не оставил. Аглайка добрая девка. Не то что нынешние немочные курицы – одним еле опростаются и квохчут над ним.

– К тому же у нее идиосинкразия на город, – молвил Федор, ни к кому не обращаясь, зевнул и улегся на кровати. – И больше я не хочу о ней слышать. Ее самолюбие не желает играть с моим в одну игру. Дикарка, одним словом. Ее не приручить.

– А чего спрашивал-то? – крикнул из другой комнаты дед.

– Так, случайный ход мысли, – ответил Федор, задремывая.

Разбудила его хлопнувшая дверь. В доме было тихо, жужжала весенняя муха, и тикали ходики на стене. Федор нашел в холодильнике дешевую колбасу, сделал бутерброды, налил в стакан молока.

– Слышала, бабуль, – позвал он бабушку Евдокинишну, бессловесно созерцавшую герань на окне, – церковь у вас тут возрождать будут. Старая сгорела, одни головешки остались. Ты, может, еще помнишь, как с нее советская власть купол сшибала. Ты ведь и Гражданскую должна бы помнить. Тебе тогда лет двенадцать было. А, бабуль? Эх, ничего ты не помнишь, – вздохнул он.

Он доел бутерброды и взялся за книжку, купленную в Актагаше. В ней рассказывалось о том, что Беловодье скоро откроется людям, так как теперь для этого нет никаких препятствий и, наоборот, есть все условия. О препятствиях, которые были раньше и не давали стране счастья распахнуть для всех свои ворота, в книжке говорилось с душевным надрывом, уже знакомым Федору. Можно сказать, слишком близко знакомым – от этого сильного чувства пострадал его нос. Федор потрогал нашлепку, поморщился и пролистнул примитивные рассуждения о препятствиях в духе «царских сатрапов» и «злых большевиков».

Через несколько страниц он наткнулся на описание прошлогодней экспедиции, снова и с тем же надрывом искавшей в горах Беловодье. Желанной цели она не достигла, но, сообщалось в книжке, подобралась очень близко – отыскала на Курайском хребте тайную кержацкую пещеру. Восторг участников экспедиции был, естественно, неописуем, когда они обнаружили в пещере живых старообрядцев, до сих пор прячущихся от советской власти. Рассказам о том, что советская власть давно почила, кержаки не поверили и скрылись в глубине пещеры вместе со своими молельными черными квадратами. Зарисовка квадрата имела в книжке. Федор после некоторого раздумья пришел к выводу, что это закопченная до совершенной черноты старообрядческая древняя икона с нацарапанными поверх утраченного изображения значками. Ошалевшие от счастья участники экспедиции приняли эти значки за тайное знание, которым обладают пещерные жители. Безусловно, оно должно содержать ключ к разгадке Беловодья, решили они. Только делиться своим знанием кержаки не захотели, а пускаться за ними в погоню по неизведанным пещерным тропам искатели не рискнули.

Федора отвлек тихий шорох. Он оглянулся и замер от неожиданности. Бабушка Евдокинишна, очнувшись от своего сна наяву, задвигалась на стуле, беспокойно вертела по сторонам головой и роняла слезы. Несколько минут Федор наблюдал за ее оживанием, боясь шелохнуться. А затем услышал про белого генерала, похороненного у сгоревшей церкви без малого девяносто лет назад.

Дед Филимон, с порога увидев бабушку Евдокинишну на ногах, выронил сумку с контрабандной дребеденью и от всего сердца возгласил:

– Мать! Ну ты даешь!

Несколько дней Федор гулял с прабабкой вокруг дома, приготавливая ее к дальнейшему путешествию до сгоревшей церкви. Волнение его достигало мало не штормовых баллов, но он терпел – торопить столетнюю бабушку было рискованно для ее здоровья и едва прояснившегося рассудка. Каждый день он обязательно спрашивал ее, сможет ли она точно вспомнить и указать место захоронения. И всякий раз получал в ответ:

– Я хоть старая, да из ума не выжила.

– А имя его, бабуль, знаешь? – выпытывал Федор.

– Откуда мне знать? – скрипела бабушка Евдокинишна. – Поп, дядька мой, может, и знал. А я за ребятами его ходила, пока попадья хворала. Да недолго они в селе простояли, день да ночь. Наутро-то генерала и подстрелили. Тут началось: тут стреляют, там палят. Страсть!

– Значит, был бой. С партизанами или красноармейцами? – спросил Федор.

Бабушка Евдокинишна с минуту думала, потом продребезжала:

– В горах какие-то сидели да по степи шныряли. Должно, партизаны.

– Партизаны Бернгарта? Бабуль, ты вспомни, – взволнованно упрашивал Федор, – это очень важно.

Но бабушка заупрявилась, затрясла головой:

– Чего не помню, того и вспоминать не хочу.

– Ну хорошо, а дальше, что было?

– Так поубивали всех. Много мертвых было, три дня закапывали, а где не помню теперь.

– А про генерала помнишь? Почему его отдельно от других захоронили?

– Они же его убили, свои своего, – прошамкала бабушка. – Для чего им вместе лежать?

– Как свои? – поразился Федор.

– Поп, дядька мой, покуда стреляли, за церкву его оттащил да прикрыл чем ни то.

Отдельно, говорит, схороним. Он, говорит, подвиг задумал, а они его за это из ружья.

– Феноменально, – пробормотал Федор, поцеловал бабушку Евдокинишну в морщинистый лоб и сказал: – Ты просто клад, бабулечка. Если бы ты еще знала имя...

– Тут у него, – она провела пальцем от виска до затылка, – зарубка была, страх глядеть.

– Ну, для истории это не представляет важности, – с сомнением произнес Федор. – В каком хотя бы году это было?

– Сразу за Пасхой, – уверенно сказала бабушка.

После прогулок с бабкой он шел к церкви и убеждался, что разбор обгорелых останков еще не начат. Это было существенно: Федор опасался, как бы строительные работы не обманули слабую память прабабки и не воспрепятствовали тем самым раскрытию тайны. Наконец бабушка Евдокинишна сама попросилась в путь-дорогу, чтобы поглядеть на руины своего детства и молодости. Федор крепко держал ее под руку и вычислял кратчайший путь через заброшенные огороды. Бабушка вращала головой, озирая поселок, и пугалась при виде пустых заколоченных домов. Через час они дошли. Узрев пепелище, бабка разохалась, пустила слезу и жалостно пролепетала:

– Хоть бы разок еще услышать, как поют.

– Услышишь, бабуль, – пообещал Федор и повел ее вокруг остова церкви, мрачно чернеющего посреди веселой зелени и торчащих всюду степных цветов.

Бабушка снова закрутила головой, бурча под нос, и на половине круга ткнула клюкой в землю – в трех метрах от южной стены храма.

– Здесь.

– А не там, бабуль? – Федор показал в другую сторону.

– Что-то я тебя не упомяну тут, когда его закапывали, – рассердилась бабушка Евдокинишна. – Здесь он, сердешный. Уж те искали, искали, а не нашли. Могилу поп неприметную сделал, и мне молчать наказал. Теперь-то уж чего молчать. Памятник бы какой поставили али хоть крест. А что без имени, так Бог всех знает. Дядька мой, поп, тоже без знака в земле лежит, тайком они его зарыли.

Федор водрузил на указанное место приметный камень.

– Пока вместо памятника будет.

Обратный путь до дома длился дольше, бабушка Евдокинишна охала, еле волочила ноги и висла на Федоре. Но все же была довольна.

– А новому попу скажи: церкву на костях да на крови будет ставить, – велела она. – Пущай знает.

Федор заверил бабку, что все исполнит. Но пока что он не собирался ни с кем делиться тайной. Могила белого генерала хранила загадку, которую непременно нужно было раскрыть, и он хотел заняться этим один, без постороннего вмешательства. Конечно, с раскопками Трои это не сравнить, и даже степной могильный курган, не до конца

общищенный, был бы привлекательнее. Но «царские медали» тоже чего-то стоили. По ним, возможно, удастся в архивах установить имя, а имя – это новая страница в истории Гражданской. В актагашском интернет-кафе Федор за два дня пересмотрел тысячи страниц по теме Белого движения на Алтае, но не мог теперь вспомнить ни одной заметной фигуры, подходящей на роль безымянного усть-чегенского покойника. Даже если допустить, что бабушка Евдокинишна по неведению повысила офицера в звании, он все равно должен был оставить хоть какой-то след. Разгром белого отряда под Усть-Чегенем не настолько мелкое событие, чтобы не заслуживать упоминания, между тем ничего такого Федору не попадалось. И чем дальше он думал, тем неотвязнее становилась мысль, что в этом загадочном деле не обошлось без мистических походов странной личности по имени Бернгарт.

Едва дождавшись ночи и дедовского храпа, Федор прихватил фонарь, вытащил из сарая лопату и отправился на раскопки. Сомнительность предприятия несколько смущала его, он представлял себя черным копателем, расхитителем гробниц, тревожащим покой мертвецов. Но все это меркло перед ощущением необходимости заполнить белое пятно истории и инстинктивным влечением к тайне.

Даже сквозь дедову телогрейку пробирал ночной мороз. Крупные звезды в черном небе казались ледышками. Федор высветил во мраке камень-указатель, окопал вокруг него квадрат и вдохновенно принялся за работу. Верхний слой он снял легко, но глубже земля еще не прогрелась и была мерзлой. Он долбил ее лопатой как ломом, так что скоро пришлось сбросить телогрейку. К полуночи добрался до глубины в полметра и сделал перерыв. Если покойника хоронили вскоре после Пасхи, размышлял Федор, земля была такой же мерзлой и вряд ли он лежит глубоко. Эта мысль прибавила ему сил, и еще через час он нащупал в яме полуистлевшую ткань. Отбросил лопату и стал руками разгребать холодную землю. Мертвец был завернут в саван и лежал на двух досках. Федор освободил его полностью, вылез из ямы и, подхватив тело с одного конца, поволок наверх. Обнимать девяностолетний труп было не столь приятным ощущением, Федор лишь надеялся, что гниющей плоти с червями под саваном уже нет и остался лишь скелет. Он положил тело возле ямы, аккуратно вспорол ножом ткань сверху донизу. Перевел дух, направил луч света на голову мертвеца и оцепенел от ужаса.

Извлеченный из земли человек выглядел как живой. Почти. Придя в себя после шока, Федор внимательно рассмотрел лицо. Оно немного усохло, и кожа стала пергаментной. Правая часть черепа, над ухом, была чуть тронута тлением. «Здесь у него шрам», – вспомнил Федор. Волосы на голове были короткие, вероятно, отросли в могиле, как и щетина на лице. Руки, сложенные на груди, истончились, стали костлявыми, но тоже полностью сохранились. «Медаль» оказалась всего одна – георгиевский крест в петлице. Стоя на коленях, Федор снова посветил в лицо мертвеца и долго вглядывался в него.

«Этого не может быть», – сказал он себе. Он пытался проверить впечатление под разными углами зрения и каждый раз получал один и тот же совершенно невероятный результат. Затем он начал вспоминать, чем занимался его прадедушка по отцовской линии во время Гражданской войны. Потратил на это около четверти часа, пока не сообразил, что в семье никто ничего о прадедушке не знает. Федора била крупная дрожь, но он этого не замечал и, усевшись рядом с покойником, в глубоко изумленном состоянии духа ждал рассвета. Он не видел, как к мертвецу подбежал бывалый поселковый пес с ободранным боком, тщательно обнюхал и, ничего не высказав, лег рядом, а морду положил на брошенную

телогрейку.

Когда над горами на востоке заалело, Федор поднялся с земли и пошел в поселок. Он не знал, где находится дом старухи Кузьминичны и постучался в первый попавшийся. Здесь ему не открыли, и Федор перелез через соседний забор, прошелся по грядкам, не разбирая дороги, забарабанил кулаком в окно. Оно распахнулось, показалась голова, наставила на Федора клочковатую бороду. С полминуты они смотрели друг на друга, затем голова кротко осведомилась:

– Имеете духовную потребность?

Федор обрадовался, что попал по адресу, и, чувствуя утомление, а в голове некую расплывчатость, сразу перешел к делу:

– Там... у церкви святого откопали.

К счастью, поп оказался понятлив и не стал задавать лишних вопросов, на которые Федор не смог бы сейчас ответить. Через минуту он вышел на крыльцо, одетый в шерстяные штаны и куртку. Батюшка был молод, лет тридцати, волосы стриг коротко и ясным взглядом напоминал князя Мышкина в лучшую пору.

– Идемте, – сказал он.

Федор, пошатнувшись, двинулся к раскопанной могиле и по пути, как мог, воспроизвел рассказ бабушки Евдокинишны. Он очень старался ничего не перепутать, но все же допустил оплошность. Ему было так плохо, что хотелось улечься прямо на землю и заснуть.

– А почему вы решили раскапывать вашего прадедушку ночью? – спросил священник, разглядывая покойника.

– Я не говорил, что это мой прадедушка, – возразил Федор, прогнал разлегшегося пса и, как подкошенный, сел на телогрейку.

– Вы так сказали. – Священник посмотрел на Федора и на глаз определил: – У вас температура под сорок, надо немедленно в постель. Пробыли тут всю ночь?

Федор кивнул и развел руками:

– Бессонница.

– Понятно, – усмехнулся поп. – Пожадничали.

– Вы бы мне не дали копать, – насупился Федор.

– Вот еще глупости. Мой прадед был священником этой церкви, большевики убили его здесь же, и никто не знает, где его могила. Я бы и сам взялся с вами вместе копать.

– А может, это ваш прадедушка? – с надеждой спросил Федор.

– Нет уж, ваш.

Федор помотал головой и пробормотал:

– Это чересчур.

– Ну, не хотите, не буду настаивать, – сказал священник. – Хотя сходство разительное. Однако интересно: если ваша бабушка называет моего дедушку дядькой...

– Двоюродным.

– ...то мы с вами в некотором смысле родственники.

– Меня Федор, – сказал Федор. – А вас?

– Отец Павел. Рад столь неожиданному знакомству. Что же мне с вами прикажете делать, больной? Вы где живете?

– Там. – Федор махнул рукой. – Оставьте меня в покое. С ним что-нибудь делайте. – Он показал на покойника. – Нетленные мощи. Канонизируйте или что там у вас в таких случаях.

– К лику святых усопшего причисляют не за сохранность тела, – объяснил отец Павел,

наклонясь к покойнику и рассматривая чуть потлевший офицерский мундир, – а за следование правде Божией при жизни и свидетельствование о ней. Тело же может сохраниться по разным причинам. Здешний сухой климат и мерзлый грунт вполне могут мумифицировать останки.

– Значит, не святой? – отрешенно спросил Федор. – Слава богу. А то я уж испугался.

Он сделал слабую попытку надеть телогрейку, но вытащить ее из-под себя не получилось. Солнце уже поднялось над горами, однако холод не отступал.

– Первый раз слышу, чтобы Бога славил именно за это, – сказал отец Павел, взялся за Федора и поставил его на ноги, почти что взвалив на себя. – Но, видите ли, надо еще доказать, что этот человек не святой. Презумпция невиновности, понимаете. У Бога все святы, кроме очевидным образом отпавших.

– Ваше богословие, батюшка, мне сейчас не впрок, – плывя сознанием, произнес Федор. – Что вы там на нем разглядели?

– Орден Святого Георгия четвертой степени, бело-зеленый нарукавный шеврон колчаковской армии, погоны, тоже бело-зеленые с серебряным кантом. Если не ошибаюсь, полковник или подполковник.

– А-а, все-таки не генерал, – пробормотал Федор. – Но полковник тоже шишка, а? Только вот не было в этой благословенной глуши никаких полковников. Разве что в Барнаульском гарнизоне.

– Вы, Федор, по профессии, простите, кто? – поинтересовался священник, уводя его по дороге к поселку.

– Так, изыскатель, – без ложной скромности ответил тот.

Со стороны степи их настигал топот копыт.

– Ну вот, опять она будет топтать меня своими лошадьми, – пожаловался Федор.

Отец Павел остановился и обернулся. Из-за горелого остова церкви на дорогу вылетели пятеро разномастных коней. Впереди верхом на вожаке скакала Аглая, на ветру белым знаменем полоскались длинные растрепанные волосы.

– Эй-эй-эй! – Федору казалось, что он закричал во все горло, но на самом деле это был слабый выплеск эмоций. – Амазонкам правила дорожного движения не писаны?

Аглая остановила коней, легко, как гимнастка с бревна, прыгнула на землю и, замороженно глядя на нетленного мертвеца, подошла к отцу Павлу с его ношей.

– Что с ним? – спросила она про Федора. – И кто это? – про покойника.

Священник коротко описал суть.

– Да-с, уважаемая амазонка, – развязно, в полубреду проговорил Федор, – если б эта церковь не сгорела, вы бы никогда не познакомились с моим прадедушкой.

– Его надо срочно лечить, – добавил отец Павел. – У него горячка от ночного бдения.

– Я отвезу его к себе, – немедленно заявила Аглая, – у него дома некому им заниматься. Помогите посадить его на лошадь.

– Только не на зверюгу, – запротестовал Федор, но не был услышан.

Вдвоем они закинули его на коня, Аглая запрыгнула на другого, неоседланного, и пустила лошадей шагом. Федора она поддерживала рукой, чтобы не завалился.

– Я зайду к вам днем, – крикнула девушка священнику.

– Вот так, значит, – хмыкнул Федор, бессильно клонясь к шее животного, – то «уходите» и «никаких чувств», а то к себе домой? Женская логика. Нет уж, вы прямо скажите – безразличен я вам или где?

– Вы бредите, Федор, – ответила Аглая. – Какое это имеет значение, если вы сейчас упадете замертво?

– Значит, мертвый я буду вызывать у вас больше чувств? Боюсь, однако, это какое-то извращение.

Аглая молчала.

– А, не хотите говорить. Ну-ну.

Федор тоже умолк и остаток пути проделал в мрачно-беспомощном состоянии. Он почти не реагировал ни на что, когда Аглая стянула его с лошади и, обхватив, повела в дом, когда укладывала в постель и поила чем-то горячим и горько-пахучим. Потом она сняла с него свитер и рубашку, сильными движениями растерла спиртом грудь и спину. Федор блаженно мычал и пытался попробовать спирт внутрь. После этого он провалился в забытие, наполненное нелепыми сновидениями, в которых Аглая и оживший белогвардейский офицер бродили по темным пещерам и что-то настойчиво там искали.

Проснувшись, Федор обнаружил себя под двумя толстыми шерстяными одеялами, обложенный с двух сторон грелками. Он был весь в поту, но чувствовал себя явно лучше, и голова совершенно прояснилась. Возле зашторенного окна сидела Аглая, склонившись над большим листом бумаги, и быстро водила по нему карандашом. На столе перед ней лежала неровная стопка таких же листов.

– Мне кажется, я должен просить у вас прощения, – сказал Федор, вылезая из-под одеял.

Аглая, оторвавшись от рисунка, посмотрела на него удивленно.

– За что? Вы не причинили мне никакого зла.

– Зла? – переспросил Федор. – Но я говорю не о зле, на которое я, по-моему, не способен, если, конечно, не считать... хотя не будем считать. Просто мне кажется, Аглая, что вы на меня в обиде и тем не менее спасли от смерти. Я чрезвычайно вам благодарен.

– Не стоит преувеличивать. А вот вставать вам пока не нужно. Уже ночь, и торопиться вам некуда. Деда Филимона я предупредила, что вы останетесь у меня до завтра. Я уйду спать в теткину комнату.

Федор с готовностью упал на подушку, только сбросил с себя одно одеяло и отправил на пол грелки. Аглая принесла еще кружку пахнущего степью горького зелья и заставила его выпить.

– Да, – сказал он, морщась от питья, – для этого стоило провести ночь на морозе.

– Для чего? – спросила Аглая, снова садясь за рисование.

– Чтобы касаться ваших рук, чувствовать на себе вашу нежную заботу... ваше близкое присутствие.

– Только прошу вас, Федор, не начинайте заново выяснять мое отношение к вам, – насмешливо сказала Аглая, – не то мне придется сдать вас в больницу.

– Но вы же не запретите мне прояснить мое отношение к вам? – парировал Федор.

– Пожалуйста, – пожалала она плечами. – Только не заходите слишком далеко.

– Хорошо, я буду поблизости, – согласился он. – Знаете, когда я собирался ехать сюда, в Золотые горы, мне предсказали, что я потеряю здесь свою судьбу. И вот сейчас я думаю – может быть, вы моя судьба и это вас я теряю из-за вашей необъяснимой предвзятости по отношению ко мне?

– Кто вам это предсказал? – заинтересовалась Аглая.

– Неважно.

– Не верьте предсказателям, – посоветовала она. – Они обычно врут в корыстных целях.

А судьбу не теряют. Ее прогоняют, чтобы стать свободным. В судьбе нет свободы. И я не ваша судьба. Я не имею никакого желания делать вас своим пленником.

– Но вы это сделали. Я по уши влюблен в вас, Аглая, – сознался Федор.

– Сбегите из плена, – спокойно ответила она, черкая карандашом по бумаге, – и не путайте судьбу с любовью. Судьбой живут те, кто отвергает любовь.

Федор сел, спустив ноги в толстых шерстяных носках на пол, и посмотрел на нее в изумлении.

– Такого я еще не слышал, даже от университетских профессоров. Откуда у вас эти мысли, девушка?

– В ночном хорошо думается. Представьте: тихо вокруг, лошади пасутся, звезды в небе сияют...

– Самобытная крестьянская философия, – с тонкой иронией сказал Федор, снова укладываясь. – Понимаю.

– Судьба – это, по сути, статистика, – продолжала Аглая, не глядя на него. – Это хорошо видно в языческом понимании судьбы: карма, сумма добрых и злых дел, которую невозможно изменить при всем желании, неумолимое прижизненное воздаяние за преступления, собственные и родовые, за ошибки предков. Судьба – долги на душе, которые тянут куда не надо. Но из темницы судьбы есть выход, маленькое окошко, об которое обдерешь кожу, вылезая. В христианстве это окошко называется любовью. Любовь дает свободу. И, наоборот, желание свободы приводит к любви. Ищите выход из колеи судьбы, Федор.

– Великолепное рассуждение, – кисло сказал он. – Жаль, что я не записал. Правда, до сих пор я был уверен, что нахожусь вне колеи судьбы. Или колеса?.. – Ему стало грустно и обидно за прожитую и предстоящую жизнь. – А может, я ошибался и нет у меня никакого выбора? Может, все уже решено за меня и путь всего один – стать торгашом, торговаться, грызться с жизнью за каждый кусок. За то, чтобы опередить другого торговца, растоптать его, уничтожить, завладеть талисманами, пропускающими наверх, туда, где теплее, сытнее, почетнее, где власть над другими, не успевшими, упавшими, затоптанными. Это ведь тоже судьба?

– Ищите выход, – тихо повторила Аглая, затачивая ножом карандаш.

– Что вы рисуете? – спросил Федор. Излив печаль, он немного ободрился. – Я могу взглянуть?

Аглая передала ему стопку листов. Это были беглые зарисовки горных пиков и хребтов, долгих степных рельефов, лошадей, щиплющих траву, поселка в вечерней дымке, высокогорного озера, в котором отражаются плывущие в небе облака и прибрежные деревья. В рисунках чувствовалось мирное дыхание жизни, и хотя отсутствовали люди, Федору каким-то образом стало ясно, что эта жизнь во всех ее проявлениях существует для человека и без него будет лишена всякого смысла.

– У вас сильная рука художника, – похвалил он рисунки, добравшись до конца стопки, и на последнем листе вдруг увидел среди заросших скал женщину в плаще с капюшоном. В ее глазах, смотревших прямо на него, застыло неуловимо-звериное выражение. Федор узнал девку-оборотня, которая остерегала его от поездки в Золотые горы и которую местные водители называли злым духом.

– Кто это? – спросил он фальшиво-бесстрастным голосом, показав рисунок Аглае.

Та, смутившись, отобрала лист и тут же порвала на клочки.

– Неудачный рисунок. Понятия не имею, кто это. Так, просто представилось.

Федор не поверил ни единому ее слову, но не подал вида. Он не хотел новых разговоров о мистике, которая успела порядком ему наскучить.

Он отдал рисунки Аглае и оглядел комнату. Обстановка была более чем скромная – почти спартанская, девичью светелку это мало напоминало. «Скорее похоже на номер в дешевом захолустном доме отдыха», – подумал Федор. Живость комнате сообщал лишь ползучий цветок в горшке на шкафу, протянувший стебли с крупными листьями по всем стенам, а патину благообразия добавляли иконы на полке в углу.

– Небогато живете, – заметил Федор, – аскетически, я бы сказал.

– Мне немного надо.

– Это я уже понял. Может быть, вы вообще готовите себя к монастырю?

– Об этом я еще не думала, – улыбнулась Аглая. – Но живем мы не бедно. Хотя дело не в этом. Я ведь богата, Федор. Очень богата.

– И все ваши богатства, надо думать, здесь? – он постучал пальцем по Евангелию, лежащему на стуле рядом с кроватью.

– Вы мне не верите, – сказала Аглая и что-то вынула из ящика стола. – Вот.

Она протянула Федору плоский неровный кругляш из тусклого желтого металла, похожий на золотую медаль, которую выдавали бы олимпийским чемпионам древности, если бы античные греки не ограничивали свой наградной фонд скупыми оливковыми венками. Одна сторона медальона была пустой, на другой выступало изображение женщины с ребенком в чреве, попирающей ногой змею.

Присвистнув и взвесив медальон в ладони, Федор спросил:

– Откуда у вас эта милая вещица?

– Нашла в реке.

– На скифское золото не похоже. Но стоит, очевидно, целое состояние.

– Скифы были язычники, – покачала головой Аглая. – А эту вещь сделали те, кто помнил древнее пророчество: «Семя Жены сотрет главу змея».

– В таком случае ей не больше двух тысяч лет от рождества Христова. – Федор присмотрелся к изображению. – В самом деле похоже на Богородицу. Станный медальон.

– Она древнее, – загадочно улыбнулась девушка. – Этому пророчеству много тысяч лет.

– Ну знаете... – Федор не нашелся с ответом и отдал медальон. – Не советую вам хранить это в столе.

– Здесь некому красть.

– Имейте в виду, – предупредил он, – я понимаю это как полное доверие ко мне с вашей стороны. А это уже серьезно, учитывая, что мы знакомы полмесяца и виделись всего три раза.

– Спокойной ночи, Федор.

С тем же таинственным выражением на лице Аглая потушила свет и вышла из комнаты, закрыв дверь.

Целую неделю в Усть-Чегене стояла непривычная для здешних мест суэта. Приезжали и убывали чиновные лица, представители науки и Церкви, слонялись по поселку пришлые журналисты, замучившие всех нелепыми вопросами. Почему-то их очень интересовало, как относятся жители к появлению в их краях нетленных мощей и считают ли усть-чегенцы неизвестного белогвардейского офицера святым. Абсурдность вопроса усугубляло то, что журналисты непременно хотели знать мнение коренных алтайцев, испокон веку

прозябавших в язычестве. Кроме репортеров, открытие могилы привлекло в поселок немало туристов, специально по такому случаю менявших маршруты. Вся эта празднующая публика, которую приманила «тайна белого генерала», вызывала у Федора раздражение. Он старался не выходить из дома, опасаясь попасть в камеру телевизионщиков и тем самым привлечь к себе ненужное внимание издалека. Кроме того, сильно беспокоило, что какой-нибудь особо дотошный репортер или турист заметит его сходство с покойником. Хотя останки уже положили в гроб и закрыли крышкой, взглянуть на нетленные мощи желали все, да и в газетах появились фотографии.

На похоронную церемонию в начале июня собралась толпа. Рядом с лакированным гробом, в окружении толкущихся людей, искавших в торжественно-траурном ритуале каждый своего, обугленный остов церкви выглядел усохшим, застенчиво съежившимся. Начальственные лица произнесли речи о торжестве исторической справедливости и примирении с ошибками прошлого, показавшиеся Федору образчиком чиновно-политической двусмысленности и старого доброго невежества. Представители Церкви в лице отца Павла выразили надежду на неповторение ошибок прошлого. Телекамера выхватила из толпы несколько вдохновенных лиц, заслушала общественное мнение, засняла панихиду и проводила гроб до новой могилы, вырытой чуть дальше от церкви, ближе к поселку.

На этом торжество завершилось, и журналисты убрались восвояси. Однако Федора они перестали волновать немного раньше, когда он увидел в толпе старого знакомого. Евгений Петрович, личность во многих отношениях неясная, а поблизости от Аглаи вовсе нежелательная, не оставлял попыток поддерживать ее под локоть. Несколько успокоило Федора то, что Аглая всячески пресекала эти попытки. А тревожило, что Евгений Петрович за эти несколько недель приобрел еще больший лоск, будто надраив себя до ослепительного блеска, и был вылитый Джеймс Бонд на дипломатическом приеме в королевском дворце. Федор даже рискнул поднять на лоб темные маскировочные очки, чтобы лучше разглядеть неожиданного соперника во всем его вооружении.

Когда процессия с гробом двинулась к могиле, Евгений Петрович уверенно взял Аглаю под руку и вывел из толпы. Федору эта попытка уединиться вдвоем показалась оскорбительной, и он, не таясь, направился следом. Однако далеко они не ушли, остановились у ближайшего забора. Евгений Петрович настойчиво внушал что-то девушке, доверительно наклоняя к ней голову, Аглая отвечала, и Федору в ее голосе слышалась заинтересованность. От ревности, которую по-настоящему ощутил первый раз в жизни, он был готов на любой поступок в ковбойском стиле. Но тут на счастье их обоих – его и попутчика – Аглая резко отняла руку, отстранилась от собеседника и посмотрела на него так, что у Евгения Петровича не должно было остаться никаких сомнений. Она зашагала обратно к церкви, увидела Федора и без слов обошла его стороной. Попутчик, с досадой глядя ей вслед, лениво помахал ему рукой, развернулся и направился к джипу, стоявшему неподалеку.

– О чем вы с ним говорили? – догнав Аглаю, осведомился Федор.

– Вам в самом деле надо знать? – сухо произнесла она.

– Естественно, – кивнул он. – Я немного знаком с этим Казановой. Он мастер рассказывать небылицы и запутывать нормальных людей. Берегитесь, как бы он не вскружил вам голову. Для вас, милая Аглая, этот человек опасен.

– Не больше, чем вы, Федор.

– На что это вы намекаете?

– Всего лишь на ваши попытки присвоить меня себе.

– Но я...

– Он расспрашивал меня о Бернгарте, – перебила Аглая. – Как и вы, он очень интересуется здешней историей, особенно Гражданской войной.

Федор остолбенел.

– Значит, он уже наплел вам ерунды... Интересно знать, почему он решил именно вас расспрашивать о Бернгарте. И когда вы успели с ним познакомиться.

– Неделю назад. Он пришел к нам домой и принес цветы, вино, торт.

Она сказала это совершенно спокойно, без интонаций, даже не глядя на него, но Федор был расстроен и потому слишком чувствителен ко всякого рода намекам, в том числе воображаемым.

– Вам, кажется, доставляет удовольствие мучить меня?

– Вы сами себя мучаете. Кроме того, вы хотели, чтобы я рассказала. Кстати, – если это утешит вас, – он даже приглашал меня к себе в гости, но я отказалась.

– В какие еще гости? – не понял Федор. – Он что, поселился здесь?

– Помните дом в степи, который вы называли швейцарским шале? Там он и поселился. Купил или снял на время не знаю.

– Час от часу не легче. Просто возмутительно.

– Знаете, Федор, чем бессмысленно страдать, лучше расследуйте дело этого белого офицера, – предложила Аглая, наконец повернувшись к нему и посмотрев в глаза. – Мне страшно хочется знать, кто он и что совершил. Вы же приехали сюда писать диссертацию. Вот и пишите.

– Я готов исполнить любое ваше желание. Но при одном условии: вы будете помогать мне.

– А разве у меня есть выбор? – она красноречиво двинула бровями.

Тем временем гроб под звуки траурного марша опустили в яму и начали засыпать землей. Рядом лежал большой деревянный крест с прибитой табличкой, на которой было лаконично выбито: «Офицер Русской армии».

– Мне кажется, есть в этом что-то поразительно символичное, – переключился Федор. – Девяносто лет спустя хоронить человеческий осколок Гражданской войны и не знать ни имени его, ни деяний, не иметь представления о тех мыслях и чувствах, с которыми этот человек был готов идти на смерть. Кто из всех этих людей, стоящих здесь, догадывается об истинном смысле ошибок прошлого, с которыми они тут готовы примириться? В лучшем случае они скажут, что покойник воевал против красных. Но вряд ли кто из них подозревает, что «против красных» – слишком широкое и расплывчатое понятие. А если подозревают, более того, знают точно, то скорее всего делают вид, что не знают. Быть может, этот белогвардеец дрался вовсе не за то, чем сегодня живут все эти чиновные физиономии и о чем они тут разглагольствовали с эрзац-патриотическим пафосом. Для них это было бы досадным разочарованием.

– Каждому свое, – чему-то улыбаясь, заметила Аглая.

Расследование дела Федор начал в тот же день звонком в Москву. Звонить пришлось с почты, мобильная связь через горный кордон не работала.

– А, блудный сын, – приветствовал его отец. – Вспомнил наконец о родителях. Матери нет дома, так что будешь говорить со мной. Нашел там себе занятие?

– Нашел. Пишу диссертацию. Здесь открылся богатый материал по моей теме.

– Тебя разыскивали какие-то типы. По-моему, просто бандиты, вели себя до того нагло, что пришлось вызывать охрану. Какие у тебя с ними дела?

Федор встревожился.

– Они вам угрожали?

– Посмели бы только. К тому же им нужен ты, а не мы. Мать сказала им, что ты исчез, не оставив адреса. Они не слишком поверили и, сдается мне, установили слежку. Во всяком случае, за мной повсюду таскается хвост. Но ничего, у меня есть средства укоротить их.

– Будь осторожней, пап.

– Об осторожности тебе надо было раньше думать. Потеряв невинность, о помятой юбке не плачут. Я так и не услышал от тебя, кто они такие.

– Бандиты.

– Коротко и ясно. Ладно, займись этим. А ты чтобы сидел тише воды, ниже травы. Пиши свою диссертацию и носа в Москву не кажи. Все понял?

– Понял.

– И сам не звони больше. Когда надо будет, я позвоню. Матери хоть привет передашь?

– Да, передавай ей.

– Бестолковый блудный сын, – проворчало в трубке. – Ну все. Свекру тоже передай там от меня что полагается.

– Пап, пап, подожди. Я тебя хотел спросить.

– О чем еще?

– О прадедушке.

– О ком?

– Твой отец хоть что-нибудь знал о своих родителях?

– Что это тебя родословная заинтересовала?

– Так ведь не модно уже быть безродным космополитом. Нужны корни, желательно потомственно-дворянские. На худой конец купеческие, первой гильдии. А у меня единственный шанс обрести дворянство – твой дедушка.

– Вижу, с шутками у тебя по-прежнему. Хотя эта вроде не так глупа. Дед был родом из Ярославля. Старинный купеческий город. Так что совсем не исключено. Но его усыновили в семь лет. Он не любил об этом говорить. Его мать как-то страшно погибла у него на глазах, отца плохо помнил. Вроде был военный, домой приезжал редко.

– А фамилия у деда от приемных родителей?

– Нет, Шергин – от настоящих. Это единственное, что он крепко помнил, после того как погибла мать. Носить другую фамилию не захотел.

– В каком году это было?

– Родился он в одиннадцатом, значит, семь было в восемнадцатом.

Подумав, Федор сказал:

– Летом восемнадцатого в Ярославле и Рыбинске прошли антисоветские мятежи. Большевики в ответ устроили там резню.

– Ну вот тебе и ответ, – медленно произнес отец. – Деда в тридцать пятом арестовали, двадцать лет в лагерях сидел. Вышел, женился.

После этого разговора Федор долго не мог успокоиться, ходил по дому мрачный, как зверь по клетке.

– Не мельтеши, Федька, – не стерпел дед Филимон, читавший газету «Алтайский

коммерсантъ». – Басурману спать не даешь. Чего мутный такой?

– Так, – ответил Федор, – размышляю о роли мистики в жизни человека.

– Ну, на это я тебе вот что скажу. – Дед сложил газету и снял очки. – Ты бы бросил это занятие. Потому как у энтой мистики одна задача – доводить человека до психбольницы.

– Вот это я и пытаюсь как раз понять – куда она меня заведет.

Слишком очевидным для него становилось день ото дня противоборство мистических стихий, столкнувшихся в той точке жизненного пространства, которое носило имя Федор Шергин. Разумеется, о совпадениях и случайностях, даже тех, что превращаются в закономерность, речь давно уже не шла. Вопрос стоял по-другому – почему все эти неслучайности последнего времени тянули его, будто две спортивные команды, перетягивающие канат, в разные стороны. Одна команда притащила его в Золотые горы и всячески подбивает на некие действия и разыскания, интригуя собственной же семейной историей. Другая противилась этому, пыталась запутать или запугать его при помощи местного фольклора и злых духов. Сказать, что ему нравится быть безучастным свидетелем перетягивания себя, Федор не мог. Вероятно, подумал он, можно попробовать сделаться свидетелем небезучастным. Эта мысль сперва показалась ему странной, а затем бессмысленной. Ведь, если уж на то пошло, мистическим стихиям вовсе незачем всякий раз предупреждать его о своем вмешательстве, и тщетно было бы отделять личные порывы от скрытых воздействий со стороны. Тем более когда то и другое совпадает.

В этом Федор окончательно убедился на следующий день, когда ему сделали интересное предложение, от которого он при всем желании не смог бы отказаться. На пыльной улице поселка рядом с ним притормозил темно-серый джип, из окна высунулось приветливо ухмыляющееся лицо попугчика в черных очках.

– А мы с вами, оказывается, снова соседи, Федор Михалыч не Достоевский.

– Наслышан, – лаконично отозвался Федор и почему-то подумал, что для самого Евгения Петровича это соседство не было такой уж неожиданностью.

– Прокатиться не хотите? – попугчик спустил очки на кончик носа и добавил заговорщицки: – Есть дело.

– Ловись, рыбка, большая и маленькая? – спросил Федор, не убавляя шага.

– Что-то вроде. Так, что, хороший заработок вас не интересует? Предупреждаю – очень хороший.

– Что нужно делать? – поразмыслив, спросил Федор.

– Всего лишь прогуляться в горы на несколько дней.

Федор подумал еще немного и выставил встречное предложение:

– Я буду иметь с вами дело только в том случае, если вы оставите в покое ту девушку, к которой приставали вчера.

– Ах, вот оно что! – со смехом сказал Евгений Петрович. – То-то я думал, что это вы смотрели на меня с таким зверским выражением. Уверяю вас, у меня нет на эту барышню никаких видов.

– Рассказывайте, – не поверил Федор.

– Да сядьте вы наконец в машину. На нас уже глазают со всех сторон.

Федор продолжал идти по улице.

– Ну хорошо, обещаю. Я оставлю ее в покое.

Федор открыл дверцу и с непроницаемым видом поместился на заднем сиденье.

– Тем более что мне это ничего не стоит, – добавил Евгений Петрович, вырвав на

соседнюю улицу. – Неужели вы еще не поняли, что она ведьма?

– Кто? – тупо спросил Федор.

– Ваша милая недотрога Аглая.

– А откуда вам известно, что она недотрога? – хмуро осведомился Федор. – Вы что, пытались?..

– Да успокойтесь, не пытаюсь. Разве вас она еще не окатывала своим ведьминским взглядом, от которого чувствуешь себя ушибленным дубиной промеж глаз?

– Окатывала, – со вздохом признался Федор.

– Ну вот видите. Поменьше ходите за ней по пятам, – посоветовал Евгений Петрович, – может, тогда вам повезет больше.

– Может, – эхом повторил Федор. – Только она не ведьма. Она дикарка. Ладно, давайте поговорим о горах, – морщась, как от зубной боли, предложил он.

– Так я об этом и говорю. Исчезнуть на несколько дней – самое лучшее средство привлечь к себе внимание женщины. Запомните это, юный Вертер.

– Да, – подумав, сказал Федор, – пожалуй, вы правы.

– Значит, договорились.

Джип выехал из поселка и по бездорожью покати́л в степь.

– Куда это мы едем? – спросил Федор.

– Приглашаю вас к себе в гости.

– А, швейцарское шале.

– Уже видели? Неплохой домишко.

– Ваш?

– Ну что вы. Зачем мне дача в этой глухой степи?

– Не такой уж глухой, получается. Знаете, Евгений Петрович, в последнее время меня все здесь буквально настораживает.

– Даже сейчас? – поинтересовался попутчик.

– Еще бы. Вы ведь ни за что не скажете мне, что вам понадобилось здесь и какие у вас дела в горах.

– Это точно, – рассмеялся Евгений Петрович, – не скажу. Но, если хотите, могу намекнуть.

– Сделайте одолжение. Как-то не хочется играть вслепую. Вдруг вы всего-навсего браконьер и идете бить несчастных зверушек из Красной книги?

– До зверушек мне нет дела. Напекаю: с нами пойдут еще двое с базы «Беловодье».

Федор расхохотался.

– Так эта тема и у вас животрепещет? Хотите искать тайные тропы Бернгарта?

– Почему бы и нет?

Посерьезнев, Федор произнес скучным тоном:

– Мое условие: задаток сразу. Половина всей суммы. Не хочу, знаете, остаться ни с чем, когда вы отыщете путь в страну счастья и пожелаете пополнить число ее блаженных обитателей.

– Будет вам задаток. Прямо сейчас.

Машина въехала во двор дома и, миновав травянисто-цветочные неухоженные куртинки, встала у гаража.

– Прощу.

Хозяин распахнул дверь пряничного домика. Федор ожидал увидеть внутри интерьер,

соответствующий наружности, но пустынность дома слегка разочаровала его. В небольшом холле возле стен помещались нераспакованные чучела мебели, с потолка на длинном проводе свисала голая лампочка. В одной из комнат, очевидно, гостиной, стояли два плетеных кресла и маленький столик. На нем вверх обложкой лежала раскрытая книга. Федор прочел заглавие: «Конец истории».

– Знаете, по-моему, Фукуяме при всей экстравагантности его идей, кстати, думаю, заимствованных, не хватает одной важной вещи, – сказал он, кивнув на книжку. – Он не учитывает мистических влияний.

– Да? – удивился Евгений Петрович. – Ну, полагаю, за него это делают другие. А что, Федор Михалыч, интересуетесь мистикой?

– Как вам сказать. Скорее она интересуется мной.

Кроме кресел и столика, в комнате ничего не было, если не считать огромной карты России на стене.

– Да, эзотерично, я бы сказал, – поделился Федор впечатлениями.

– Вам чай или кофе?

– Если в этом доме можно вскипятить воду, то я буду кофе.

– Уверяю вас, в этом доме можно все, – загадочно ответил Евгений Петрович и удалился на кухню.

Федор стал рассматривать карту. Внимание его привлекли наколотые на нее маленькие черные флажки. Несколько штук расположились вдоль Урала, десяток украсил Западную Сибирь, один флажок гордо реял в центре Алтая. Но самым интересным в этой карте было то, что до Уральских гор страна называлась Россией, а все обширное пространство на востоке именовалось просто Сибирью.

– Какая удивительная карта, – громко сказал Федор, чтобы было слышно на кухне.

– Что вы находите в ней удивительного? – спросил Евгений Петрович, входя в гостиную с кофейным набором на подносе.

– Я нахожу удивительной ту легкость и, как бы это сказать, детскую непосредственность, с которой ее создатели поделили шкуру неубитого медведя.

– Ну, милый мой, что естественно, то легко, – ответил попутчик, разливая кофе по чашкам.

– Обычно этими словами уговаривают девушку лишиться невинности, – заметил Федор, взял чашку и сделал глоток. – О, замечательный кофе.

– Мне тоже нравится. Нет, о невинности речь не идет. Это... ну, скажем, третья нога. Зачем России лишняя, мешающая все время нога? Нет, все равно не так, – перебил сам себя Евгений Петрович. – Суть дела в том, что Сибирь не может принадлежать никакому государству, это должна быть свободная территория для свободного освоения. Если хотите, здесь сходятся мистические линии мира. Вам ведь как будто небезразлична эта тема? Сделав Сибирь своей колонией, Россия совершила ошибку. А за подобные ошибки приходится рано или поздно расплачиваться большой кровью. По этому счету Россия платит вот уже век и все никак не расплатится.

– Понимаю, – покивал Федор, – в данном случае мистические линии мира – это как раз то, на чем специализируются американские благотворительные организации.

Евгений Петрович допил кофе и с едва заметной холодностью произнес:

– А кроме того, вам ли, Федор Михалыч, говорить о детской непосредственности, с которой вы сами решились на бегство от собственного прошлого и его долгов,

выражающихся сотнями каратов?

Федор отставил чашку, внутренне заледенев. Если б было возможно, он с удовольствием дал бы в морду самому себе. Он с ужасом думал о том, что все-таки проболтался в поезде, напившись до свиней, и теперь висит на крючке у этого ловко подсекающего рыболова.

Видимо, прочитав его чувства, написанные на лице, Евгений Петрович с усмешкой сказал:

– Ничего плохого я вам не сделаю. Напротив.

Он ушел и вернулся через минуту, бросил на стол перед обмякшим Федором три тугих пачки зеленых денег.

– Ваш задаток. С собой ничего лишнего не берите, только самое необходимое. Поедем на машине, продукты и воду я загружу.

– А оружие? – спросил Федор.

– Имеете?

Федор вновь с грустью вспомнил об отцовском «Макарове» и покачал головой.

– Но, кажется, в горах водятся медведи и эти... снежные тигры, – сказал он.

– У медведей сейчас полно еды, мы им будем неинтересны, а в снега нам и залезать незачем.

– Ну что ж, – заключил Федор, вставая и рассовывая деньги по карманам, – остается констатировать, что выбора у меня нет.

Евгений Петрович звучно щелкнул пальцами:

– Кстати, этот откопанный белогвардеец, которого хоронили вчера, ваш родственник?

– Почему вы так решили? – Федор по наитию решил отпираться.

– Кровная связь – загадочная вещь. Я, видите ли, изучал дело Бернгарта. По всей вероятности, этот неплохо сохранившийся покойник носил фамилию Шергин. Ирония судьбы. Так что выбора, милый мой, у вас действительно нет.

Второй полк стрелковой дивизии генерал-майора Меркурьева с налета вошел в Каменск-Байкальский. Они наступали бегущим большевикам на пятки, а те оказывали ничтожное сопротивление. Это был не первый город, который части Средне-Сибирского корпуса генерала Пепеляева освобождали от Совдепа таким манером, едва ли не с песней. Поэтому объяснение этой легкости, с которой выбивали красных, знали все: у товарищей были другие заботы, когда приближались белые войска, – они «подавляли контрреволюцию» внутри города.

Где-то на окраинах еще звучали выстрелы, но в центре уже успокоилось. Сновали туда-сюда солдаты, подыскивая временное пристанище себе и офицерам. Невдалеке мирно грохотало – что-то ломали с веселой бранью. Кое-где в окнах шевелились занавески, выдавая присутствие городских обитателей и их робкие попытки узнать, чем кончилась перестрелка.

– Глядите-ка, Петр Николаевич, – радостно возгласил поручик Шальнев, появившийся из-за угла дома, – кто-то тут еще влачит существование. Не всех в расход пустили.

– Плохая шутка, поручик, – ответил Шергин, заряжая обойму своего кольца. – Где ваша рота?

– А вот, слышите, – ухмыльнулся Шальнев, – продовольственный склад открывают. Поглядим, что там красные для нас припасли.

– Идите туда и, если обнаружится спирт, поставьте охрану.

– Слушаюсь, господин капитан. Только... – Он замялся.

– Что?

– Вы же знаете, Петр Николаевич... – Поручик нервно дернул щекой. – Возле гимназии уже нашли гору трупов. Я еще не видел, мне доложили. У всех изуродованные лица... там есть совсем дети.

– Знаю, – отрезал Шергин. – Но если каждый раз, натыкаясь на зверства красных, солдаты будут напиваться, то очень скоро армия превратится в сборище ни на что не годных пьяниц. Идите, поручик, – добавил он мягче, – выполняйте приказ.

Козырнув, Шальнев убежал бодрой рысцей. Шергин направился к видневшейся впереди площади. Городишко был дрянной, грязный, дома сплошь деревянные, настил мостовой давно прогнил и разъезжался под ногами. На самой площади красовалось двухэтажное каменное здание с облупившейся краской и частично осыпавшейся лепниной – бывшее уездное собрание либо дом городского головы. Из окна на улицу выбрасывали бумажный хлам, оставшийся после совдепа, а в парадную дверь заносили несгораемый сейф подполковника Борзовского. Здесь же должен был разместиться штаб полка. На церковной колокольне робко затрещало.

– А, ну наконец-то хоть кто-то нам рад!

Шергина чуть не сбил с ног Ракитников, командир одного из батальонов полка. Выругавшись по матушке, он мрачно посмотрел на капитана и зло сказал:

– Что-то я не вижу радостных морд здешних обывателей. Так-то они встречают освободителей. Может, им больше по нраву красные собаки?

– Вы тюрьму уже видели? – поинтересовался Шергин. – Сходите, полюбуйтесь. Найдете там ответ на мучающий вас вопрос. Только предупреждаю – там скользко, не измажьтесь в крови.

Он обошел Ракитникова и направился в штаб. Этот несчастный городок красные мучили в последние дни с особенной страстью. Во дворе тюрьмы работали не палачи, а мясники – многие трупы были с отрубленными руками и ногами. Там же лежали голые изнасилованные женщины, девицы. По трупам ходили сытые собаки, лизали кровь и нехотя терзали человечесье мясо. За два с половиной месяца в корпусе Пепеляева, двигавшемся на восток по Сибири, Шергин насмотрелся всякого. Ограбленные дочиста деревни, убитые крестьяне, плывущие по реке будто бревна. Мертвецы в исподнем, выставленные напоказ у расстрельной стены. Заживо брошенные в железоплавильные топки завода – около сотни сгоревших трупов нашли в шлаковых отбросах. Зарубленные шашками, заколотые штыками городские обыватели – у домов, на улицах, в придорожных канавах. Трупов было слишком много, чтобы не наводить на далеко идущие размышления.

На лестнице Шергин увидел спускающегося Борзовского.

– А, капитан, вы кстати, – утомленно проговорил тот с папиросой во рту. – Мне донесли, что пойман какой-то красный, не успевший удрать со своими. Он сейчас в подвале. Допросите его и после доложите мне.

Шергин занял одну из комнат на первом этаже здания и велел привести пленника. Через несколько минут перед ним стоял избитый человек с шалыми глазами, в окровавленной рубахе и со связанными за спиной руками.

– Чья на нем кровь? – спросил Шергин у солдата-охранника.

– Возле гимназии взяли, – процедил тот, – последних добивал.

– Увлёкся, выходит, – чуть сдерживаясь, произнес Шергин.

– Выходит, так, – шевельнул разбитыми губами палач и сплюнул на пол.

– Кто таков? – резко спросил Шергин.

– Это вам ни к чему. Взяли – убивайте. Нечего тут разводиться. Только уж знайте, господин офицер, – проговорил он с непередаваемой безразличностью, – не долго вам куражиться над народом. Всех вас как ту контру. – Он мотнул головой.

– Господа, выходит, куражатся над народом, а товарищи всего-навсего утопили его в крови, – с видимым спокойствием сказал Шергин. – Весьма интересная пропорция. Откуда получали указания о резне населения?

– От советской власти.

– Конкретнее.

– Если это вас, правда, интересуется, – ухмыльнулся пленный, – то от товарища Троцкого. Нам контру жалеть – себе дороже.

– Уведи его, – махнул Шергин солдату. – Допрос окончен.

...В кабинете подполковника было настежь распахнуто окно, чтобы выгнать осевший на стенах и мебели кислый дух прежних обитателей. Борзовский сидел в кресле, окруженный облаком ядерного папиросного дыма и пальцами одной руки перебирал воображаемые клавиши на краю стола – подыгрывал звучащему с улицы патефонному Шопену.

– Садитесь, Петр Николаич, не стойте над душой. Я, признаться, не вполне уловил нить ваших рассуждений. О какой провокации может быть речь? В стране полыхает политическая война, гражданская, если желаете. Красные развязали массовый террор. Для чего вы ищете в этом двойное дно, какие-то заговоры?

– Хороша гражданская, – скептически молвил Шергин. – Что, в таком случае, делают в ней военные силы германцев, австрийцев, американцев, англичан, французов, японцев? Я не говорю уже о локальных формированиях чехов, венгров, китайцев, латышей и прочих.

– Хотите сказать, им всем выгодна эта война русских с русскими?

– В любой войне есть выгода для кого-то. Большевикам она тоже для чего-то нужна. Вы, господин подполковник, не знакомы с лозунгами Бронштейна-Троцкого? Этот еврей с извращенным умом – весьма вероятный британский агент – на все лады поет здравницы гражданской войне. Здесь, в Сибири, они даже не пытаются удержаться, вместо этого с бешеным глумлением уничтожают мирное население. Это ли не намеренное разжигание войны? Они вынуждают братья за оружие тех, кто еще не сделал этого.

– Ради бога, Петр Николаич, – Борзовский перестал перебирать «клавиши» и, вскочив с кресла, встал лицом к окну, – для чего им это?!

– Кто может понять мотивы убийц? – пожал плечами Шергин. – Возможно, они просто боятся за свою власть. Не будь войны, через год-два ни у кого в России не осталось бы иллюзий на их счет. Война же все спишет. Вы представляете, господин подполковник, каковы окажутся людские потери в этой бойне? Уверен, намного больше, чем за всю германскую. И уничтожают они в первую очередь лучших. И мужчин, и женщин.

– Да-да, это все так. Но, любезный Петр Николаевич, сей разговор бессмыслен. Война идет, и мы уже принадлежим ей с потрохами, что называется. Вы отдали приказ расстрелять этого красного выродка?

– Я оставил решение за вами, господин подполковник.

– Не нужно, не нужно. Слишком много чести для них.

Борзовский перегнулся через подоконник и крикнул:

– Осипенко! Велите пленного к стенке ставить. Только вначале отдайте его солдатам, пусть отведут душу.

Патефонный Шопен на улице сменился вальсом «Амурские волны». Послышались крики отдыхающих солдат, потом смех.

Борзовский подхватил пролетающий мимо окна красно-желтый лист.

– Вот и осень уже. Как вы полагаете, Петр Николаевич, рано ли здесь начинается зима?

– Зачем вы так, господин подполковник?

– Что – зачем? Ах, вы об этом красном изувере. Полноте, капитан. Помните, что в Писании: «какою мерою мерите...»?

– Но подобные приказы внушат солдатам чувство вседозволенности. Они быстро превратятся в таких же зверей, что и большевики...

– Вот и прекрасно, – перебил его Борзовский. – Чем злее будут, тем быстрее мы одолеем красную чуму. Вот ведь как получается, Петр Николаевич: комиссары сами оказывают нам большую услугу своими зверствами. Вам известно, в каком моральном состоянии находился полк при выступлении из Томска? Рядовой состав на три четверти был распропагандирован большевистскими агентами. А сейчас найдите мне хоть одного колеблющегося. Поглядели на красную власть, увидели, какова она вблизи... А лишние мысли вы гоните, гоните от себя, не до них теперь, уж поверьте. Если же вам недостаточно совета, так я вам приказываю. Вы меня хорошо поняли? Ступайте.

Шергин спустился вниз, вышел на улицу. Часовой, выставленный на крыльце, спрятал папиросу в кулаке, вытянулся по струнке.

Борзовский мог приказать ему, но не в силах был убедить. Шергин с тоской думал о том, что если во главе Белого движения стоят люди с таким же ограниченным умом и скудным чутьем, не чувствующие духа этой войны, то шансы победить у них мизерные. Русские никогда не побеждали изуверством, и, значит, выиграет войну тот, у кого окажется

больше живой силы, лучше вооружение и организация. Как вооружены белые части, он знал не понаслышке: не хватало даже портянок и обуви, форму себе ладили кто во что горазд, винтовки – в лучшем случае одна на двоих. Из Поволжья и с Дона доходили сведения о все безоружных атаках офицерских рот, шедших в полный рост сомкнутыми рядами на пулеметный огонь. Это был отчаянный героизм, но долго ли на нем одном продержишься?..

«Однако же есть и другие, – говорил он себе, – умные, честные, понимающие. Каппель, граф Келлер, генерал Алексеев. Не борзовскими начато это движение... Но ими, боюсь, закончится».

– Миленький, куда бы мне тут просьбу подать?

На него смотрела молящими глазами старая, небогато одетая женщина.

– Какую просьбу?

– Племянницу ищу, третьего дня как увели, так и пропала. Одна у меня Оленька моя, гимназистка, и зачем увели, ума не приложу. – Глаза старушки заслезились, она суетливо достала из рукава платок. – Сказали, на какую-то социализацию пойдет, а что это такое, не объяснили толком. Может, в канцелярию взяли или еще куда? И где мне искать ее теперь, Господи?

Шергину стало жалко старуху, и выговорить правду ему было трудно. О большевистской «социализации» девиц он слышал прошлой зимой, когда пробирался из Москвы на Урал. Этим убудочным словом красные обозначали изнасилование, обыкновенно групповое. «Декрет» сочинил все тот же Лейба Бронштейн, комиссар по внутренним делам Совдепии. Потом жертву могли отпустить, но скорее всего убивали. После увиденного во дворе здешней тюрьмы никакого утешения для старухи Шергин придумать не мог.

– Сколько лет ей было?

– Пятнадцать давеча исполнилось. Уж вы найдите ее, господин офицер. Оленька Голубева, коса у нее длинная такая, красивая, и глаза карие... А почему – было? – осеклась она.

В этот момент из сада позади дома донесся мучительный вопль, от которого старуха вздрогнула и сжалась.

– Потому что вряд ли вы еще когда-нибудь увидите вашу Оленьку, – жестко сказал Шергин. – Я сожалею, но ничем помочь не могу. Вам лучше вернуться домой, не стойте здесь.

Он поспешно зашагал к саду, где солдаты тешились над пленным красным палачом. Его раздели донага, привязали ничком к скамейке и молотком вколачивали в спину большие гвозди. Пленный хрипел, с усилием сдерживал крики, но время от времени из него вырывался стон, переходивший в протяжный вопль. Солдаты гомонили, возбужденно смеялись и давали советы, куда лучше вбивать гвоздь. Стоявший поодаль прапорщик Михайлов наблюдал за их действиями с отсутствующим видом, будто сочинял в уме стихи.

– А ну прекратить! – рявкнул Шергин.

Несколько солдат недовольно повернулись к нему, глухо зароптали.

– Приказ господина подполковника...

– Пускай на своей шкуре опробует, красная сволочь...

– Пули ему мало будет...

– Мы в своем праве...

Прапорщик Михайлов в сомнениях грыз ноготь и безмолвствовал.

– Молчать! – гаркнул Шергин. – Отвяжите его.

Двое солдат нехотя исполнили приказ, при этом намеренно столкнув истерзанного пленника со скамейки. Тот глухо замычал.

– Поставьте к стене и расстреляйте. Вы солдаты Белой армии, а не мясники-садисты. Прапорщик, командуйте.

Ужин в большой комнате был накрыт на полсотни человек – высший офицерский состав полка. Длинный стол с белой скатертью сверкал хрусталем бокалов, стеклом рюмок, начищенными вилками и ножами. В бутылках алело вино, пахло запеченым мясом, в вазах горками разместились фрукты: оранжевые китайские яблоки, крупная желтая алыча, нежно-румяные персики. Разговоры прервало появление подполковника Борзовского, пришедшего последним.

– Прошу садиться, господа.

Вино было разлито по бокалам, застучали по тарелкам ножи, разрезая мясо.

– Итак, господа офицеры, прежде чем сказать тост, – произнес Борзовский, – я имею сообщить вам новость.

За столом стихли последние звуки, и ножи с вилками легли на скатерть. Все головы повернулись в одну сторону.

– Сегодня днем объявлен приказ: наш корпус до начала октября будет переформирован и переброшен под Урал, на екатеринбургское направление. Поздравляю вас, господа. Мы успешно действовали эти три месяца. На сегодняшний день по всей юго-восточной Сибири и Забайкалью установлена власть Комитета Учредительного собрания. Красные изгнаны отсюда полностью. После нашего ухода ситуацию в Забайкалье будет контролировать атаман Семенов. Ура, господа!

Над столом взвилось слаженное «ура», зазвенели рюмки и бокалы, заговорили все одновременно.

Среди общего шума с места поднялся капитан Шергин и, дождавшись внимания, мрачно произнес:

– Господа. Раз уж был помянут Екатеринбург, я предлагаю почтить память зверски убитых большевиками государя всероссийского Николая Александровича, императрицы и их детей. Помолитесь о них, господа.

Воцарилась тишина, в которой отчетливо раздалось почти что шипение:

– Умеете вы, Шергин, настроение испортить.

Шергин перехватил злобный взгляд адъютанта Велепольского, сидевшего по правую руку от подполковника.

– В самом деле, капитан, – проговорил Борзовский, разглядывая бокал с недопитым вином, – не к месту это как-то... сверженную монархию поминать. Не за то мы с вами воюем.

– Позвольте с вами не согласиться, господин подполковник.

Медленно встал с рюмкой в руке штабс-капитан Максимов, более ничего не произнесший. Его примеру спустя несколько мгновений последовали еще двое.

Через минуту вдоль по обе стороны длинного стола стояли уже десять офицеров.

– Благодарю вас, господа, – признательно сказал Шергин.

Борзовский с побледневшим видом озирал убранство стола. Слева к нему наклонился офицер штаба и что-то тихо пробормотал, но подполковник лишь раздраженно отмахнулся.

Шергин оглядел напрягшиеся лица и спины сидящих, выпил до дна и, с кривой усмешкой глядя на Велепольского, провозгласил слова популярной в белых армиях песни:

– Смело мы в бой пойдём за Русь Святую!.. Как же вы, господин адъютант, собираетесь воевать за Русь Святую, презирая царей ее, Богом поставленных? – не дожидаясь ответа, он повернулся к Максиму и остальным стоявшим. – Не обессудьте, господа, что-то голова разболелась.

Шергин направился к выходу и, покидая помещение, услышал чей-то не слишком приглушенный голос:

– На редкость неприятный человек. Истинный Франкенштейн.

Выйдя на улицу, он остановился на крыльце, вдохнул холодный воздух, в котором были перемешаны капли морозящего дождя и запах дыма.

Снова заскрипела дверь, рядом встал Максимов. Чиркнув спичкой, он закурил.

– Простите, Петр Николаевич, но вы не правы. – Он помолчал, затягиваясь. – Вам не следовало уходить... Поймите же... – Штабс-капитан заметно волновался. – Поймите, не они, а мы, мы составляем костяк белого движения. Да, мы в меньшинстве, но без нас им... таким, как этот напыщенный хам Велепольский...

Шергин положил руку ему на плечо.

– Я понимаю, Алексей... Алексей Васильевич. Наверное, мне в самом деле не следовало уходить... Но... но я ушел. Простите меня, я действительно скверно себя чувствую.

Он вернулся в номер крошечной гостиницы, имеющей большое сходство с постоялым двором, упал в сапогах на постель, закрыл глаза. Вспомнил стремительно опустевший взгляд подполковника Борзовского, беспризорно пущенный гулять по накрытому столу, презрительную ухмылку Велепольского. Громко сказал:

– Болваны.

Дверь комнаты распахнулась. На пороге объявился денщик Васька, дурковатый, но преданный и непьющий.

– Ась? Звали, вашбродь?

– Сколько раз тебе говорил: «вашбродь» давно отменили. – Шергин открыл глаза и продолжал саркастически: – Завоевания «бескровной». Вот за что они воюют, болваны. Четыре пятых офицерского состава... Хоть с чертом, зато против красных. Знаешь, куда это заведет их?

Васька испуганно замотал головой, крестясь.

– Не.

– Верно, лучше тебе не знать.

– Сапоги-то, – Васька кивнул на ноги Шергина, – сымать?

– Не надо. Иди спать.

Васька поскреб в голове и посмотрел в открытое окно, выходящее на все ту же площадь. В доме напротив играла музыка, слышался громкий женский смех – местные б... слетелись на огонек. Для них не было разницы перед кем задираТЬ юбку – красными или белыми.

– Ахвицеры-то... гудят, – сказал Васька. – Чего ж вы не там?

– Пошел вон. – Шергин запустил в него подушкой.

Васька пискнул и скрылся за дверью.

Лежа на кровати, Шергин пытался думать о жене и сыновьях, зимой переехавших по его настоянию из Петербурга в Ярославль, к ее отцу. Но образ маленькой худой женщины с испуганным лицом, которое война сделала похожим на птичье – из-за постоянного ожидания несчастья, – тускнел и затмевался видением роскошно полнотелой соломенной

вдовы Лизаветы Дмитриевны, в чьих чертах дышала непокорная страсть, а в темных глазах дрожали искры, разжигающие пожар. Видение, усугубляемое звонким хохотом б... на улице, было настолько ярким, что Шергин застонал, вскочил с кровати и захлопнул окно.

Васька попытался снова сунуться на шум, но после грозного: «Не лезь, дурак!» исчез. Шергина мучила совесть, он намеренно терзал себя воспоминаниями о семье и в сто первый раз задавал бессмысленный вопрос: «почему все так мерзко». Ответ если и существовал, то где-то далеко, в глухих монастырских кельях, в дремучих лесных скитах, на святой горе Афон, в граде небесном, где светит солнце-Христос. Но не здесь, не в душе капитана Шергина, иссушенной четырьмя годами войны, не в замученной и замордованной России, которую самым наглым способом убивали, не на земле, где веют злые ветры и блестит черное солнце лжи.

Он достал из походной офицерской сумки сложенные листки, развернул и принялся перечитывать послание саровского отшельника Серафима, прославленного в святых пятнадцать лет назад. Письмо вместе со своей последней волей передал ему государь – именно ему, всех прочих участников заговора Шергин исключил сразу, взвалив всю тяжесть на себя одного. Он предполагал, что послание было вручено императору через посредников, сам же Серафим умер около века назад. К Шергину попала копия, сделанная кем-то из доверенных лиц государя. Вряд ли Николай стал бы показывать кому-то из семейства письмо столь удручающего содержания. Вероятно, он мог доверить его только постороннему и только предвидя близкий конец.

Сверху послания стоял наказ старца передать его «четвертому Государю, который приедет в Саров». Если бы Шергин прочитал письмо год-два назад, он счел бы это фантазмом, родившимся от искушения лукавого, либо видением апокалипсиса, но никак не тем, что уже совершается. «...Попустит Господь злодеям и их неправде. Земля Русская обагрится реками крови. Будет великая долгая война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое. Будет гибель множества верных отечеству людей, осквернение церквей Господних, разграбление богатства. Великие бедствия настанут...»

«Но все это будет не случайно, а по определению Святой Троицы. Россия в руках Господних, склонись перед Его волей, выбери горькую чашу для себя и обретешь сладость небесную. Сойди с престола сам, когда подступят к тебе, а до восемнадцатого году ничего не бойся. В том же году, если станешь на крестный путь, поднимут на тебя руку неверные рабы. Не утрашись сего. Небесного Царя лживые рабы распяли для вечной славы Его. И земных царей убивать попускает Бог нечестивым для сияния сих избранных, для внушения потомкам и для вечной гибели убийц. Укрепись верой и жди терпеливо часа. Сокрушайся о России, но не противься Божьему решению о ней. Господь помилует ее и приведет дорогой страданий к большему величию. Через гибель придет ей спасение и воскресение. Послушай, государь, убогого Серафима и сделай, как говорю тебе. Молюсь о тебе и плачу, и радуюсь».

Послание блаженного старца, несмотря на простоту изложения, смущало Шергина жесткостью и беспощадностью. Ему была непонятна и неприятна мысль, что пути России определены и ничто их не изменит. Возможно, это роковое заблуждение. Серафимово пророчество подействовало на государя опасным образом. Очевидно, он даже не пытался предпринимать решительных мер против революционного смутьянства – это было слишком заметно в последние годы. Николай посчитал любые действия бесполезными и просто ждал развязки. «Как сочетать сие предсказание с духом христианской свободы? – спрашивал себя

Шергин. – Это пророчество как будто антихристианское по существу. Оно лишило Николая воли, необходимой государю. Любовь Христа не неволит – это азы катехизиса. С другой стороны, что другое может обуздать взбунтовавшуюся против Бога Россию? Если кровь и муки, значит, реки крови – вот настоящая свобода. Но этого не может быть. Кровь – это рабство и страх, минутное торжество палачей, которые так же беспомощны перед собственной судьбой».

Ошибочны ли видения Серафима – этот вопрос третий месяц доводил Шергина до умопомрачения. Особенно ночами, после попыток говорить с подполковником Борзовским о том, что шапками большевиков не закидать и нынешние удачи белых вполне могут оказаться временными, а за ними последует позорное поражение. Он понимал всю глупость подобных разговоров с этим непробиваемым поклонником болтуна Керенского, самодовольно цеплявшим на себя красный бант в феврале прошлого года. Всякий раз, когда усилия Шергина разбивались о глухую стену изящного тупоумия подполковника, он задумывался над тем, не наказывает ли Господь иных предводителей Белого движения, лишая их разума. «Против большевиков» – довод в войне настолько слабый, что, прекрати красные грабежи и резню, народ побежит к ним за обещанными землей и волей. В противовес большевистским лозунгам, примитивным до гениальности и бесстыже-лукавым, нужно было выставить что-то такое же понятное и простое. Но о царе большинство этих господ и слышать не хотели: страшно боялись оскорбить чувства «освобожденной» черни и память прошлогоднего февральского беснования.

«В этой войне вообще слишком много странного и иррационального», – думал он. Ему грустно было сознавать, что аргумент большевистских зверств становится едва ли не главным козырем белых для привлечения симпатий населения. Но у коммунии тоже имеются козыри подобного рода, лишь опрокинутые в прошлое. Абсолютно лживые по сути, но даже большинством противников совдепии принимаемые за святую истину. По странной усмешке истории, красноезвездные дегенераты, с ног до головы замаранные кровью, больше всего плакались о «жертвах» самодержавия, которых оно гноило, морило и гнуло в дугу. Шергин вину царской власти видел в другом. Ей, разумеется, не нужно было «гноить» убийц и террористов на поселениях в Сибири, благодаря чему они лишь благоденствовали и плодились не половым способом. Просто-напросто следовало почаще вешать и расстреливать, как поступали с государственными преступниками во всех прочих странах «европейского концерта» и даже за океаном. Но державная неколебимая уверенность, что сибирские расстояния обезвреживают бесов революции, сыграла с русской монархией злую шутку...

В абсурдном действии – войне русских с русскими – Шергин представлял себя одной из миллионов белок, вертящих колесо истории. Временами ему казалось, что он может напрочь потеряться в этом клубке усердно перебирающих лапками существ. Он хотел быть белкой, которая не только бежит и крутит колесо, но и понимает для чего, какой прок от этой вертящейся и страшно гремучей штуки.

Кто-то должен будет донести до будущих времен внятное свидетельство о происходящем. Тому, кто хранил завещание убиенного государя, следовало внимательно разбираться в путаных следах, оставляемых на земле перстом Бога.

«Найти умного священника и поговорить с ним обо всем этом», – подумал Шергин.

– Рерих был профан и неудачник. Он потому так распиарен, что ничего не нашел, а раструбил на весь свет, будто что-то там отыскал и что-то там зашифровал. Да нечего ему было шифровать, и посвящения он никакого не получал. А Бернгарт получил. И нашел. Вот чекисты его и засекретили.

Этих двух парней с базы «Беловодье» Федор прежде не видел – нос ему разбили другие. Но у всех «беловодцев», безусловно, было нечто однокоренное: они все, что называется, с полуоборота заводили разговор на любимую тему, продолжавшийся бесконечно, и до маслянистости в глазах обожали своего идола Бернгарта. Федор, подозрительно относившийся к любой восторженности, с самого начала поездки глубоко презирал обоих «беловодцев. Одного из них звали Толик, он был местный интеллигент, длинный, как дядя Степа, и сильно картавящий, отчего Рерих у него получался весьма эзотеричным Егихом, а Бернгарт превращался в еврея. Вторым был Олежек, студент-первогодок из Казани, на горы он смотрел круглыми глазами и всему радостно изумлялся. Евгений Петрович во время знакомства подмигнул Федору – очевидно, это должно было означать, что умственный уровень «беловодцев» не представляет интереса и он взял их с собой исключительно в качестве необходимого довеска.

«Беловодцы» подсели в машину на Чуйском тракте возле поворота на Усть-Чегень. Несколько километров ехали через Курайскую степь, потом Евгений Петрович, глядя в карту, свернул на боковую дорогу, уводящую в горы, к Курайскому хребту. На близких склонах отчетливо виднелись следы давней геологической разведки: «кротовьи норы» шурфов тянулись длинными безобразными цепочками. Какое-то время рядом с дорогой скакал по валунам ручей. Вдоль него живописно и очень убедительно шатались «пьяные» сосны, наклонившиеся над водой из-за подмытых корней. Хотя качание было вызвано сильным ветром, Федора развлек этот внезапный артистизм самых обыкновенных деревьев. Еще десяток километров, и дорога нырнула в долгое ущелье. Дальше, на той стороне хребта, начинался лиственный лес, по которому тропа виляла и круто поднималась в гору. Вокруг все пело и свиристело на всевозможные птичьи лады. Перед машиной пробегали белки и сурки, а при выезде из леса на джип едва не обрушился марал, внезапно выпрыгнувший из кустов.

– Во зараза, – восхищенно прокомментировал Олежек пируэт зверя.

– Между прочим, есть неопровержимые доказательства, – продолжал Толик, – что Рерих встречался с Бернгартом в двадцать пятом году, перед своей алтайско-гималайской эпопеей.

– Где встречался, в тюрьме? – иронично спросил Федор.

– Зря смеешься. Рерих получил разрешение на свидание с ним. Заметь – за Рерихом стояли те же люди из чекистских органов, которые курировали Бернгарта во время Гражданской, – Глеб Иваныч Бокий и весь его отдел. А Бокий напрямую подчинялся Дзержинскому, известному, между прочим, до революции гипнотизеру и медиуму. А Дзержинский, в свою очередь...

– Что значит «курировали»? – перебил Федор. История мистических исканий советских вождей не особенно его увлекала в силу своей высосанности из пальца, которым перед тем колупали в носу.

– Это в смысле контактировали. Хотя им, наверное, казалось, что они как раз его курируют. Бернгарт не был красным, его цели всего лишь чуть-чуть совпадали с интересами советской власти. Он позволял им честно заблуждаться насчет себя, а они были уверены, что позволяют ему всячески куролесить, пока идет война и на Алтае верховодят белые. Я думаю, именно так они говорили: «Пускай Бернгарт пока что куролесит, а потом мы его приструним».

Толик удовлетворенно улыбнулся, и Федор по его виду заключил, что прямо сейчас, у него на глазах было совершенно важное исследовательское открытие – биография Бернгарта заблестала новым поворотом мысли.

– Но с Бернгартом у них не получилось, тогда они поставили на Рериха. А у Рериха была только отрывочная информация от костромских староверов, и откуда начинать, он понятия не имел. Тогда ему устроили встречу в тюрьме с посвященным.

– Откуда вам знать, что Бернгарт был посвящен? – неприятным тоном экзаменатора спросил Федор. – И вообще – откуда сведения?

– Сведения надежные, – успокоил его Толик, – из достоверного источника.

При этом он так преданно посмотрел на рулившего Евгения Петровича, что Федор сразу догадался, кто этот достоверный источник.

– А, – многозначительно сказал он. – Ну и как, расколол Рерих посвященного?

Толик ударил рукой об руку, изобразив злорадную скабрёзность.

– Вот ему. Бернгарт чекистам ничего не сказал, а уж эти умели выпытывать. С профаном же ему вовсе скучно было разговаривать. Послал он Рериха далеко и надолго, вот и весь разговор. А тот взял и пошел далеко и надолго. Только не туда. Он из Уймонской долины отправился на Бухтарму. Там, в Бухтарме, у беглых и у кержаков было свое как бы Беловодье. Земля свободы и справедливости. Но к истинному Беловодью она, разумеется, не имеет отношения. Вот сравни – тень от яблока и само яблоко. Да?

– Ну, – неопределенно произнес Федор. – А где истинное?

Толик задумался, по-умному почесывая пальцем нос.

– Это нам пока неизвестно. Но имеется предположение, частично подтвержденное. Партизанская республика Бернгарта занимала весь южный Горный Алтай, от Белухи до Чихачева. А ставка у него, с середины девятнадцатого года, была в Курае, это немного выше по тракту. И последняя его база, когда он засел в горах и конфликтовал с советами – так называемый белобандитский мятеж, – была где-то здесь, на Курайском хребте. Это самый высокий на Алтае и самый красивый. Его называют «цветные горы» – из-за альпийских лугов. Видишь, сколько тут цветов. Через три недели будет еще больше. Рай для экспрессиониста. Или импрессиониста. Черт, все время их путаю.

Действительно, вокруг, в обе стороны от тропинки, волновалось море цветов самых разных форм и оттенков. Сравнить это можно было с гигантской клумбой, где гектар-другой засажен сине-голубыми цветами, соседний участок – ярко-оранжевыми, третий пурпурными и так далее. От богатства всех цветов радуги, раскрасивших луга, у Федора захватывало дух и возникало ощущение, что они каким-то образом и, естественно, совершенно незаслуженно вдруг попали в настоящий, когда-то потерянный рай, где Адам и Ева ходили нагими, никого этим не шокируя, и запросто разговаривали с Богом, что в общем тоже никого не удивляло в те блаженные времена.

Олежек возбужденно таращил глаза и, тыча пальцем, спрашивал:

– А эти как называются?..

Толик снисходительно ухмылялся и отвечал с видом ученого Паганеля:

– Эти синие – водосбор, по-латыни аквилегиус... Оранжевые – алтайские жарки, они же – азиатские купальницы... Ну, это фиалки... Первоцветы уже отцвели, они розовые. Примулы – те красные. Белые мелкие – дикая герань, покрупнее – ветреницы... Горечавка тоже синяя, вон она, мелкая... Змееголовники... Слушай, отстань от меня, нашел тоже ботаника.

Машина поднялась еще метров на сто по извилистой дороге. Впереди растеклось обширное стадо овец. Вместо пастуха и собак его сторожили три яка-бугая, заросшие мощной шерстью до самых бровей, из-за чего казались сильно насупленными.

– Летнее пастбище, – объяснил Толик. – Мы на высоте примерно двух с половиной километров над уровнем моря.

Федор посмотрел назад и едва не ахнул от поразившей его картины. Как на ладони, открывалась Курайская степь, пересеченная белой ниткой Чуи и рядом с ней темной – Чуйского тракта. За степью, как заградотряд, стояли, сомкнув ряды, снежные пики Северо-Чуйского хребта. «Красота в своем чистом, первозданном виде всегда изумляет», – подумал Федор, но почему она еще и тревожит, заставляет нервно трепетать нежную и тонкую струну где-то глубоко в душе? Он вспомнил рисунки Аглаи – в них были покой и умиротворение. А здесь совсем наоборот, величие недоступных гор словно бередило старую рану, полученную неизвестно когда и от чего, а может, и от кого. Но все же и в рисунках, и в гордой натуре ощущалось нечто очень близкое, родственное. Может быть, как раз то, что и там и здесь отсутствующий в пейзаже человек был смыслом существования этих бесконечно совершенных природных форм.

От таких мыслей Федора посетила легкая грусть, и прогонять ее от себя продолжением нелепого разговора о взаимоотношениях советской власти с красно-белым партизаном Бернгартом ему не хотелось.

Машина рассекла надвое неповоротливое стадо овец и под хмурыми взглядами яков двинулась по бездорожью вдоль хребта. Не проходило и минуты, чтобы они не ныряли в ложбины, пологие овраги и распадки, не объезжали крупные камни и взгорки. После нескольких километров тряской езды Федор начал ощущать неприятную пустоту в голове и тоску по ровной дороге. Внезапно путь преградила широкая крупно-каменистая осыпь, под которой звенел невидимый ручей. Толик принялся уверять, что переехать ее ничего не стоит, но Евгений Петрович не захотел рисковать своим железом и повернул на подъем. Машина пошла вдоль ручья, круто в гору, а через сотню метров стало ясно, что дальше на колесах не проехать – езда начинала напоминать экстремальный вид спорта. Евгений Петрович, вопреки от напряжения и ручного управления, загнал джип в овраг, заглушил двигатель и сказал:

– Ну все, теперь пешком.

Он уткнулся в карту, Олежек с Толиком, посвистывая, бодро взвалили на себя рюкзаки из багажника с продуктами и палаткой. Федор, разминая ноги, дошел до осыпи, перепрыгнул с камня на камень и сел на корточки, чтобы увидеть под валунами ручей. Но сколько ни вглядывался в темноту между камнями, заметил лишь неясное движение внизу. Вдруг рядом, почти что из-под ног раздалось тонкое недовольное верезжание, как если бы начал гневаться домашний кролик. Федор от неожиданности не удержал равновесие и завалился набок, цепляясь за камень. Сзади раздался хохот – Толик и Олежек потешались над его испугом. Федор поднялся на ноги, огляделся, но ругающегося существа не

обнаружил.

– Это пищуха, – разъяснил Толик, – размером чуть больше крысы. Их тут много.

Федор молча вытащил из машины свой рюкзак и осведомился у Попутчика:

– Камо грядеши?

Евгений Петрович дружелюбно посмотрел на него и сказал:

– Если уж вы решили перейти на старославянский, то следовало спросить «Камо грядем?» Без вас троих я, как вы понимаете, никуда не гряду. А идем мы туда.

Он показал рукой направление через ручей, параллельно горному хребту.

– За машину не боитесь?

– Здесь народу мало бывает, – сказал Толик. – Только пастухи.

– И медведи, – широко улыбнулся Олежек.

Перейдя каменный ручей, они зашагали по мелкотравью, местами сменявшемуся на ковыльный покров. Впереди и чуть внизу виднелся участок негустого кедрового леса. У самой границы его Федор заметил замершего лося, чутко и настороженно поведившего мордой. Уловив незнакомые запахи, зверь тряхнул головой с небольшими еще рогами и одним прыжком скрылся с глаз. Было жарко, несмотря на то что солнце закрывали облака, казавшиеся в горах очень близкими. Евгений Петрович со своей поклажей шел впереди, за ним трусили «беловодцы», тихо переговаривавшиеся. Федор двигался последним, рассеянно внимая окружающей красоте. Его интересовал вопрос, куда все-таки они идут и что ищут. Разумеется, не Беловодье было на уме у Попутчика. Может быть, размышлял Федор, он разыскивает ту самую базу Бернгарта, где тот скрывался от длинной руки советской власти. Возможно, Евгений Петрович надеялся найти там какие-то следы, знаки и шифры, в которых Бернгарт запечатлел свою тайну. Относительно же роли «беловодцев» в этом путешествии Федор не имел даже предположений. И сколько ни присматривался к Толику и Олежку, вывод был один: эти недотепы тоже не догадываются, для чего они понадобились своему «достоверному источнику». Слишком уж наивной была их уверенность, что в этом походе им откроются тайные пути, ведущие в сокровенную землю белых вод, заповедную страну мудрецов.

– ...Беловодье притягивает к себе имеющих духовную жажду, тех, кто неудовлетворен этим миром, профанной и пошлой реальностью.

– А? – Федор очнулся от своих мыслей. В глубокой задумчивости он не заметил, как Толик, повернувшись к нему, снова поднял излюбленную тему.

– Я говорю, человек однажды начинает осознавать себя ищущим, духовно жаждущим. Тогда он открывает свое сердце зову неведомого и стучится в двери сокровенного.

– Вот чего я не понимаю, – сказал Федор, – так это как он узнает, что стучит в двери Беловодья, а не, допустим, воображаемые двери женевского банка, где неким волшебным образом у него завелся солидный счет? – И пояснил: – Я это спрашиваю потому, что в некоторых случаях деньги, видимо, помогают унять духовную жажду.

– Ну, если ты так ставишь вопрос... – обиделся Толик. – На таком уровне я разговаривать не намерен.

– Он же не ищущий, а профан, – хмыкнул Олежек, обернувшись.

– Ладно, поставлю вопрос иначе, – уступил Федор, – на другом уровне. Откуда наш гипотетический ищущий знает, что это двери Беловодья, а не ворота, например, Асгарда? Или, уж не знаю, Царства небесного?

– Ну, это же просто, – сказал Толик. – Все религии мира имеют одну духовную

сущность, это всего лишь разные пути, расходящиеся из одной точки – точки сокровенного знания. Беловодье и есть эта точка. Беловодье – не религия, это извечная мудрость, в которой содержится истинная суть мира и природа вещей. Человек должен стремиться к совершенству, отринуть все земные цепи, тяготящие его, освободить свой дух, пробудить духовное око. Вот это все и есть – путь в Беловодье. Только ищущий войдет в него, а профана оно не пустит.

Федор сейчас же ощутил себя самым невежественным и бездуховным профаном, радуясь, что Беловодье не откроет ему свои двери.

– Чего ухмыляешься? – спросил Толик.

– Да так, вспомнил одну знакомую. Вот ты тут говорил о земных цепях и так далее, а она мечтает нарожать кучу детей и всю жизнь убирать лошадиный навоз. Странная, правда?

– Да уж. – Толик вдумчиво почесал нос. – Безнадежный случай. Но вообще... кто знает. Может, и она когда-нибудь пробудится от своего темного сна.

– А вот еще, – продолжал Федор, – один мой приятель очень сильно не любит п...ров. Ну просто с цепи срывается, когда видит их. Станный, да? Настолько не думать о духовном и циклиться на такой ерунде.

– Этому бы приятелю да в морду, – громко фыркнул Олежек.

– Духовная закрепощенность, – кивнул Толик. – Но это поправимо.

До леса оставалось совсем немного, когда Евгений Петрович остановился, обнаружив в земле дыру, похожую на заброшенную штольню. В поперечнике она была метров трех, а глубину Толик определил, бросив камень.

– Метров пять-шесть.

Евгений Петрович посветил в дыру фонариком.

– Там могут быть боковые ответвления, – сказал он и сбросил со спины рюкзак, достал веревку. Посмотрев на Олежека, протянул ему конец: – Давай.

Олежек, в восторге от предстоящего, быстро обвязался веревкой и полез в дыру.

– Что вы хотите там найти? – недоумевал Федор. – Пещеры?

– Вот именно, – отозвался Попутчик, стравливая помалу веревку. – Очень меня интересуют пещеры, – промурлыкал он себе под нос.

– Значит ли это, – поинтересовался Федор, – что вам неизвестна точная цель похода?

– Цель мне совершенно точно известна. Неизвестно, где она локализуется, – ответил Попутчик, чем внес еще больше неясности во все предприятие.

– Ладно, говорите загадками сколько вам хочется, – сказал Федор и растянулся на траве, – в конце концов все равно не скроете.

– Верно. Так что любуйтесь видами, Федор Михалыч, дышите горным воздухом и не мучайте себя ненужными мыслями.

Толик смотрел на них удивленно, будто не понимал, о чем речь. На лице его было явственно написано: какие виды и какой горный воздух, когда все помыслы должны быть о сокровенном.

– Я же профан, – снизошел до объяснений Федор.

Толик, немного помрачнев, отвернулся.

Из дыры показалась голова Олежека, счастливо улыбающегося.

– Совсем ничего, – доложил он.

– Первый блин комом, – сказал Федор и первым направился к кедровнику, надеясь спрятаться там от солнца. За ним потянулись остальные.

В лесу устроили привал с обедом, говорили о разной чепухе, а Толик и Олежек устроили погоню с воплями за выбежавшим из-под корней дерева зверьком. Толик кричал, что это соболь, но в конце концов загнанный в дупло зверь оказался колонком.

– Из его хвоста делают кисточки для художников, – гордо сообщил Толик, как будто сам работал на фабрике кисточек.

Глядя на этих клоунов, Федор все сильнее убеждался в том, что Евгений Петрович личность куда более загадочная, чем сам Бернгарт, посвященный в мистические расклады мира.

Когда снова тронулись в путь, он вспомнил:

– Кстати, о пещерах. Не в этих ли горах в прошлом году нашли тайное поселение кержаков с этими... молельными черными квадратами?

– В этих, – с явным удовольствием ответил Олежек.

– Я думаю, эти кержаки – последние хранители истинного эзотерического древлеправославия, – с мрачным торжеством в голосе произнес Толик. – Неудивительно, что они скрылись в глубине гор и не желают выдавать свои тайны.

– Ну, если так, полагаю, за ними начнут охоту, – сказал Федор.

– Кто? – возмутились оба «беловодца».

– Тот, кто осознал себя духовно жаждущим, но еще не отринул земных цепей, – с такой же вдохновенной мрачностью пояснил он. – А может, просто позарятся на старообрядские иконы. Если их отмыть от копоти – на мировых аукционах с руками рвать будут.

– Отмыть?! Уничтожить тайные знаки черных квадратов! – Эта мысль до того поразила Толика, что он на своих ногах-ходулях ушел далеко вперед и долго шагал в одиночестве – переживал.

До самого вечера продвигались по верхнему краю высокогорных лесов, то выходя на цветущие луга, то опять вовлекаясь в сосново-кедровую тайгу. Евгений Петрович время от времени брался за мощный бинокль и подолгу разглядывал окрестности. Федор в эти минуты передышки созерцал снежные вершины и очень надеялся, что туда Попутчик их не потащит.

До темноты успели разбить палатку недалеко от бурной речки, вздвнувшейся от таяния горных снегов.

– У меня такое чувство, будто я уже неделю брожу по этим горам, как лунатик, – сказал Федор после ужина. – И завтра будет то же самое, и послезавтра. А потом мы заблудимся и умрем с голоду.

– Неужели неясно, что я ищу знак? – вскипел Евгений Петрович, тоже раздосадованный впустую прошедшим днем.

– Ну хоть скажите, как он выглядит, – попросил Федор, – может, мы тоже его поищем.

– Представления не имею.

– Ясно. Найди то, не знаю что, – проворчал Федор, заполз в палатку и закутался в одеяло.

Рано утром его растормошил напуганный Олежек.

– Чего тебе? – недовольно спросил Федор, открыв глаза. У другой стенки палатки похрапывал Попутчик.

– Толик пропал, – выдавил Олежек. – Наверно, утонул. Там реку разнесло.

Федор перекатился к выходу из палатки и выглянул. Река стала в полтора раза шире и бурлила раза в два злее. Седая от ледяной мути вода пенилась, пузырилась, точно кипела. До

палатки ей оставалось не больше двух десятков метров, и расстояние на глазах сокращалось. Федор разбудил Евгения Петровича. Втроем впопыхах скомкали палатку, подхватили поклажу и перебрались подальше от разошедшегося не на шутку потока.

– Ну и где его искать? – кисло спросил Федор, сбросив на землю свой рюкзак и поклажу Толика. – Может, он в лес гулять пошел?

– Зачем? – бессмысленно таращился Олежек.

– Духовную жажду утолять, – процедил Федор.

Один Евгений Петрович проявлял хладнокровие. Не спеша повернувшись вокруг своей оси с биноклем у глаз, он сказал:

– Вещи оставим здесь, я пойду вверх по склону, Федор – спуститесь вниз вдоль реки, осмотрите берега. Ты, – он ткнул пальцем в Олежека, – походи по лесу, покричи, вдруг отзовется. Через час встречаемся здесь.

Они разошлись в стороны, но никаких следов Толика не обнаружили. Когда снова собрались, разделили между собой продукты, которые нес Толик, а вещи его взял Олежек.

– Оставь тут, – сказал ему Евгений Петрович, – твоему приятелю они уже вряд ли понадобятся.

– Я понесу, – заупрямился Олежек.

– Может, ему открылась дорога в Беловодье, – цинично хмыкнул Федор.

После унылого завтрака гуськом отправились в путь. Впрочем, унылым и квелым был только Олежек. Федор исподтишка наблюдал за Попутчиком. А тот обескураженным не выглядел, скорее наоборот. У Федора сложилось впечатление, будто Евгению Петровичу понравилось исчезновение Толика. Разумеется, он не показывал вида, и некоторую степень возбужденности можно было списать на чрезвычайное происшествие – если бы в ней не проглядывала чуточка азарта. Федор, однако, решил не придавать этому значения, чтобы не стать жертвой маниакальной идеи.

До середины дня они шагали по все тем же таежным перелескам и радужным альпийским лугам, иногда поднимались до каменистых взлобков, где царила скудная тундра с лишайниками и ползучим кустарником. Наконец забрели в кедровник, где решили передохнуть, и тут обнаружилась неприятность.

– А ведь мы были здесь вчера, – озираясь, немного нервно сказал Федор. – Я помню этот пенек.

– Точно, – изумленно подхватил Олежек, – там впереди та опушка, где вчера обедали. Потом мы с Толиком колонка ловили, – с грустью добавил он и пошел проверять, на месте ли опушка.

Федор повернулся к Попутчику.

– И как это понимать?

Евгений Петрович вполне искренне пожал плечами.

– Видимо, когда искали этого болвана Толика, потеряли ориентиры. – Он задумался, теребя ошестинившийся за сутки подбородок. – Ну правильно. Как же я упустил это? Вчера мы подошли к той реке с запада, а сегодня, – он посмотрел на солнце, – идем на восток. Нам надо было идти вверх по реке искать брод, чтобы перейти ее.

Федор тоже задумался о том, почему никто из троих не сообразил этого раньше. Какое-то затмение нашло на всех из-за сгинувшего без следа «беловодца».

Вернулся Олежек еще более унылый.

– Нашел, – вздохнул он.

– Ну, раз нашел, значит, судьба нам тут обедать, – решил Попугчик.

Пока на костре варился суп из консервов, Олежек неприкаянно слонялся вокруг, только что лбом о стволы кедров не стучал.

– Не нравится мне все это, – вдруг сказал он. В его круглых глазах стояло выражение ужаса.

– Что тебе не нравится? – спросил Федор.

– Тревожно как-то. – Олежек передернул плечами и, сев на гнилую корягу, затосковал.

– Это бывает, – успокоил его Евгений Петрович. – Накатит ни с того ни с сего, пятый угол начинаешь искать.

– Я думаю, тоска – это основное человеческое чувство, – молвил Федор. – Так сказать, фон, на котором появляются и исчезают все другие чувства.

– Вот только не надо экзистенциализма, – попросил Евгений Петрович. – Посреди природы это как-то неуместно и, кстати, неумно.

– Ну почему же, – возразил Федор, – как раз здесь, на природе, острее чувствуется некая странная ностальгия, не находите? Я бы сказал, тоска по утраченному раю, если бы верил в его существование.

– Отчего же не верить, – произнес Попугчик. – Все мы приходим в этот мир, покидая рай.

Федор удивленно посмотрел на него.

– И давно вы пришли к такому убеждению?

– Видите ли, Федор Михалыч, с того возраста, когда я перестал носить короткие штанишки, мне было известно, что человек является на свет из блаженства материнского чрева. И вся эта ваша тоска – обыкновенные перинатальные переживания.

– А вы не классифицируйте мою тоску, – обиделся Федор. – Это, знаете, проще всего.

Их разговор прервал громкий вопль. Они вскочили, оцепенело глядя, как на орущего Олежека идет в полный рост огромный бурый медведь.

– Беги, – крикнул Федор, отступая к костру.

В руке у Евгения Петровича появился пистолет, но стрелять он медлил. Медведь, словно заметив оружие, коротко взрыкнул, замотал косматой головой из стороны в сторону и в один момент очутился возле Олежека.

– Стреляйте! – бешено заорал Федор.

Зверь махнул лапами, сгреб Олежека в объятия и издал торжествующий рев.

– Стреляйте, черт вас дери!

Евгений Петрович растерянно поднимал и опускал пистолет. Его рука заметно дрожала. Федор вытащил из огня толстую горящую ветку, приготовился защищаться. Но медведь, заломав Олежека, спокойно обнюхал его, рыкнул напоследок и на четырех лапах потрусил прочь, вихляя задом.

Федор бросил головню в костер и угрожающе пошел на Евгения Петровича.

– Какого дьявола вы не стреляли, если у вас есть оружие? Вы могли спасти его!

Попугчик убрал пистолет в карман куртки и зло сказал:

– Я не снайпер. Мог попасть в мальчишку.

– Отдайте пистолет, – потребовал Федор. – Я не хочу быть следующим.

– Я тоже. А у вас нет разрешения на оружие.

Федор взорвался:

– Какого же черта вы говорили, что медведи нас не тронут? Что у них полно еды!

– Не порите чушь! – в ответ заорал Евгений Петрович. – Медведь его не съел. Это какой-то сбесившийся шатун, – сказал он уже нормальным голосом, отвернувшись к лесу.

– Идите к бесу, – устало ответил Федор и направился к окровавленному телу. – Вам, кажется, все равно, что из четверых за один день осталась только половина.

Он наклонился над Олежеком и убедился, что тот мертв – голова была неестественно вывернута.

– Надо его похоронить.

– Медведь может вернуться, – сказал Попутчик. – Лопаты нет.

Они оттащили труп в подлесок и забросали ветками. Федор потушил костер, Евгений Петрович снова перераспределил продуктовый груз – теперь уже на двоих и взял котелок с супом.

До вечера они пытались выйти к реке, у которой ночевали, но так и не нашли ее. Вместо этого каким-то образом оказались в поросшей редкими соснами седловине между горными пиками, которые высоко вздымались, точно стража у ворот. На коротком привале Федор взял бинокль и принялся рассматривать остроугольно-зубчатую вершину горы, иссеченную ледниковыми шрамами. Увеличенные и приближенные линзами скалы, покрытые небольшими шапками снега, имели красный оттенок и напоминали Федору об окровавленном мертвце, лежащем под ветками в кедровой тайге. Прогоняя эту страшную картину, он опустил бинокль ниже, на склон под седловиной. Там среди невысоких молодых сосен ему почудилось движение. Он повел биноклем чуть в сторону, увидел между стволами человеческую фигуру и пригляделся.

– Черт! – пораженно пробормотал он.

– Что там? – Евгений Петрович отобрал у него бинокль.

«Только этого не хватало, – подумал Федор с необыкновенной отрешенностью и сам же удивился ей. – Ну вот, кажется, у меня перегорели пробки и уже ничто не способно взволновать меня. Наверно, это и называется просветленным бесстрашием».

Внизу между соснами стояла девка в коричнево-зеленом плаще и со звериным взглядом. Ее красиво отточенное смугловатое лицо смотрело прямо на него, и через линзы бинокля она заглянула ему в глаза, в самую душу. В нем шевельнулось чувство угрозы, исходящей от девки, но подчиняться этому чувству он не хотел – напротив, ощущение опасности неожиданно стало источником странного удовольствия.

Евгений Петрович опустил бинокль и тоже с удовлетворением произнес:

– Нам туда.

– Это и есть ваш знак? – осенило Федора.

– Считайте, что да.

Подхватив рюкзаки, они почти бегом спустились по неровному склону. За полчаса преодолели расстояние до пригорка с соснами, откуда их поманила смуглолицая девка. Еще полчаса ушло на поиски ее самой или каких-либо следов. Затем Попутчик снова прилип к биноклю, а Федор сел в траве и стал думать о том, что никогда не сможет рассказать Аглае об этом походе в горы, потому что все это слишком пахнет мутным криминалом, для которого даже не изобрели еще статью в Уголовном кодексе. Хотя само появление в его голове этой мысли – рассказать Аглае – было поразительным. Чуть более месяца назад, уезжая из Москвы, он и представить себе не мог, что будет испытывать потребность в откровениях перед девушкой, которая к тому же младше его на четыре года.

– Ну что? – окликнул он Попутчика.

– Ничего. Пусто.

– Поматросила и бросила, – констатировал Федор, скидывая с плеч рюкзак. – Все, сегодня никуда больше не пойду.

Евгений Петрович согласился, что ночлег нужно устроить здесь же, авось утро вечера мудренее. Федор отыскал в траве две палочки, одну сломал пополам и предложил тянуть жребий.

– У кого короткая, тот дежурит первый.

– Не уверен, что это необходимо, – сказал Евгений Петрович.

– А не боитесь, что утром кого-нибудь из нас не обнаружится на месте?

– Не боюсь, – ответил Попутчик, вытянул длинную палочку и посоветовал: – Если не обнаружите себя на месте, покричите – я вас найду и спасу.

– Я так и думал. Те двое послужили чем-то вроде балласта, который выбрасывают за борт, а я, значит, еще для чего-то вам нужен.

– Вы полагаете, это был мой ручной дрессированный медведь?

Федор задумался.

– Нет. Но... Пока у меня нет на это ответа. Но я все равно докопаюсь.

Евгений Петрович похлопал его по плечу.

– Мой вам совет: не ищите в этом темной уголовщины. Вы же не Достоевский, хоть и Федор Михалыч.

– А все-таки вы плут, господин Попутчик, – сказал Федор. – Пистолет дадите?

– Нет.

– Ну и черт с вами.

Палатку разбирать не стали. Евгений Петрович устроил гнездо из одеял, а Федор занял пост, подперев спиной сосну. Половину ночи он добросовестно прокуковал, не смыкая глаз, затем разбудил Попутчика и занял его теплое место. Как только он задремал, Евгений Петрович соорудил постель из палатки и продолжил прерванный сон.

На следующий день поиски неизвестно чего продолжились. К вечеру они обнаружили, что сделали еще один круг, вернувшись к кедровому лесу, в середине которого в саване из веток лежал труп.

– Черти водят, – сказал Федор, постучав по стволу дерева и отступая назад от границы знакомого леса. – Чур меня.

– Здешние жители не любят открывать свои тайны, – задумчиво произнес Евгений Петрович.

– Какие еще жители? Медведи и барсуки?

– Обитатели пещер, – озираясь, деревянным голосом ответил Попутчик.

– Вы верите в подземную чудь? – с деланной насмешкой спросил Федор, чувствуя, что нервы его натянуты до предела. – Это всего лишь мифы.

– Никогда не стоит игнорировать мифы, запомните это, – произнес Евгений Петрович и добавил тише, так что Федор едва расслышал: – Они взяли свою цену, но почему кружат нас, как идиотов?

– А может, я им не нравлюсь? – с ненавистью проговорил Федор.

– Что? – Попутчик удивленно повернулся к нему.

– Так, ничего. Я возвращаюсь, а вы как хотите.

Он посмотрел вокруг, определяя направление, и решительно зашагал прочь.

– А я вас не отпускаю, – нелепо заявил Евгений Петрович, догоняя. – Думаете, найдете

путь? Как бы не так. Им что-то нужно от нас. Они так и будут отводить дорогу.

Федор остановился и зло произнес по слогам:

– Мне надоела вся эта чушь.

– Хорошо, – мирно проговорил Попутчик, – идите. Только я пойду с вами. Посмотрим, что вы скажете завтра.

Несколько километров они шли молча, отворачиваясь друг от друга. Федор с особенным вниманием следил за дорогой, запоминая расположение гор и очертания лесов ниже по склону. Когда начало темнеть, он выбрал для ночлега пространство между огромными, вросшими в землю кривобокими валунами, когда-то, видимо, скатившимися с горы. Несмотря на готический колорит нерукотворного «Стоунхенджа», здесь было уютно, тихо и как-то задумчиво. Федор ощутил ясное созвучие романтически-мрачного духа места с собственным настроением, в котором преобладали лермонтовско-демонические интонации. Это настолько воодушевляло, что он достал из рюкзака запасенную бутылку водки и предложил Попутчику распить ее в честь здешних гор, манящих своей невысказанностью и молчаливой таинственностью.

– Уберите, – ответил Евгений Петрович. – Они этого не любят.

– Ох, устал я от вас, – сказал Федор. – Не хотите как хотите. Мне больше достанется.

Он налил полный стакан и выпил.

– Слушайте, – продолжал он, – а вы ведь знаете эту вчерашнюю девку. Я тоже ее знаю.

Махнемся сведениями?

– А мне ваши сведения ни к чему. Я и без того знаю, что это она хотела снять с вас шкуру в поезде.

Федор онемел на долгую минуту, после чего сказал:

– А... ну да. И откуда?

– Тот карлик, что напал на вас, ее спутник. Я видел его вчера, вместе с ней.

Федор выпил еще стакан. Оттого, что нервы были напряжены, он быстро хмелел и опять с ненавистью смотрел на трезвого Попутчика, рассказывающего невероятно глупые и одновременно страшные вещи.

– А я вас раскусил, – прищурившись одним глазом, доложил Федор. – Вы мошенник, каких мало. Пожалуй, я вас убью и оставлю тут. Пускай ваш труп клюют вороны. Или едят медведи. – Он мстительно ухмыльнулся. – Думаете, я такой тупой, что ничего не понимаю? Вы ищете золото, которое оставил тут ваш Бернгарт, ч-черт его дери. Ну, он-то им Совдепию финансировал. А вот вы кого? – Он подумал, приложив палец ко лбу, затем сделал затяжной глоток прямо из горлышка. – Знаю. Золото вам – для американской благотворительности. Хотите оттяпать у нас Сибирь-матушку. А вот вам Сибирь. Вот вам ваши мистические линии.

Федор сложил дулю и показал Попутчику, выразительно пошевелив большим пальцем.

– Так и передайте им, мол, Федор Шергин вам, сволочи, этого сделать не даст. Никакого золота не получите. Аллес капут.

Он допил бутылку и швырнул ее в камень. Звон разбитого стекла прозвучал омерзительным диссонансом в тихом покое ночи, среди чутко дремлющих гор.

Евгений Петрович пошевелил веткой в слабеющем костре.

– Да, как говорится, устами пьяного... – произнес он, не завершив фразы.

– А кто вам сказал, что я пьян? – спросил Федор, повалился в траву и моментально заснул.

– Вы не только пьяны, милый мой, – сказал Евгений Петрович, – вы к тому же не умеете пить.

Федора разбудил безобразно нелепый сон, тут же превратившийся в не менее отвратительную явь. Он увидел над собой Попутчика с ножом в руке, примеривающегося для удара. Красноватые блики костра каждый миг неуловимо меняли его лицо, и казалось, что это спадают одна за другой маски и из-под них вот-вот явится то настоящее, что обычно называют потемками души. «Странно, что в такой момент приходят настолько посторонние мысли», – подумал Федор, резко перекатываясь в сторону и вскакивая на ноги.

– Ну вот и сон в руку, – сказал он, имея в виду ту давнюю уже ночь в поезде. – Просто удивительно, как тасуются карты.

Евгений Петрович сделал шаг вперед с одновременным выпадом, но Федор успел отшатнуться и отступить по ту сторону костра.

– Эй, вы поосторожнее, – крикнул он, ощущая в себе сильный, почти что щекочущий задор, – так же и убить можно.

Попутчик сделал еще попытку, столь же безуспешную. Федор вытанцовывал вокруг костра, как шаман на камлании, и, изловчившись, вытянул из огня длинную горящую головню. Размахивая ею перед собой, как флагом, он тихо засмеялся.

– Скажите, ваша фамилия случайно не Харон? Ловко вы помогаете переправляться на тот свет. Как же я сразу не догадался, что вы банальный маньяк. Ну, правда, с фантазией. Настоящий сказочник. Братья Гримм в комплекте.

Перед горящей палицей Федора Попутчик отходил все дальше от костра, к валунам, возвышавшимся на человеческий рост.

– Я ошибся, взяв тебя, – проговорил он угрюмо. – Ты чем-то мешаешь им.

– Им? – переспросил Федор. – Ах да, им. Вашим пещерным. До чего ж вы упертый маньяк. Бросьте нож, вам говорят. Кстати, где же ваш пистолет? Наверно, остался в рюкзаке. Какая незадача.

Попутчик отступил в промежуток между камнями и на миг скрылся из вида. Федор ринулся за ним и, не рассчитав, ткнул факелом в лицо Евгению Петровичу. Раздался вскрик, затем Попутчик несуразно взмахнул руками, снова пропал, а голос его ухнул вниз и резко оборвался.

Федор удивленно замер. На такое развитие событий он не рассчитывал и даже немного испугался собственного участия в этом. Впереди каменистая площадка круто, почти отвесно уходила из-под ног. Трещина в земле была неширокой и неглубокой, но на дне ее лежал мертвец с явственно сломанной шеей. Федор долго стоял у края расселины, пытаясь вызвать в себе осознание того, что он убил человека, и связанную с этим гамму противоречивых чувств. Однако ни осознание, ни гамма чувств отчего-то к нему не являлись, вынуждая в тупом отсутствии мыслей вглядываться в полутьму обрыва. Из оцепенения его вывел слабый шорох, доносившийся снизу. Федор посветил факелом, вдруг представив, как по отвесной скале медленно взбирается мертвец. Однако реальность, как всегда, превзошла ожидания. В ногах трупа он увидел какое-то копошащееся существо. Сперва показалось, что это зверь, но через секунду существо подняло морду и посмотрело на Федора. Морда оказалась уродливым человеческим лицом, а существо – карликом в черной одежде.

Сильно вздрогнув, Федор бросил в него факелом и торопливо вернулся к костру. В спешке обшарил рюкзак Попутчика, нашел пистолет и бинокль. Затем схватил свой рюкзак и, нервно целя оружием в окружающее пространство, быстро зашагал прочь.

Утром, проспав часа два на открытом лугу, Федор понял, что окончательно заблудился. Горы обступали с трех сторон, компаса не было, солнце закрывала скомканная грязно-белая простыня облаков. К тому же посыпал мелкий колючий снег. Федору, грустно глядевшему на яркие цветы вокруг и на высокие заоблачные горы, стали необычайно близки переживания Дюймовочки, которые маркиз де Сад с особым цинизмом назвал бы злоключениями добродетели. Федор, правда, не считал себя кладезем добродетели, но и к такому подлому обману не был готов, отправляясь в этот поход. Его облапошил и задурил Попутчик, темные духи гор гоняли их по кругу, а цветы на лугу, доверчиво подставляющие свои нежные головки холодному снегу, вовсе казались оптической иллюзией.

Федор шел наугад, пробираясь по узкому, изломанному распадку. Частые камнепады образовали мощное нагромождение валунов, похожее на руины исполинского замка, в котором жили древние батыры со своими богатырскими женами. Снег быстро прекратился, облака разошлись, цепляясь за зубцы гор, нахлобучиваясь на высокие пики белыми барашковыми шапками. Открывшееся солнце висело прямо над головой, и Федор долго мучился, пытаясь правильно встать к нему спиной, чтобы узнать, где север. Наконец он определил, что идет строго на юг, поперек хребта, а то, что он принимал за облачную дымку впереди, превратилось в снежный гребень гор. Он немедленно развернулся и зашагал в обратную сторону, но на всякий случай решил применить способ ориентирования из школьного учебника: пологий склон муравейной кучи должен быть обращен к югу. Проверка дала ненормальный результат – северные склоны гор полого тянулись вдаль, а дальние южные были, похоже, отвесные.

Это было чересчур для измученной души Федора. Он сел на валун и сосредоточился в поисках ошибки. Взгляд его упал на горный склон впереди. На небольшой высоте среди скал вилась тонкая струйка белесого дыма. Федор схватил бинокль, навел и увидел человека, стоящего спиной к нему на выступе горы. Очевидно, карниз давал достаточно места, чтобы разводить там огонь. Кто это был, туристы или скалолазы, не имело значения, и те и другие могли стать спасением. Федор запомнил расположение выступа и быстрым шагом двинулся вперед, время от времени поднимая к глазам бинокль. Скоро начался крутой подъем, травяной покров стал как дырявый ковер, затем ковер истерся совсем. Среди карликовых берез и ив каменистый склон пятнали разноцветные лишайники, стелился кустарник. Из-под ног вылетали мелкие осколки, сбрасывая Федора на шаг или два. Лишайники будто плесень легко сдирались с поверхности под его тяжестью, и он опять скользил вниз.

Около часа ушло на подъем. Со сбившимся дыханием он перевалился через край выступа и разочарованно распластался на скале: в кострище прогорали последние угли, людей не было. Отдышавшись, Федор подошел к другому краю выступа и далеко внизу рассмотрел несколько крошечных фигурок, идущих гуськом. В бинокль он увидел на плечах у трех из них короткоствольные автоматы. В руках они несли две большие сумки. Поразмывшая, Федор решил не догонять их. Он осмотрел весь карниз и заметил подробность, ранее ускользнувшую от внимания: в стене скалы был узкий разлом. Обмирая от догадки, что внутри горы оборудован браконьерский склад, Федор включил фонарь и забрался в пещеру.

Проход, в котором едва мог развернуться человек, тянулся на десяток метров, понижаясь. Затем он стал расширяться, и луч фонаря свободно заскользил по стенкам пещеры. Федор продвинулся еще немного вглубь. Туннель превратился в большой зал с высоким потолком и крошечным озерцом. Сверху в него звучно капало, от этого на воде

толкались друг с дружкой круги. В пещере застоялся сладковато-гнилой неприятный запах. Федор прошелся лучом по замшелым стенам – кое-где на них проступали рисунки, сделанные черным. Они напоминали пиктограммы, но были слишком мудрены, чтобы принадлежать охотникам каменного века. Федор поскреб пальцем один из значков и убедился, что рисовали углем.

Росписи поставили его в тупик. Пещера Али-бабы оказалась тайным капищем, где справляли духовную нужду вооруженные автоматами браконьеры. «Это настолько эзотерично, что не лезет ни в какие ворота», – подумал Федор.

Луч фонаря упал вниз, высветив горку костей и трухлявые шкуры. Кости были похожи на человеческие.

Он выбрал один из двух широких ходов, ведущих дальше, прошел несколько метров и наткнулся на мертво лежащего человека. Но поражал не столько труп, сколько одежда покойника, сшитая целиком из шкур. Длинные волосы мертвеца были собраны сзади в хвост, борода спускалась до пояса. На меховой куртке запеклась кровь. Посветив вперед, Федор увидел второго мертвеца, привалившегося к стене. Одет он был в точности как первый, а бороду отрастил еще ниже. Запах сделался сильнее, но шел не от трупов – покойниками эти бородачи стали всего час или два назад.

Быстрым шагом Федор вернулся к озерцу, сел, попробовал воду – от нее ничем не пахло. Умывшись, он стал думать. Слишком неожиданно было очутиться в той самой кержачьей пещере, обнаруженной «беловодцами». И совсем уж дико – осознавать, что собственные слова об охоте на старообрядцев так скоро обретут воплощение. В сумках бандиты, разумеется, уносили кержацкие иконы – покрытые многолетней копотью «черные квадраты». А тайные знаки остались только на стенах. Федор вдруг подумал, что это охранные заклинания, намалеванные пещерными жителями после прошлогоднего визита «беловодцев». «Не сработало», – заключил он.

Позади послышались неясные звуки. Федор стремительно вскочил, нацелил фонарь на противоположную стену. Там шевелилась и издавала жалобные стоны груда тряпья.

– У-бе-ри све-ет, – проблеяла груда, поднимаясь.

Федор подошел ближе, направляя луч в сторону. Сбросив маскировочную рванину, перед ним возник косматый старик в драной дерюге, сморщенный, как сухофрукт. Он беспрерывно моргал слезящимися глазами и загоразивался от фонаря дрожащей растопыренной пятерней.

– Ты никак местный, дедушка? – с интересом спросил Федор, стараясь быть дружелюбным.

– Здеся живу, – прошамкал старик. – Никак не помру. А может, ты меня того?.. Всех-то постреляли. – Он кивнул на туннели. – Уж думал, ушли. Еще думал – зря сховался, от смерти опять сбег. А ты вот остался. Чего так?

– Я не с ними, – Федор помотал головой. – А тебе, дедушка, сколько же лет? Больно ты древний, как я погляжу. С позапрошлого века живешь?

– Век нынче не знаю какой, – слезливо ответил старик, садясь у стены на рванину. – И годов сколь, не знаю. А власть-то какая теперь?

– Власть-то? Да как тебе сказать, дедушка, – задумался Федор. – До антихриста дело не дошло пока.

– Тьфу, – еще больше сморщился старик, – нужен мне твой антихрист. Столбоверы плешь проели антихристом. – Он ткнул корявым пальцем вглубь пещеры. – Ты бы мне по-

человечески сказал, красные или белые у власти, а?

– Да не красные и не белые. Сейчас в основном, дедушка, серые.

– Это кто ж такие, не знаю, – поджал губы старик. – Анархисты, что ль? Война-то чем кончилась?

– Гражданская? Так она не кончилась, – заверил Федор и прибавил скорее для себя: – Поскольку дело ее живет, и мистические линии все никак не завяжутся в бантик... Словом, тендер на власть выиграла Антанта.

– Ну-у? – не поверил старик. – Это что ж теперь с Расеей?

– Бардак, дедушка, – серьезно сказал Федор. – А сам-то ты не кержак, выходит?

– Я-то? А кто ж я, ежели от истинной веры отпал и столбоверскую ересь по доброй воле принял? – прокряхтел старик, опять поднимаясь. – Кержак и есть. С самого девятнадцатого году, как с ними обосновался.

– Может, ты и партизанил тут? – боясь верить в удачу, спросил Федор.

– Нам партизанить ни к чему, – чуть более твердым голосом проговорил старик, оправляя на себе рубище, словно полузабытым армейским движением одернул мундир, – партизан у нас к стенке ставили без лишних разговоров. Имею представиться, – вдруг выкрикнул он, сделав навывкат мокрые глаза, – ротмистр Отдельного Барнаульского сводного полка Плеснев.

Он попытался отдать честь, но на голове у него ничего не было, кроме спутанных колтунов, и рука безвольно упала. Старик привалился к стене пещеры и, тихо скуля, заплакал горькими слезами.

По улицам Староуральской рабочей слободы сизыми ключьями плыл октябрьский туман, словно бесшумными тенями пробирался в тыл передовых частей вражеский разъезд. Весь день с рассвета крапал нудный дождь, а перед закатом солнце, на минуту протянувшее луч сквозь облака, окрасило сырой воздух бледной шизофренической желтизной. Время от времени начинавшиеся перестрелки тоже были похожи на редкую огнестрельную морось. Воевать в столь унылую погоду никому толком не хотелось, несмотря на решительные настроения командования и грандиозность полководческих замыслов.

К сумеркам в крайнюю халупу у околицы набилось с десятков офицеров из разных рот. Каждый приносил с улицы облако пара, большое количество воды, стекавшей в лужи на полу с сапог и пропитавшихся сыростью шинелей, а кроме этого, ворчливый задор или злую хандру – в зависимости от характера. Разоблачась и стряхнувшись, первым делом требовали горячего чая. Хозяйка, пышная румяная баба, суетливо грела самовар и застенчиво прятала глаза в пол, а руки под фартук. Помимо пустого бледного чая и мелкой вареной картошки, выставлять на стол было нечего. Возле окна старый дед подслеповато ковырял шилом в драном сапоге. На печи шушукались две девчонки, робко поглядывали на гостей. Муж хозяйки, по ее уверениям, ушел летом воевать.

– Ну и с кем он воюет? – спросили ее.

– Дак мне ж откуда знать, – не поднимая глаз, ответила хозяйка. – Сказал, мол, там видно будет, за большаков али за старый режим кровь проливать.

– Малахольный, дурь из башки не выветрела, – стал ругаться дед. – За старый режим ему, вишь, кровь проливать.

Дедом заинтересовались. Хозяйка испуганно всплеснула руками:

– Да не слушайте ж его, старый, что малый – чепуху мелет.

– Я тебе не малый, – дед пристукнул кулаком по колену, – я голова в доме. Мне не перечь, дура.

– Ты, старик, за красных, что ли, агитируешь? – нехорошим тоном осведомились у него. – И многих наагитировал уже?

– Может, и за красных, – проворчал дед. – Али не за красных.

– Нет уж ты определенной выскажись, старый хрыч. Нам знать надо, тратить на тебя пулю или погодить пока.

Теперь на деда наседали все, желая прояснить его политическое кредо. Один капитан Шергин спокойно пил чай, не вмешиваясь. Хозяйка готова была упасть на колени, но не разумела, кто из офицеров старший и кого, следовательно, умолять.

– Да вы, вашбродия, небось, и не слыхали про Беловодье? – степенно произнес старик, отложив сапог и шило.

– Ты нам зубы не заговаривай, отвечай прямо, скотина, – прикрикнули на него.

Девчонки на печке забились подальше и стихли.

– А я, вашбродие, не скотина, это уж вы зря. Бог скотину сотворил отдельно от человека. Люди мы маленькие, это верно, зато мудрость имеем. Она нам от гор досталась: праотцами добыта, а нами схоронена.

– Ишь ты, царь Соломон отыскался. Ну выкладывай свою мудрость, а не то уже руки чешутся тебя как большевистского агента разоблачить.

– Ну, слушайте, коли охота есть. Давно это было, когда еще Русь на Камень не пришла, но уже заглядывалась на тутошные края. А жил здесь в ту пору народ, умелый в горном деле, молоточками кузнечными день и ночь тюкал, руду долбил, камушки самоцветные на радость себе собирал. Горы они ведь как? Если с ними по-плохому, они нутро свое затворят и ничего в них не сыщешь, ни жилки рудной, ни камушка самого мелкого. Ну а ежели по добру, так и они добром отплатят: пещеры подземные отворят, на жилу богатую наведут, все тайны земли откроют, во как.

Девчонки на печи снова подползли к краю и внимали, разинув рты. Господа офицеры, хоть и ухмылялись, но тоже заслушались деда-сказочника, будто даже забыв о его неясной политической окраске. Один капитан Шергин, поглядывая на часы, спокойно продолжал пить чай с вареной картошкой.

– Вот народ этот и накопил знаний тайных, секретов горных да сокровищ неописуемых. А как Русь на Камень совсем собралась прийти, так они не захотели русскому царю кланяться да в холопы идти. Скрылись под землю вместе с сокровищами, в пещеры, и входы камнями завалили. Так их и прозвали с тех пор – чудью подземной. А из тех пещер они ходы прорыли на многие версты и так до Беловодья добрались. Ну а на Камне, в горах наших, оставили вроде как сторожа на сокровища – девицу, собой пригожую, черноглазую, а силищи такой, что троим мужикам не сладить.

– А что, пытались сладить? – веселее заушмылялись господа офицеры.

– Девица-то заговоренная, вдруг объявится, а вдруг пропадет. Кто ей по сердцу будет, тому она и вешку над жилой поставит, и камушек где надо под ноги бросит. А может и в пещеры к своим дорогу показать – это ежели человек хороший да со смыслом и с удачей. В старые годы иные праотцы наши попадали в те пещеры и там про Беловодье узнали – мол, есть неведомая земля счастья, святое место. Текут там реки белые, как молоко, а царей и бояр вовсе нет, воровства и тяжб, и прочего злонамерения не бывает. Суд и управу делают все вместе кто там живет, а наилучших избирают, чтоб за справедливостью глядели. Всякие там земные плоды в изобилии, и хлеб щедро родится, и эта... ягода-ананас. А золота и серебра, и разных самоцветов там не считают даже.

– Молочные реки, кисельные берега, – молвил Шергин, напившись наконец чаю и перекатывая в зубах спичку. – Где ж такое место на грешной земле?

– Идти туда далёко, вашбродие. Труден путь в Беловодье, погибель легче сыскать. Но ежели душа не ослабнет, тогда дойдешь. Наши праотцы по три года хаживали до святого места, много чудес про него рассказывали. А остаться им там не позволили, рано, говорят, не доспело время. Вот когда доспеет, тогда Беловодье само себя откроет и научит всех по справедливости жить. Но это не прежде будет, как царя и помещиков не станет. Вот и понимайте, вашбродия, при старом-то режиме Беловодье не объявится.

Старик поставил точку в рассказе и опять взялся за латанье сапога.

– Ну, мы тебя, старик, выслушали, – говорят ему господа офицеры, осерчав, – теперь становись-ка к стенке, стрелять тебя будем за то, что ты красная сволочь и большевистскую пропаганду ведешь.

– Оставьте его, – вдруг сказал Шергин и подошел к деду, встал над ним, помолчал, а потом спросил: – Ну а что же чудь подземная?

– А что чудь? – слабым голосом проговорил дед, не поднимая головы. – Чудь молоточками в пещерах тюкает, ключи счастья кует для народа. Царя вот уж нету, вашбродие, – еще тише произнес он.

Шергин вернулся на место, сел.

– Оставьте его, господа, – повторил он. – Не видите разве, этот старик безумен.

«Да и вся Русь безумна, – в мыслях продолжил он, – а мы как раз пытаемся помешать ей ставить саму себя к стенке. Как это ни дико».

– Я предлагаю обсудить другую тему, – негромко заговорил он, остановившись взглядом в одной точке. – Вы знаете, в армии Белого движения вброшен лозунг «за единую и неделимую», имея в виду, конечно, Россию. Но, как вы, вероятно, догадываетесь, заимствован он, с чьей-то нелегкой руки, из арсенала французской революции восемнадцатого века, казнившей сначала коронованных особ, а затем пожравшей собственных детей. Подумайте, господа, нам ли, русским дворянам и офицерам, добрым христианам, воевать под этим знаменем, напитанным кровью царей?.. Почему нас заставляют отказаться от простой и четкой формулы «За веру, царя и отечество», многие века вдохновлявшей русское войско?.. Подумайте, господа, не есть ли это убогое политиканство предательским по отношению к России и ее священным основам?

Но даже думать в этот выморочный осенний день, как и воевать, никому не хотелось.

– Эх, сейчас бы цыган да шампанского рекой, – вслух возмечтал восемнадцатилетний прапорщик Сережа Ряпушкин, несколько месяцев безуспешно отращивавший усы.

– Говорят, адмирал Колчак приехал на днях в Омск, – поддержал беседу поручик Матиссен. – Директория предложила ему место в правительстве. Я, разумеется, не думаю, что его удовлетворит *одно из мест* в правительстве. Не такой это человек.

– Ставлю свои золотые часы – его терпению придет конец не позднее января, – подхватил подпоручик Елизаров, выкладывая на стол часы с цепочкой, прежде игравшие мелодию «Герцог Мальбрук в поход собрался», но совсем недавно простудившиеся под дождем и потерявшие голос. – Кто хочет пари?

Пари никто не хотел – адмирал Колчак был знаменит военной удачей и жесткостью характера. Того и другого с очевидностью не хватало министрам Уфимской директории, малозначительным, ничем себя не прославившим сошкам из эсеров. Красные, перейдя в наступление, отвоевывали Поволжье и уже примеривались к Уралу. Глядя на их успехи, Директория не придумала ничего лучшего, как сбежать из Уфы в Омск.

– Адмирал Колчак – честный русский патриот и человек долга, – подвел итог молчания поручик Матиссен. – Можете забрать часы, Елизаров.

– Эх, сейчас бы в Москву. Хоть раз пройтись по Тверскому бульвару, – тосковал Ряпушкин. – А то сидим в болотах, а вокруг дремучие леса. Вы, господа, не подумайте, что я нюни распустил. Но все-таки... Господи, до чего же я ненавижу большевиков! До чего же больно за Россию. Ведь, я думаю, и Тверской бульвар теперь испохаблен комиссарами. И Москва вся в красных тряпках, а по улицам разная сволочь разгуливает.

– Даст Бог, скоро увидим, – ободрил его поручик Носович. – У генерала Болдырева, слышно, амбициозные планы. Он хочет первым ударить на Москву, чтобы получить контроль над всей Россией, опередить Деникина, пока тот застрял на юге.

– Откуда информация, поручик? – осведомился Шергин.

– Одна сорока наболтала, Петр Николаевич, – осклабился Носович. – Наша Екатеринбургская группа будет участвовать в прорыве на Пермь и Вятку. Оттуда на Котлас для соединения с Северной армией и союзными частями генерала Айронсайда. А затем, господа, как любили приговаривать три сестры, в Москву, в Москву.

– Не порвать бы генералу Болдыреву штаны при таком размашистом шаге, –

скептически двинул бровями Матиссен. – Война конкуренции между своими не терпит.

– А мне сегодня, господа, приснился ужасный сон, – поделился прапорщик Худяков, юноша субличного вида, имеющий привычку нервно грызть ногти. – Ко мне во сне покойный государь приходил. Весь в крови, бледный и молитву шепчет, а из глаз слезы текут. Потом посмотрел на меня этак душераздирающе и говорит: скажи, мол, пастырям – пусть служат братскую панихиду по всем убиенным на поле брани за веру отеческую и за меня, принявшего мученическую смерть. Еще говорит: могилы моей не ищите, трудно ее найти.

Звонко хлопнулась тарелка, в страхе выроненная хозяйкой. Торопливо крестясь, она встала на колени собирать в подол черепки. Осенились крестом и остальные.

– Да ее же совсем будто не ищут, – помрачнел Елизаров.

...Екатеринбург в середине октября приветствовал Шергина мягким солнечным светом и бесшумным фейерверком красочного листопада, словно радуясь новой встрече. С вокзала, отпросившись в полку, только что прибывшим из Сибири, он направился в городской окружной суд, к следователю Сергееву. Этот человек был назначен расследовать убийство царской семьи, совершенное большевиками тайно, со всеми хитроумными предосторожностями, и за три месяца обросшее с помощью самих же убийц всевозможными мифами. Капитана Шергина никто не приглашал в свидетели, более того, некому было и догадываться о его причастности к последним неделям жизни бывшего императора. Разумеется, он не собирался предъявлять следователю послание саровского святого, оно ничего не прояснило бы в деле. Чем дальше, тем более он укреплялся в мысли, что огласка этого письма в ближайшее время невозможна. До тех пор по крайней мере, пока по России мечется одержимое бесами стадо свиней. Христос запретил метать перед свиньями драгоценный бисер.

Следователь Сергеев принял его, выслушал, нетерпеливо теребя в пальцах карандаш, задал пару незначительных вопросов и наконец сказал:

– Все это, без сомнения, представляет интерес... но лишь для истории. Как видите, я не вызвал секретаря, и ваш рассказ остался без записи. Поверьте, вам лучше не вмешиваться в это дело и не предавать гласности ничего из того, что вы поведали мне.

– Могу я узнать почему? – спросил Шергин, совершенно не намереваясь настаивать на своем.

– Можете, конечно. Я объясню. Видите ли, господин капитан, в большевистских заявлениях по поводу казни бывшего государя звучала мысль, что советская власть вынуждена была пойти на этот шаг из-за угрозы заговоров, имевших целью освобождение Романовых. За два с лишним месяца я уже наслушался самых невероятных историй, вы их себе и представить не можете. Об аэропланах с белогвардейскими агентами, прилетавшими, чтобы похитить царя. О лазутчиках, проникавших якобы в дом, где содержались пленники. О подкопе, случайно обнаруженном охранниками. Ну и тому подобная чепуха. Вы понимаете – если будут обнародованы ваши показания, вся эта чушь станет правдой. Убийство бывшего императора, «коронованного палача», как его называют красные, получит политическое оправдание, даст козырь им в руки.

– Вы полагаете, убийство венчанной на царство особы может иметь какие-то оправдания? – холодно поинтересовался Шергин. – А разве неясно, что комиссары и без всякого оправдания уничтожили бы их?

– Может, это покажется вам странным, – резиново улыбнулся Сергеев, – но красные

очень стараются соблюдать хотя бы видимость собственной правоты и чистоты своих действий. Они ведь прекрасно осведомлены об истинном отношении к ним народа и весьма его боятся. Поэтому и распространяют через своих агентов все эти нелепицы. До сих пор еще они уверяют, что казнен лишь Николай Романов, остальные члены семьи якобы спрятаны в надежном месте.

– Почему же вы не развеете эту ложь? – Шергин тяжелым взглядом буравил следователя. – Если не ошибаюсь, в деле имеются показания крестьян, обнаруживших на месте сожжения тел женские драгоценности? Об этом писали в газетах. И потом, почему вы не огласите сведения о безусловной причастности жидов к убийству императора?

– Вы заблуждаетесь, господин капитан, об участии евреев в этом деле нет никаких сведений. Предварительное следствие установило полное отсутствие еврейского элемента.

– Да нет же, это вы заблуждаетесь, господин следователь, не знаю, из каких побуждений. Неужели страха ради иудейска?

– Что касается другого вашего вопроса, – Сергеев проигнорировал выпад, – то вести следствие в лесу, на месте уничтожения тел, мне не представляется возможным. Вот именно эти слухи о драгоценностях привлекают туда во множестве бродяг и прочих темных личностей. Оказаться их жертвой мне бы не хотелось, как вы понимаете.

– Да вы в своем ли уме? – изумился Шергин. – Что за трагифарс вы разыгрываете? Убийство городского пристава расследовали бы тщательнее, чем вы – избиение царской семьи.

Сергеев невозмутимо поднял указательный палец:

– Вот именно – царской семьи. Это дело требует всей возможной политической тонкости. Ни в коем случае нельзя торопиться с выводами. У вас ко мне все, господин капитан? Я, видите ли, не располагаю более временем.

– Нет, не все. Я бы желал взглянуть на комнаты, где содержали пленников и где их убивали. Дом, вероятно, опечатан?

Сергеев наморщил лоб и метнул в Шергина колючий взгляд.

– А на каком основании, позвольте спросить?

– На основании того, – медленно проговорил тот, – что я могу сейчас привести сюда одну из моих рот, в которой, будьте уверены, много людей, свято чтущих память государя, и знаете, что они с вами сделают? Они вымажут вас сначала в дегте, потом вывалят в перьях и проведут по всему городу, а встречным будут объяснять, что вы агент жидовско-большевистского влияния и намеренно скрываете факты убийства царской семьи.

– Вы этого не сделаете, – улыбнулся Сергеев, но взгляд его из колючего стал пустым и темным, как высохший колодец. – А впрочем, не будем заострять. Я открою вам подвальную комнату, где была совершена казнь. Жилые же помещения во втором этаже, увы, более не находятся в распоряжении следствия.

– А в чьем распоряжении они находятся? – опешил капитан.

– Весь второй этаж дома занят под квартиру командующего екатеринбургским фронтом генерала Гайды и его штаб. – Сергеев подхихикнул в кулак. – От меня на днях требовали выдать на это разрешение, и, как у вас, военных, принято, мое согласие или несогласие не играло никакого значения. Категорический приказ генерала – и точка. Судебные власти бессильны перед вооруженным натиском.

– Однако, – качнул головой Шергин, – это уже просто неприлично.

– Не то слово, господин капитан. – Сергеев вновь разразился хихиканьем. – Мы

вынуждены были составить протокол противоправного действия. Но, боюсь, толку от этого мало... Так вы желаете посетить печальный дом прямо сегодня?

– Прямо сейчас.

На Вознесенской площади все оставалось как будто без перемен. Но при взгляде на особняк инженера Ипатьева у Шергина появилось чувство пустоты в душе, как бывает после выноса покойника из дома. Второй забор вокруг бывшей тюрьмы снесли, окна, прежде замазанные известкой, отмыли. Напротив церкви, у входа во второй этаж дома зевал во всю ивановскую часовой. Следователь повел Шергина в переулок, к двери нижнего этажа, отворил ее ключом.

Шагая по передней, затем полутемным коридором, он давал комментарии:

– В расстрельной комнате красные хотели скрыть следы, но не очень-то, как видно, старались. Картину убийства удалось восстановить почти полностью.

Сергеев снял с замка бумагу в печатях и открыл дверь небольшого помещения с окном, забранным решеткой, и низким потолком. Сам остался в коридоре. Шергин, встав посреди комнаты и закрыв глаза, попытался представить, как все было. Около десятка пленников, выведенных посреди ночи в подвал, вероятно, с фальшивым объяснением. Верные себе красные изуверы должны были лгать до самого конца. Ложью пропитаны их души и все их действия, настолько, что они боятся говорить правду даже самим себе. Столько же человек убийц с револьверами в двух шагах от пленников – большего не позволяли размеры комнаты. И что-нибудь громко-трескучее вроде: «Именем революционного трибунала...» Или совсем будничное: «Сейчас мы будем убивать вас».

Шергину почудился запах крови, он услышал женские крики, стон раненых. Стреляли много, стена и паркет были усеяны пулевыми отверстиями. Добивали штыками, пронзая насквозь, даже в обоях остались разрезы. Повсюду глаз наткался на плохо замывшие пятна крови, разводы от мокрых тряпок. Справа от входа на обоях была надпись. Подойдя, он прочел на немецком: «Этой ночью Валтасар был убит своими слугами». С чувством безразличного гнева узнал строчку из Гейне. Эту надпись оставил человек, получивший, безусловно, хорошее образование. В имени Belsazer он изменил последний слог на «tzar», выдавая свою патологическую ненависть. Очевидным было и то, что сам себя к слугам царя, пусть и бывшим, он не относил. Откуда среди палачей мог взяться такой человек? – размышлял Шергин. Это не рядовой исполнитель, он лишь засвидетельствовал факт свершившегося. При этом, намекая на библейское событие, придавал убийству не примитивно политический смысл, а значение возмездия. Даже не человеческой мести, а воздаяния от бога. Придя к этой мысли, Шергин уже не сомневался, что надпись сделана рукой жида. Евреи от имени своего талмудического бога мстили русскому престолу. Это было не просто уничтожение людей, а ритуальное действие поругания.

На другой стене у окна чернилами были начертаны секретные знаки. Их оккультное, вероятно, каббалистическое происхождение также не вызывало сомнения. Казалось бы, к вездесущему присутствию адептов тайных еврейско-масонских обществ можно было уже привыкнуть. И даже не удивляться тому, что все революции в России, случившиеся не без глубокого участия этих обществ, со штаб-квартирами в Европе, глумливо названы русскими. Но и на этот раз Шергин снова испытал острый приступ тошнотворного омерзения.

Покинув место казни, он молча направился по коридору к внутренней лестнице дома. Следователь Сергеев, увязавшись следом, попытался остановить его:

– Вас просто не пустят.

Шергин не считал нужным ответить и поднялся, разглядывая изрезанные похабщиной перила. Сергеев остался внизу. В коридоре второго этажа было дымно от табаку, слонялись без дела адъютанты и штабные офицеры, раздавалась чешская речь и гомерический хохот. Генерал Гайда, один из руководителей чехословацких частей, несколько дней назад был назначен командовать Екатеринбургской группой войск, в которой теперь числился полк Шергина. Антимонархизм чехословаков был хорошо известен, но то, с какой наглостью они приспособили для своих нужд здание, ставшее кровавым символом происходящего в России, взбесило Шергина до крайности.

На него обратили внимание. Он подошел к группе офицеров, стоявших в раскрытых дверях большой комнаты и над чем-то смеявшихся.

– Считаю долгом сообщить вам, – произнес он по-немецки, чтобы до них лучше дошло, – что человек, имеющий представление о приличиях, не станет смеяться там, где произошло зверское убийство десятка людей, тем более царственных особ и детей.

Они недоуменно переглянулись, затем один в чине штабс-капитана вынул папиросу изо рта и указал ею на Шергина.

– Это кто такой? – иронично спросил он остальных по-русски, с чешским акцентом.

– Потрудитесь обращаться ко мне непосредственно, как к старшему по званию, – бросил ему Шергин.

Штабс-капитан, сделав шаг назад, балаганно раскланялся и с издевкой проговорил:

– Вероятно, вы тот человек, который знает о приличиях все. Не просветите ли нас, бедных невежд?

Остальные с интересом и усмешками следили за разворачивающимся спектаклем.

– С холуями мне не о чем разговаривать, – отрезал Шергин, – поищите для себя учителя в церковно-приходской школе. Я хочу видеть генерала Гайду. Где его комнаты?

– Генерал слишком занят и не может принимать всех недовольных тем, что идет война и на ней убивают, – с тонким сарказмом ответил другой чешский офицер, равный Шергину по званию. – Можете изложить свое дело нам.

– Подожди, Ян, – перебил его третий штабной, – этот невежливый господин Квазимодо назвал нас холуями. Вам известно, сударь, что за такие слова нужно отвечать?

– С удовольствием ответил бы, дав вам в морду, сударь, – сказал Шергин. – Однако не хочу, чтобы меня посадили из-за вашего разбитого носа в каталажку и мой полк уехал на передовую без меня.

– В таком случае с вашего позволения я возьму инициативу на себя, – заявил тот и первым нанес удар.

Шергин успел отклониться, кулак скользнул по касательной, едва задев скулу. В ту же секунду чех, клацнув зубами, полетел на пол, сбитый с ног ударом в челюсть. Вокруг сразу сделалось шумно, к Шергину бросились все скопом, свалили, скрутили назад руки. Битый штабной, сидя на полу, сплюнул кровь, рванул из кобуры браунинг и наставил на поверженного.

– Я убью его!

Но тут галдеж перекрыло громогласное:

– Что здесь происходит?!

Выкрикнуто было по-чешски, голосом, привычным к командованию. Штабные перестали орать и доложили ситуацию, представив Шергина как пьяного русского шовиниста и черносотенца. Во время доклада трое офицеров своим весом вжимали его в

пол, не давая шевельнуться.

– Поставьте его на ноги, – прозвучал приказ.

Шергина подняли, развернули лицом к генералу, но руки не отпустили.

– Вы – генерал-майор Гайда? – спросил он, глядя исподлобья.

– У этого человека проблемы с армейской субординацией, – по-русски сказал генерал, обращаясь к своим. Затем подошел ближе: – Кто таков?

– Капитан Шергин, третий Новониколаевский Сибирский полк.

– Корпус генерала Пепеляева?

– Так точно. Первая стрелковая дивизия.

– Для чего напали на моих офицеров?

Несмотря на простецкую деревенскую физиономию, генерал Гайда создавал впечатление человека беспощадного, изворотливого, злопамятного и не брезгующего ничем.

– Вам должно быть известно, что это за дом, который вы заняли, нанеся тем самым, сознательно или нет, оскорбление русскому народу, – с расстановкой произнес Шергин. – Я прошу вас... нет, я требую, как русский офицер и государев подданный покинуть это здание.

Среди штабных послышались издевательские реплики.

– Оскорбление русскому народу? – недоуменно переспросил генерал. – Ваш народ сверг своего царя полтора года назад и очень этому радовался, я был свидетель тому. То, что его убили, даже неважно кто, всего лишь логическое завершение. Не понимаю, при чем тут этот дом.

– Все вы понимаете, – процедил сквозь зубы Шергин, – потому и пляшете на крови. Где труп, там и стервятники.

– Вы, кажется, недовольны тем, что Чехословацкий корпус помогает вам избавиться от большевиков? – высокомерно спросил генерал.

– Свою помощь вы уже оказали. Дальше, боюсь, она превратится в предательство.

Очевидно, генералу было недосуг придавать значение этому слишком рискованному высказыванию и тратить время на разбирательство. Он пожал плечами, повернулся и, уходя, бросил через плечо:

– Русская свинья. Выкиньте его на улицу.

Штабные впятером сволокли Шергина по лестнице и пинком вытолкали на площадь. Часовой, растерянно поморгав, принял верное решение – сделал вид, что ничего не заметил. Господа офицеры, особенно вытолкнутые взащей, бывают горячи на руку.

Подобрав с земли фуражку и не оглядываясь, Шергин отправился к дому коммерсанта Потапова, где томилась в нерастраченных чувствах соломенная вдова.

С утра его полк должны были перебросить на позиции к северо-западу от города, но вечер и всю ночь он заранее определил в дар страстной Лизавете Дмитриевне.

Туман над Староуральской к ночи рассеялся, глянули влажные звезды, выползла пышнотелая желтая луна и повисла низко над землей, расплываясь в дымке. Шергин обходил слободу кругом, проверяя караулы трех батальонных рот. Дородность луны рождала у него щекочущиеся в теле мысли о Лизавете Дмитриевне. От соломенной вдовы воспоминания перескакивали к стычке со штабными генерала Гайды, а от чехов спускались в полуподвальную комнату с бледными пятнами крови и тайными каббалистическими знаками. «Вот она, чужь подземная, – подумал Шергин, – расставляет вешки, подкидывает камушки, всюду отметины делает».

В Екатеринбурге из-за загруженности путей полк пробыл лишних двое суток. Это время

Шергин распределил поровну между своим батальоном, пополнявшимся мобилизованными, Лизаветой Дмитриевной и Ново-Тихвинским монастырем. Монахини провели собственное расследование злодеяния большевиков. Они расспрашивали крестьян Коптяковской деревни, искали следы вокруг шахт Ганиной Ямы, нашли в земле, где уничтожались трупы, мелкие предметы и драгоценности, принадлежавшие убитым. Более всего монахинь поразил рассказ крестьян о легковом автомобиле, приехавшем 18 июля в оцепленный красными лес. Кроме солдат, в машине находился штатский, еврей с черной смоляной бородой. Крестьяне уверяли: то были московские гости, так говорили солдаты оцепления. Эта черная борода сильно запала сестрам в душу, они настойчиво повторяли про нее, словно хотели, чтобы и Шергин запомнил ее на всю жизнь и оставил предание о ней своим детям и внукам. Жид со смоляной бородой из первопрестольной, вззирающий на уничтожение царских останков, очевидно, представлялся монахиням точным портретом антихриста. Что же до Шергина, то и ему этот персонаж показался достойным внимания. Во всяком случае, он должен был иметь непосредственное отношение к надписям в подвале. Зашел разговор и о следователе Сергееве, целиком и полностью зависимом от министров Директории. Монахини в один голос заявляли, что следователь и министры боятся мести евреям, которым нипочем никакие смены власти, и потому всеми силами выгораживают их.

На размышлениях об иудейском пленении и о том, сколько лет оно продлится, Шергина нагнали беспорядочные крики. Выхватив револьвер, он быстрым шагом направился к берегу реки, с шумом продрался через обрывистую, густо заросшую кустарником балку. В мутном желтом свете луны у самой воды возились несколько человек. Кто-то отчаянно вскрикивал тонким голосом. Солдаты тихо матерились и злорадно посмеивались.

– Что тут у вас? – спросил Шергин. – Кто старший?

От копошащихся отделилась фигура, бодро вскинула руку к фуражке и отрапортовала:

– Прапорщик Вдовиченко. Пойман лазутчик, господин капитан. Скрытно плыл по реке на коряге. – Он указал на бревно, вытасченное из воды. – Здесь мелко, удалось подкараулить его в нескольких метрах от берега.

Двое солдат крепко держали худого и оборванного мальчишку, вдавливая лицом с землю. Один слизывал с запястья кровь.

– Кусался, стервец, – торжествуя, объявил он. – Бешеный просто.

– Почему вы решили, что это лазутчик? – спросил прапорщика Шергин.

– Ну как же... – замялся тот. – Он ведь ночью... скрытно передвигался.

– Это ничего не доказывает, прапорщик. Отведите его ко мне, а после отошлите солдат сушиться и замените другими.

– Слушаюсь, господин капитан.

Солдаты рывком подняли пленника и поволокли через заросли. Шергин, убрав револьвер, не торопясь пошел следом.

В доме на краю слободы он занимал спальню с большой кроватью – некому теперь было ласкать на перине горячие бока хозяйки. Пленного мальчишку втащили туда, за дверями, кроме ошалевшего со сна Васьки, встал на охрану солдат. Переполох в доме напугал бабу с девчонками, спавшими на печи, но не смог перешибить мощный храп деда, раздававшийся с полатей.

Сев на кровать, Шергин оглядел мальчишку – лет пятнадцати, грязный, мокрый, явно оголодавший. Под глазом вспухал свежий синяк, на лбу кровоточила ссадина. Пленник таранился на него, чуть шатаясь и дрожа всем телом.

– Только не врать мне, – сказал Шергин. – Если замечу, что врешь, велю пороть.

– В-вы меня не узнаете? – осипшим голосом спросил мальчишка.

Шергин пригляделся к нему внимательней, но черты перемазанного землей лица ни о чем ему не говорили.

– Я вас знаю, – взволнованно продолжал пленник, – вы муж Марьи Львовны. А я Миша... Михаил Чернов из Ярославля, не помните? Позапрошлым летом я приходил к Льву Александровичу, он меня репетировал по математике. Вы тогда приезжали с фронта в отпуск.

Он дрожал все сильнее, вряд ли из-за мокрой одежды, скорее от нервного возбуждения. Шергин тоже почувствовал волнение, глядя на измотанного и истощенного гимназиста, непостижимым образом принесшего ему вести из Ярославля.

– Миша. Ну, конечно. Конечно, помню, – отрывисто произнес он и в нетерпении крикнул за дверь: – Васька!

– Тута я, вашбродь, – всунулась в комнату нечесаная голова.

– Горячей воды, чаю и хлеба, живо!

– Бегу, вашбродь.

Дверь закрылась, за ней немедленно раздались топот, грохот и Васькины покрякивания на хозяйку.

Шергин сам принялся стаскивать с Миши продранный гимназическую куртку, одновременно забрасывая его вопросами:

– Как ты здесь очутился? Что в Ярославле? Как там мои? Как тебе удалось перейти через позиции красных?

Понемногу успокаиваясь и жадно откусывая ржаной хлеб, принесенный Васькой, Миша рассказывал:

– Я северами пробирался. Сперва через вологодские леса, а там уж реками, протоками. По географии у меня всегда «отлично» было. Где красных нет, там днем шел, а после Соликамска только ночами. С едой совсем плохо было, но люди иногда подкармливали. Ничего, Петр Николаевич, я знаете какой живучий. Как кошка.

Васька с помощью караульного взгромоздил на середину комнаты бадью с горячей водой, рядом поставил наполненное ведро, притащил кусок мыла и ковш.

– Ныряйте, вашбродь, – пригласил он Мишу.

Мальчик разделся догола и с удовольствием погрузился в парящую воду, с детским наслаждением вдохнул запах хозяйственного мыла.

– Вы на меня не смотрите так, – сказал он Шергину, вдруг посуровев, – я не маленький. Я с красными до последней капли крови буду драться. Вы не знаете, что они в Ярославле делали. Из моих никого не осталось. Мама сначала с ума сошла, потом из окна вниз головой прыгнула. Сестру... – Миша сглотнул комок в горле и замолчал, усердно намываясь.

Шергин оцепенело, почти в страхе, смотрел на него, догадываясь, что будет сказано дальше.

– Лев Александрович, слава богу, сам помер, еще весной. А Марью Львовну... я видел... в дровах прятался... ее из дома выволокли и во дворе штыком...

– Что с детьми? – выдавил Шергин, падая внутри собственного сознания в бездонную яму.

– Их тоже, – шмыгнул Миша. – Ванька маленький за Марьей Львовной увязался, ему голову прикладом... А попа нашего, отца Тихона, в кипятке живьем сварили.

Шергин зачерпнул в ковш воды и стал поливать мальчика, смывая мыло. В самом деле, какие у него были основания надеяться, что жена и дети уцелеют в общей мясорубке? Почему, глядя на тысячи смертей мирных обывателей во множестве городов и деревень, он мог думать, что его семью это обойдет стороной? А вернее, даже не думать. Просто забыть о том, что он не безродная былинка в чистом поле, а одна из ветвей огромного, прочно укорененного в земле русского дерева, от которой тянутся к солнцу новые отрасли. И если дровосеки в красных колпаках рубят дерево под корень, то ни одной его ветке не спастись.

Васька раздобыл для Миши новые форменные штаны и гимнастерку, шинель и сапоги обещал сварганить к утру. Подвернув рукава и штанины, бывший гимназист на глазах превратился из замухрышки в добровольца Белой армии, правда, без боевого опыта, зато умеющего выживать в радикальных условиях и хорошо знающего запах смерти.

– Останешься пока при мне, – сказал Шергин, – вестовым.

Благодарно сияя глазами, Миша вдруг хлопнул носом и порывисто прижался к нему.

– У меня сейчас роднее вас никого нет.

Шергин положил руки ему на плечи.

– Да и у меня теперь тоже.

18 ноября подпоручик Елизаров пожалел, что не нашел желающих заключить пари на решительность адмирала Колчака. Несостоявшийся спор был решен в Омске в пользу подпоручика: Уфимская директория бесславно пала, министрам-социалистам дали денег на дорогу и отправили восвояси, за кордон, верховным правителем и главнокомандующим провозгласили храброго адмирала. Правда, золотых часов подпоручик все равно лишился – они утонули в болоте во время перехода через дремучие пермские леса.

Корпус генерала Пепеляева упрямо, почти с азартом рвался к Перми. Но капитана Шергина лишили удовольствия участвовать в этом марше по сугробам при сорокаградусном морозе. В начале двадцатых чисел ноября он получил приказ явиться в штаб дивизии. Оседлав списанную по немощи артиллерийскую клячу, он пустился в путь и за трое суток объехал четыре населенных пункта, в которых предположительно находился штаб. Всякий раз ему охотно объясняли, что дивизионное командование убыло в другую деревню. На третий день кляча завязла в сугробе, легла брюхом в снег и наотрез отказалась вставать. К счастью, впереди угадывались очертания деревенских крыш и дымы над ними. Штаб оказался на месте. Все трое суток он пробыл здесь.

В штабной избе, похожей на длинный амбар, слабея ногами от тепла, Шергин перво-наперво припал к пышущей жаром печке и долго отогревался. Скрипучая дверь сеней впускала и выпускала адъютантов, вестовых и прочих, заодно внутрь проникали белые морозные клубы. Кто-то из адъютантов спросил, по какому он делу, и ушел докладывать. Его не было четверть часа, и за это время, сомлев у печки, Шергин увидел сон.

Песчаный пляж Финского залива купался в потоках необыкновенно яркого света, какого не бывает на чухонских болотах, приглянувшись когда-то царю Петру. Было очень тепло, Шергина переполняло ощущение покоя и мира. Возле кромки залива стояла вполоборота жена в белом платье и улыбалась. В ней также было спокойствие и тихая безмятежность, а в очертаниях лица и фигуры утвердилась ожившая античность. Маленький Ванька в белой рубашке загребает ладонью песок и сыплет его тонкой струйкой. Миг совершенного счастья длится долго, и Шергин знает, что, если захотеть, он никогда не закончится. Прибоя не было слышно, только шуршание песка и ветра, почти зримое трепетание воздуха словно белого полотнища, на самом краю окоема. Шергин не заметил, как это произошло, – Ванька из

маленького стал взрослым, высоким и широкоплечим. Он смотрел на отца, глаза его улыбались, а рука сжимала горсть сыплющегося песка. Свет делался ярче, размывая очертания белых одежд...

Шергин проснулся от прикосновения. Адъютант вернулся с сообщением, что полковник Маневич ждет его. Уже не было ни мрачной досады, ни утомленной злости на трехдневную игру в догонялки с фантомом штаба. Все утекло вместе со струйкой песка из руки сына. Осталась лишь складка тени на трепещущем полотне света – почему во сне не было их первенца, семилетнего Саши?

– Садитесь, капитан, – предложил полковник, выдержав пятиминутную паузу, в течение которой углубленно изучал несерьезную с виду бумагу. – Ну-с, перейдем к делу.

Он уставил на Шергина до желтизны изъеденные табачным дымом глаза под нахмуренными бровями.

– Вы, может быть, догадываетесь, для чего вас пригласили?

– Ни малейшего представления, господин полковник.

– Ну что ж. Это означает, что вы искренне не понимаете ошибочности ваших действий.

– О каких моих действиях идет речь? – насторожился Шергин.

Полковник поворошил бумаги и вытянул исписанный мелким почерком листок со следами сгибов.

– Вот донесение на ваш счет. Из него следует, что вы устраиваете тайные собрания младших офицеров, где ведете разговоры монархического содержания. Также вы, капитан Шергин, позволяете себе общение запросто с рядовым составом, без соблюдения офицерского этикета. Вам известен приказ адмирала Колчака об укреплении дисциплины в армии? Может быть, вы не знаете, чем кончились панибратские отношения офицеров и солдат в семнадцатом году? Полным развалом армии и фронтов! Армия должна быть вне политики, ее цель – бить врага, а не разлагать саму себя политическими агитациями.

– Вы полагаете, господин полковник, что я веду большевистскую агитацию? – Кровь бросилась ему в лицо, он едва сдержался, чтобы не вспылить. Бумага в руках полковника, по мнению Шергина, гораздо более свидетельствовала о падении нравов в армии, чем его «неэтикетные» разговоры с солдатами.

– Упаси вас боже. Вы, кажется, монархист?

– Лично у меня в этом нет никаких сомнений, – раздраженно отрубил Шергин. – А также в том, что, если дисциплина в войсках будет укрепляться доносами, вы скорее добьетесь обратного результата.

– Ваши убеждения – ваше личное дело. Но распространение монархических идей в армии запрещено. Допустив монархизм в войсках, мы отвратим от себя народ, менее чем два года назад сбросивший ярмо самодержавия. И к тому же растеряем иностранных союзников. Вы осознаете это?

– Я не осознаю другого, – едко сказал Шергин. – Чем мы можем удержать народ на своей стороне, если не монархизмом? Республиканство и народовластие уже заняты красными. Господи, да как же вы не поймете, – я сейчас даже не вас лично имею в виду, господин полковник: политика начинается как раз там, где кончается монархизм. С февраля семнадцатого мы не вылезаем из политических агитаций, – он жестко упер палец себе в лоб, – вот о чем думать надо и делать выводы. Подавляя монархизм, вы будете бессмысленно продлевать и ужесточать эту войну.

– Вы, капитан, слишком много себе позволяете, – надменным тоном произнес

полковник, выпятив подбородок. – Я не намерен больше выслушивать вас. Иными словами – имею предписание отправить вас в Екатеринбургский гарнизон в распоряжение подполковника Нейгауза. Приказ командующего уральским фронтом генерал-майора Гайды.

При упоминании генерала Шергин не удивился. Лишь уточнил:

– Мне расценивать это как ссылку?

– Ну что вы, Екатеринбург еще не ссылка. А вот куда вы с вашими крайними убеждениями отправитесь в дальнейшем, этого знать не могу.

– Благодарю за откровенность, господин полковник.

– Мой вам совет, капитан, будьте гибче, – чуть подобрел Маневич. – Прямая дорога не всегда самая верная. Мне характеризовали вас как героически смелого офицера, рассказывали о ваших подвигах. Думаю, вас погубит не эта безумная храбрость, а ваше ослиное упрямство.

– По вашей логике самой верной дорогой идут большевики. Я русский, господин полковник, я рожден летать, а не ползать в обход.

– Свободны, капитан. – Барским жестом руки полковник завершил разговор.

– Честь имею.

Зимний Екатеринбург, наполненный карканьем ворон, далеко разносящимся в морозном воздухе, казался городом лопнувших иллюзий, какие еще оставались после неполных двух лет российских разбродов и шатаний. Хотя сам город был тут, собственно, ни при чем. В нем лишь, как в треснувшем зеркале, отражалась душа капитана Шергина, безвидная и пустая, как тьма над бездной, и, казалось, оставленная Духом Божиим, который больше не носился над нею. Даже кресты на церквах виделись ему покосившимися и почерневшими, как на старых могилах. Святая Русь хмелела от крови, как от водки, и в пьяном угаре куражилась сама над собой. Слишком долго она жила своим третьеримским долгом. Но теперь, видно, Бог хотел от нее чего-то другого. Небеса разговаривали с землей знаками, символами, пророчествами. Человеческий перевод этого языка был так близок и так неуловим, как собственный локоть для укуса. А пока перевод не дается в руки, Россией будет править красный колпак и каждый обречен делать то, чего не хочет и что ненавидит: устраивать заговоры, убивать своих братьев, забывать жен и детей, искать смерти, чтобы погибнуть вместе с исчезающей Русью, и для этого совершать безумные подвиги.

Подполковник Нейгауз был краток и деловит:

– Капитан Шергин? Да-да, припоминаю, у вас была какая-то история с генералом Гайдой. У меня имеется приказ на ваше имя. Вам следует немедленно отправляться в Барнаул с двумя ротами для подавления красных партизан на Алтае. Одновременно будете формировать на месте полк через мобилизацию населения.

Час спустя, пройдясь перед строем выделенных ему гарнизонных рот и оглядев свежееобмундированных солдат пополнения, Шергин осведомился:

– Воевавшие есть?

Поднялось с полсотни рук ветеранов германской. Из офицеров порох нюхали лишь четверо, остальные – недавние кадеты либо студенты, не намного старше вестового Миши Чернова. Эти рвались в бой на голом антикомиссарском энтузиазме. Но в лицах почти двухсот мобилизованных солдат, особенно тех, кто не прятал глаза, Шергин прочел злость, досаду и неприязнь. В редких случаях – скуку и безразличие. Эти люди, распропагандированные подпольными большевистскими агентами, вездесущими, как грязь, думали, что их обманывают, заставляя драться за чужие интересы. «И что самое

отвратительное – так оно и есть, – подумал Шергин. – За кого бы они ни воевали, их будут обманывать: красные комиссары – грубо, вульгарно и беспощадно, белые республиканцы – тоньше, изысканнее, подлее, подсовывая им бредовую идею Учредительного собрания, которое придумает для России новую власть». Разумеется, вслух он сказал иное, жестким тоном и без всякого пафоса:

– Солдаты, я обращаюсь к вам. Я все понимаю. Четыре года войны, все устали, всем хочется мира и спокойной жизни. Но Россия попала в беду. Очень большую беду. Не думайте, что вы смогли бы отсидеться по домам и эта война обойдется без вас. То, что сейчас происходит в стране, касается всех. Всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет, так сказано в Евангелии. Россия разделилась и этим губит себя. Большевики уничтожают старую Россию и хотят строить новую. В этой новой им не нужны будут ни Бог, ни половина русского народа, хранящего веру отцов и дедов, память о великом прошлом. В основание своей новой России они кладут горы трупов. Я собственными глазами видел эти горы мертвецов, ограбленных, замученных и убитых только за то, что они не поклонились комиссарско-жидовскому нечестию. Думайте сами, уютно ли вам будет жить в государстве, чья история начинается с отрезанных голов, рук, ног, с выколотых глаз, вспоротых животов, с изнасилованных гимназисток, зарубленных стариков и детей. Они не прекратят свою войну с народом, даже когда замолчат винтовки и пушки, потому что их царство от сатаны. Не позволяйте обманывать себя тем, кто требует от вас ненависти и злобы к братьям вашим, кто сделал своим знаком красный цвет крови. Не поддавайтесь соблазнам дьявола, говорящего лозунгами большевиков, он все равно обманет вас.

Шергин не надеялся, что ему сразу поверят. За последние несколько лет цена доверия в России возросла до небес, а стоимость слова, не подкрепленного кровью, не превышала полушки. Как и жизнь человеческая. Среди двухсот хмуро-равнодушных солдатских взглядов только один был полон счастливого обожания. Вестовой Чернов ни за что не захотел оставаться в полку без него.

...В большом доме Лизаветы Дмитриевны застаивался дремучий холод, который не могла разогнать изразцовая печь, получающая скудный рацион дров. Молящий взор соломенной вдовы выпрашивал хоть немного тепла, но и Шергин в этот день был холоден, как вымоченные дождем угли.

– В начале века, – рассказывал он, – когда я учился в Петербурге в офицерской школе, мне довелось побывать на службе покойного протоиерея Иоанна Кронштадтского. По силе воздействия на людей это был великий человек. В его Андреевский собор стекались десятки тысяч народу. На общей исповеди рыдали в голос. Когда он говорил, казалось – он разговаривает с Богом, который тут, рядом, только невидим. Всякое его слово, даже самое простое, было как молитва. Он был провидец, но тогда я ему не поверил. Слишком грозно он пророчествовал, как который-нибудь из ветхозаветных духовных мужей. Стоял с поднятой рукой и со страшным выражением кричал: «Кайтесь, кайтесь». Предупреждал, что близится ужасное время, которое и представить невозможно. Да в это и поверить было невозможно, не то что представить. Никто из всей толпы не понимал, что такое приближается, но ужас был на всех лицах... И вот это грозное «кайтесь» у меня в голове крепко запечатлелось, даже снится иногда. А в последнее время я часто вспоминаю отца Иоанна. Говорили, он и войну, и революции наши предсказал, и вот это все, что сейчас... Кайтесь, Лизавета Дмитриевна, кайтесь. Чтобы нам одолеть красных, мало горланить песни про Святую Русь. Самим нужно святыми делаться.

– Петр... – Ее томный зов лишь пуще заморозил Шергина.

– Мою жену и малых детей в Ярославле убили бешеные красные псы, – сказал он глухо. – Вот ведь какая странная штука получается. Пока она жила – можно было забывать ее с другой. Не стало ее – и нельзя. Так-то, Лизавета Дмитриевна.

Он встал с кресла.

– Петр...

Лизавета Дмитриевна отчаянно бросилась к нему, попыталась обнять. Он с силой оттолкнул ее и ровным голосом произнес:

– Что же ты, ничего так и не поняла?.. Пошла прочь, шлюха.

Лизавета Дмитриевна упала на ковер и забилась в рыданиях. В дверях гостиной Шергин обернулся, последний раз посмотрел на соломенную вдову, и в душе колыхнулась жалость. Сколько теперь таких горюющих русских баб по всей земле, тоскующих о самом обыкновенном тепле и не принимающих правды войны... Да и кому она нужна, эта правда?

– Прощайте, Лизавета Дмитриевна. Не поминайте лихом и... простите.

Среди тусклых огней заснеженного города он шагал к Вознесенской церкви. До вечерней службы оставалось немного времени. В храме на лавочках сидели несколько старух, двое солдат, похожих друг на друга, истово клали поклоны перед Казанской. Подойдя к аналою, Шергин вполголоса позвал священника по имени. Отец Сергей вышел из алтаря и, узнав его, обрадовался. Они расцеловались, переместились в придел.

– Я пришел просить ваших молитв. Сотворите панихиду по невинно убиенным Марии, Александру и младенцу Ивану.

Вспомнив сон прапорщика Худякова, он добавил:

– И по всем воинам, за отечество и веру погибшим, по всем православным, принявшим мученическую смерть. Молитесь, отец Сергей, за всех нас, за маловерных и вовсе неверных.

Священник положил руку ему на плечо, сказал сочувственно:

– У вас большая тяжесть на душе. Снимите, легче станет.

– Верно, тяжесть великая. Блуд на мне, отче. За него меня Бог покарал – отнял жену и детей.

– Злодейства большевиков многим служат вразумлением. Однако не судите о Промысле столь прямолинейно. Может быть, это вовсе не наказание.

– А что же?!

– Испытание вашей веры и верности, например.

– Нет, – Шергин помотал головой, – не надо так, прошу вас. Если это не наказание, где мне тогда взять силы, чтобы вынести это, вытерпеть? Не-ет, я слишком слаб для таких испытаний. Я ведь взбунтуюсь, отец Сергей, пущусь во все тяжкие. Что тогда? Уж лучше я буду думать, что это наказание.

– Не взбунтуетесь, – уверенно сказал священник. – Испытания даются по силе, ничего сверх нее. Бог лучше вас знает, сколько вы сможете вынести и вытерпеть. В покаянии наша сила, помните. В покаянии и любви...

До конца службы Шергин простоял с мокрыми от слез глазами.

– Вы, господин ротмистр, совсем тут в чернокнижие впали, – сказал Федор, держа старую-престарую, с трещинами, доску, покрытую толстым слоем копоты и исцарапанную кривыми значками, похожими на детские каракули.

Единственная кержацкая икона не попала к грабителям, схороненная стариком в гряде тряпья, в которую он успел зарыться, а точнее, превратиться в нее.

Старик потянулся дрожащими руками к иконе, неожиданно сильно выхватил ее и в порыве страсти стал ломать о стену пещеры. Однако доска была крепка и не поддавалась.

– Тьфу, раскольное окаянство, – в сердцах плюнул он и, обессилев, выронил икону. Брякнув об пол, она развалилась пополам.

Старик, будто жалея о своем порыве, кряхтя, поднял одну половину, уставился на нее в непонятных чувствах. Федор задал ему вопрос, но тот не услышал, водя ладонью по закопченной поверхности.

– Нацарапано-то чего, говорю? – громче спросил Федор.

– Ай? – встрепенулся старик, бросил обломок. – Будто я знаю. Приходили какие-то, из нижних пещер. Сами длинные, как жерди, рыла вроде страшные на вид, а вроде как вдохновенные, светились эдак. Обещали отвести на хорошую землю, если будем держаться веры древлей – доски копченые крепко чтить, а на свет белый не выходить. Там, говорили, враг рыщет всюду да рыкает, кого поглотить ищет. А для верности чтобы иконы запечатлеть велели, вон этим самым.

От рассказа Федора пробрало холодком, если б была шерсть на загривке – вздыбилась бы. Поежившись, он мазнул фонариком по дырам туннелей и невольно приглушил голос:

– Давно приходили?

– Последний раз не так чтобы. Года три. Иль пять.

Федор почувствовал острую необходимость выбираться из проклятой пещеры. Но нужно было извлечь из-под земли и старика – заархивированное внутри горы сокровище, которого хватит не на одну диссертацию.

– Так что, дедушка, с самого девятнадцатого года кержаки тут поселились? – спросил Федор, ощущая себя чертовски удачливым кладоискателем.

– С самого что ни на есть.

– И наружу носа не казали?

– Не казали.

– Ну а вы-то, господин ротмистр, как с ними повелись?

– Как повелся, говоришь? – Старик снова ударился в слезливость, задрезжал голосом. – А так и повелся. Полк наш того, партизаны накрыли. Горстка по горам рассеялась. К столбоверам меня и прибило, по грехам моим. Они прежде того деревней под небом жили. А тут под землю порешили уйти. Старшие только ихние напрямую в землю зарылись – под камнями вживую погреблись. Оно, мол, надежней от антихриста. А молодежь сюда, в пещеры. И меня с собой. Хоть чужак, да делать нечего, увязался с ними, а убить – нельзя им оскверняться, по вере ихней. Махнули рукой, говорят: живи, только чур по-нашему древлеправославному обряду. Ну и прижился.

Он испустил длинный печальный, старчески шершавый выдох.

– Партизаны, говорите, полк накрыли, – трепетно лелея и сдерживая нетерпение, сказал

Федор. – Усть-Чегень – помните такое село, господин ротмистр? Не там ли дело было?

– Усть помню. А Чегень или еще что – не упомяну. Много тут абракадабских названий было.

Но Федор и без того знал, что он на верном пути и лавровый венок баловня судьбы уже нацелился упасть на его голову.

– Ну а партизанами кто командовал, помнишь, дедушка?

– Этого и в гробу не забуду, – заволновался старик, сердито взмахнул руками и стал будто бы бредить: – Медвежья стража. Шаман проклятый наколдовал. Войско мертвецов. Они как бревна в заграждения складывались, пули в них застревали, а после никаких следов...

Федор от растерянности – не собрался ли старик тронуться умом – направил луч фонаря ему в лицо. Вскрикнув от боли в глазах, косматый дед повалился на землю и нехорошо завыл тонким голосом. Федор, опомнившись, дернул фонарь в сторону.

– Какая медвежья стража? – крикнул он, подобрался к старику и принялся тормошить.

– Бернгарт его имя, – прекратив выть, страшным шепотом ответил тот. – «Медвежья стража» и значит. Сбылось проклятие колдуна. Медведь, хозяин гор.

Федор привалился к стене. Все-таки от пещерного жителя нестерпимо воняло, а в речах все больше сквозило безумие.

Некоторое время в пещере раздавался лишь плеск водяных капель да возня старика, распростертого ниц и бессмысленно загребающего руками.

– Как звали командира полка? – спросил Федор, зная ответ наперед.

Старик говорить не спешил. Через минуту-другую Федор опять услышал его безутешное глухое подвывание.

– Прекратите истерику, ротмистр, – устало проговорил он. – Вы не кисельная барышня, а я не поп, чтобы утешать вас.

Как ни странно, нелепая фраза подействовала. Старик поднялся на колени и повернулся к Федору.

– Поп, – произнес он, осенившись мыслью, – отведи меня к попу. Мне тебя Господь послал для покаяния, Христом-Богом молю, отведи!

На коленях он пополз к Федору.

– Вы не ответили на мой вопрос, – отодвигаясь в сторону, сказал тот.

– Полковник Шергин! – страшным голосом возопил старик, так что и стены пещеры, казалось, сотряслись. – Отведи на покаяние, заклинаю!

– Кто в него стрелял? – требовательно спрашивал Федор, боясь, что старик от волнения не вовремя испустит дух и заберет с собою в вечность сокровища живой истории. – Почему его убили свои?

– Я, я, я! – захрипел старик, тряся руками перед лицом Федора. – Я его убил.

Федор успел нащарить кнопку фонаря и выключить свет, прежде чем старик заглянул ему в лицо. Увидев перед собой копию полковника Шергина – восставшего из могилы мертвеца, пришедшего требовать оплаты счетов, – он окончательно выжил бы из ума либо стремительно присоединился бы к остальным здешним покойникам.

– Почему? – выдавил Федор. К абсолютной темноте пещеры глаза не могли привыкнуть ни за минуту, ни за час. Только за всю жизнь. Он чувствовал, что старик отлично его видит и даже пытается получше рассмотреть.

– Почему? – жалобно повторил тот и замолчал надолго. Федор использовал паузу, чтобы

встать на ноги и, включив снова фонарь, отойти подальше. – Не знаю. Не помню. Он хотел... хотел... я был против... не помню.

Старик заплакал. Федор молчал, не решаясь произносить суд.

– И могила где, не знаю, – горевал бывший ротмистр. – Есть ли она, не ведаю.

– Да есть могила, – убито сказал Федор.

Услыхав это, старик с новой силой стал требовать отвести его на могилу и к попу, преследуя Федора на коленях. Тому надоело бегать от несчастного и, силой поставив его на ноги, он сказал:

– Ну не оставлять же тебя тут. Помрешь еще с голоду... Кстати, запасы какие-нибудь есть? А то мои потощали, на двоих так вообще не хватит... Кормились, говорю, чем?

Старик, замерший было в столбняке ввиду грядущей перемены жизни, очнулся:

– Кормились? Всяким... Червячками, мышью, разная тварь забредает, зверье горное. А то своих ели, когда голодно.

Он показал рукой на гору костей у стены.

– Людей ели? – беспокойно переспросил Федор, попятившись.

– Меня три раза хотели сожрать. Да на мне мяса мало. Рабу, известно дело, пинки да объедки достаются. А после первого раза я и тех половину съедал, чтоб кости из меня торчали.

– Рабу? – перестав пятиться, Федор вытаращился, хотя глядеть особенно было не на что.

– Известно дело, – повторил старик и не то чихнул, не то всхлипнул – несколько раз подряд. Федор не сразу понял, что это смех. – Порченые они были, столбоверы. Чистоту свою древлеправославную не соблюли, с того и пошло.

Питая к пещере порченных кержаков все большее отвращение, Федор решил немедленно бежать. Однако идти стало труднее – его ноша увеличилась вполовину: к рюкзаку с консервами и водой прибавился старик, которого тоже пришлось волочь фактически на себе – от переживаний тот еле двигал ногами. Дойдя до щелястого выхода из пещеры, Федор измученно подумал о том, что дотащить свой клад в целостности и сохранности хотя бы до дороги, где ходит колесный или копытный транспорт, будет делом потруднее, чем переход Суворова через Альпы.

Снаружи была ночь. Увидев звезды, старик впал в подобие экстаза и битых два часа, распростершись на камнях бородой кверху, умилялся на Божью благодать. Время от времени он принимался выкрикивать обрывки молитв. Перед самым рассветом Федор забылся тревожным сном, а когда открыл глаза, увидел старика, стоящего на самом краю скалы, готового шагнуть вперед. Прыжком по извилистой траектории, какому позавидовал бы любой представитель семейства кошачьих, Федор в последний миг остановил смертельное движение старика, свалив его на землю.

– Красиво, – в четыре зуба улыбался пещерный житель, глядя широко открытыми глазами в ярко залитое солнцем лазурное небо. При свете дня он оказался настоящим пугалом – неандертальское чудище, косматый и мосластый кашей в гнилых шкурах.

– Что красиво? – Федор злился на него за собственный испуг.

Лежащий на спине старик протянул руку к небу:

– Деревья. Трава. Камни.

Федор посмотрел наверх.

– Там нет никаких деревьев. И камней, слава богу.

– Я вижу, – блаженно сказал старик.

Федор, наконец догадавшись, провел над ним ладонью. Глаза старика ничего не видели, кроме отпечатавшейся в мозгу, за мгновение до того, как он ослеп, картине. Внизу обрывы были и деревья, и трава, и камни, загрозоздившие межгорный распадок.

«А может, оно и лучше, – подумал Федор. – Не увидит призрак убитого им полковника».

В рюкзаке он нашел веревку и один конец закрепил на себе, к другому приторочил за пояс старика. Теперь их связывали узы не только исторического свойства, но и страховочные, длиной в полтора метра. Между тем слепота подействовала на старика необыкновенным образом, влив в его ветхую плоть новую силу. На спуске с горы он едва не обгонял Федора, съезжая на собственных мослах. Его вело внутреннее зрение – отпечаток обычного горного пейзажа манил старика, оставаясь навсегда недостижимым, как морковка на палке перед носом ишака.

Пока спускались, Федор определился с географией – утреннее солнце посылало привет с востока. Уверенно повернувшись к светилу задом, он взял направление вдоль хребта на запад. Старик бодро семенил следом, держась за хлястик рюкзака. «Дикая, в сущности, картина, – отрешенно думал Федор, – правнук полковника Шергина везет на буксире реликт Гражданской войны, убийцу своего прадеда. И каким только чудом он замариновался в своей пещере? Один из всех остался жив после налета охотников за иконами? Получается, он ждал именно меня. Опять эта мистика. Нет, не он ждал, а тот, кто устроил мою встречу с ним. Некто, тасующий крапленую колоду случайностей». Собственные жизненные наблюдения Федора показывали неоспоримую вещь: когда человек готов поверить в Бога или хотя бы в «что-то там, конечно, есть», вокруг него начинают происходить чудеса, из разряда обыкновенных. Иными словами, он перестает видеть случайности и вместо них зрит вмешательство свыше. Но в себе готовности уверовать Федор пока не чувствовал и тем менее мог объяснить этот наплыв мистики, от которого, пожалуй, можно было и заболеть каким-нибудь расстройством.

«Неспроста ведь они Золотыми называются...» – сказал он себе, озирая нежно-голубые, бледно-лиловые, палево-охристые, пастельно краснеющие склоны гор и сияющие нимбы снежных вершин. Их красота обжигала душу, но в ней нельзя было сгореть – только на время раствориться, а затем, сознавая собственное убожество, вновь собрать себя в кучку земного праха и продолжить свой путь в этом мире. И только потом внезапно обнаружить в себе неслучайно возникшую мысль – о том, что истинная красота всегда пронизана мистикой, как дневной воздух – лучами солнца. Более того, именно потусторонний, божественный отсвет и создает в вещах и в природе то, что люди зовут красотой.

За время пути Федор узнал от старика печальную повесть его жизни. О том, как воевал, бывший ротмистр помнил урывками, короткими эпизодами, которые не склеивались ни во что целое. Зато хорошо вспоминалась ему вражда к командиру полка, неприязнь, доходившая порой до ледяной ненависти. Отчего это было – время стерло из его памяти, от всей ненависти осталась шелуха да крепко засевшее в голове шипящее прозвище «Франкенштейн». То, что происходило до последней стычки с полковником и рокового выстрела, оказалось вычеркнутым из биографии ротмистра, как пробуждение убивает события сна. Что было после – стало единственным содержанием его жизни. Это он помнил детально, день за днем, год за годом, пока подземное бытие не слило все года в один темный, долгий, наполненный страхом и голодом пещерный туннель.

Бежавших в горы от партизан после разгрома полка ротмистр Плеснев насчитал полтора десятка (Федор не сомневался, что и полк был не более как недокомплект, обычным в

белых войсках, в которых и тысяча штыков могла зваться дивизией, а двадцать – ротой). Возможно, кому-то еще удалось прорваться к монгольской границе. Среди тех пятнадцати шестеро были недавно мобилизованные кержаки из веками прятавшегося в горах селения, на которое случайно наткнулся полк. Эти, довольные исходом дела, возвращались домой и шли отдельно, своими тропами. Только каждое утро в отряде Плеснева обнаруживали одного-двух удушенных. За неделю, на перевале через горный хребет, ротмистр остался один. Ночью, когда до тайной деревни раскольников оставался день пути, двое кержаков пришли за ним. Плеснев перехитрил их – якобы оступившись, с воплем скатился с обрыва, нырнул в пропасть. Этот трюк он репетировал несколько раз при свете, падая на крошечный выступ за краем скалы и вжимаясь всем телом в темную узкую расщелину под обрывом.

– Рубили концы, – объяснил старик. – Потому как никто не должен знать дорогу в их деревню. А мы знали и шли туда, чтобы взять еду. А не то они мстили, что мы забрали их из деревни, дали в руки оружие. Для столбоверов это самое хуже, чем грех. Порча, скверна. Замирщение по-ихнему, касание с остальным миром, не столбоверским. Попов у них нет, чтоб скверну снимать. Ну и берегутся от всякой мирской заразы. А тут такое дело. Не хотели, а попортились. Восьмерых-то сдуру удавили, аки тати в нощи.

Явившись в деревню, кержаки скрыли, что повинны в душегубстве, иначе их ждало изгнание. Следом за ними пришел ротмистр Плеснев и тоже про удушенных говорить не стал, ибо ни к чему. Еще на перевале он надумал остаться с раскольниками, а не тащиться до Барнаула через весь горный край, кишачий партизанами. Кержацкие старейшины приняли суровое решение. Они сказали, что мир не оставит их теперь в покое, антихрист уже правит и надо уйти дальше, скрыться в земле, в горном нутре. Чужака, от которого нельзя избавиться, взять с собой. Когда они закончили говорить, встал самый ветхий кержак, с бородой до колен, и объявил, что порча через чужака все равно будет и древнее благочестие потерпит урон. А поступить надо по образцу чуди, некогда жившей здесь и скрывшейся под землю от белого царя. Старейшины с ветхим согласились, покивали седыми головами и принялись за дело. Молодежь спровадили в пещеры, а сами вырыли яму, навалили над ней камней на досках, встали под навес, истово помолились да подпорки вышибли.

В пещерах же порча разрасталась. Поначалу перестали сообща молиться, потом перессорились, поделили имущество и расползлись по норам. На чужака, даром что принял старый обряд, смотрели косо и со злобой. Жену ему не давали, попрекали куском, однажды избили до полусмерти. Когда встал на ноги, от него оставались кожа да кости, любой мог пальцем зашибить. Проку от такого мало, но ротмистру хотелось жить, он стал наниматься на работу за объедки. Так стал рабом – скотиной, об которую трут ноги. Затем в пещерах наступил голод и, страшась выходить в антихристов мир, начали резать на мясо детей, больных и просто слабых. Население пещер уменьшилось вполовину, когда первый раз снизу пришли гости. Они запретили есть детей и сказали, что будут помогать. С тех пор в пещеры забредали горные козлы, бараны, кабарги. Мяса стало хватать, но совсем от человечины не отказывались, резали убогих, стареющих. Молиться опять стали вместе, ревностно клали поклоны перед исцарапанными тайной грамотой черными досками, чтоб заслужить обещанное гостями переселение в благодатные земли.

Но вместо благодати пришла смерть, и спасшемуся рабу была дарована свобода.

Два дня пути Федор со стариком питались водой и корешками. В реках плавала рыба, но ее нечем было ловить. На третий день Федор соорудил острогу из ножа и палки, распластался на валуне посереде реки и чудом загарпунил тридцатисантиметрового хариуса.

Ели его недожаренным, торопясь заглушить протестный вой в желудках. Старик Плеснев, за девяносто лет забывший вкус рыбы и вообще человеческой еды, урчал по-неандертальски и чуть не отгрыз себе пальцы.

На четвертый день Федор увидел пастуха и едва не сошел с ума от радости. Козье стадо перестало жевать траву, в сомнениях глядя на его дикие прыжки и вопросительно подмекивая счастливым воплям.

На шестой день от исхода из кержацкой пещеры Федор ступил на твердое дорожное покрытие Чуйского тракта, а к сумеркам, восседая в кузове грузовика, торжественно въехал в Усть-Чегень. Первое его движение было в сторону дедова дома, где ждали ужин, баня и человеческая постель. Но ротмистр Плеснев вцепился клещом и потребовал вести на могилу полковника.

– Чую, смерть за мной идет, – хрипел он, – не опередила б.

И впрямь, выглядел он едва живым, в чем только душа держалась. Ноги опять подкашивались, руки тряслись, воздух в горле свистел, на серых губах пузырилось. Федор, сам истомленный до полусмерти, скинул рюкзак в канаву и поволок старика на себе к церкви.

Глубокая синь неба набухала серебром звезд, иссохшая земля с жухлой травой хрустела под ногами и звенела насекомьей стрекотней. Когда открылась голая степь, Федор подумал, что ошибся направлением. Только заметив в отсвете поселковых фонарей могильный крест, понял, что за десять дней его отсутствия горелые останки церкви разобрали, готовя место под строительство.

Ссадив старика у креста, Федор упал в траву неподалеку, осоловело глядя в небо. Ротмистр Плеснев накренился, руками обнял холмик и тихими слезами повел безмолвный разговор с могилой.

Могила не осталась безответной.

Когда Федор стал замерзать на степном сквозняке и думал возвращаться в поселок, старик громко вскрикнул. Федор подскочил, как ужаленный.

– Что?!

Ротмистр, привалившись спиной к кресту, протягивал ему руку, сжатую в кулак.

– Что? – упавшим голосом повторил Федор.

Старик медленно разжал пальцы. На ладони лежала пуля. Федор взял ее. Она была сплющена с одного конца, с бурым налетом.

– Это... моя, та самая, – с усилием выговорил старик. На губах у него пузырилось все больше. – Прощен... и Бог простит. Скажи попу... покайся я. Пускай отпуст сотворит. Отпоет по-православному. Иваном меня крестили...

С последним словом из него вышел дух, а оставленная ветхая плоть поникла, прильнув к могильному холму.

Федор, неожиданно для себя, заплакал, сжимая старую револьверную пулю с засохшей кровью.

Похороны никому не ведомого старца прошли незаметно. Кроме двух гробовщиков и священника, на кладбище присутствовали Федор с Аглаей и приبلудный турист, фотографировавший что ни попадя.

Аглая чуждалась Федора, казалась отрешенной, занятой посторонними, по его мнению, мыслями. После десятидневного исчезновения он ожидал расспросов, внимания и хоть немного высказанного волнения. Отсутствие всего этого сильно задевало. От самой

кержацкой пещеры он нес для нее подарок – две половинки сломанной черной иконы, хотел поразить ее тайными каракулями подземной чуди. Аглая отвергла дар с едва скрытой брезгливостью, даже не взяв в руки. Федор сухо отчитался перед ней в том, что узнал от старика Плеснева, и утаил все то, что предшествовало его появлению в ограбленной пещере. Ответом был задумчивый кивок и странное, недешифрируемое выражение глаз.

– Скажите же хоть слово, – оскорбленно молвил Федор, – в конце концов я для вас старался.

– Неужели? – рассеянно произнесла она, отворачиваясь. – Мне казалось, вы сами в этом заинтересованы.

– И поэтому вы сердитесь на меня?

– Я не сержусь на вас, Федор, – удивленно сказала Аглая.

– Я же вижу. Вам что-то не нравится. Знаете, на вас трудно угодить. По-моему, вы слишком капризны. В такой глуши это редкость. Обычно в подобных местах население неприхотливо.

Излив желчь, Федор сложил руки на груди и с видом Наполеона на поле битвы ждал ответа.

– Да, мне не нравится, – сказала она просто, без полководческих поз. – Я случайно видела, как вы вдвоем на рассвете уезжали из поселка. Зачем он взял вас в горы, Федор?

Совсем не так он представлял себе в альпийских лугах этот разговор с ней. Он думал, что с его стороны это будет откровение, а выходил банальный допрос – с ее стороны.

– Я не знаю, – честно ответил Федор.

– Что он рассказывал вам?

В ее глазах собирались облака тревоги, и это не могло не радовать. «Ну наконец-то, – подумал он, – разродилась...»

– Так, всякую мистическую ерунду.

– Берегитесь, Федор, в горах любая ерунда может оказаться вовсе не ерундой, – с самым серьезным видом проговорила Аглая.

– Вот-вот, он плел мне то же самое.

– Я уверена, он хочет идти по следу Бернгарта. Не ходите больше с ним.

– Объясните почему, тогда не пойду, – слукавил Федор.

– Бернгарт искал не Беловодье. И не золото. Он искал чужь, тайные подземные тропы.

– Ах вот оно что. И как я сразу не догадался.

– Это совсем не смешно. В конце концов он нашел что искал. Вместе со своими партизанами – около пятисот человек – он ушел в пещеры, а вернулся через год – один. Он никому не рассказал, что стало с этими пятью сотнями. Его хотели арестовать, но он бежал и еще год сидел в горах с заново собранным отрядом, разорял ближние села назло новой власти. Потом это называли антисоветским мятежом... Вас было только двое? – вдруг спросила она.

Федор, хотя и был застигнут врасплох, глазом не моргнул:

– Да... Между прочим, откуда вам, милая барышня, все это известно?

– Бернгарт был мой прадед, – помедлив, ответила она. – Мою бабушку он зачал как раз в горах, во время своего антисоветского сидения там.

Федор почувствовал себя одновременно обманутым, сраженным наповал и восхищенным новым изгибом иронии судьбы.

– Да, – задумчиво произнес он, – вот так живешь себе спокойно, прозябаешь и не

знаешь, что вытворяли предки. А потом бац – и пошло-поехало.

Философское обобщение вышло кургузым, и он смутился.

– Обещайте, что не пойдете больше в горы с этим человеком, – попросила Аглая. – С этим Евгением Петровичем, если это его настоящее имя.

– Обещаю. Это тем проще, что он мертв, – брякнул Федор.

Аглая вздрогнула.

– Как это случилось?

Федор рассказал. Все – об их блужданиях и о свихнувшемся под конец Попугчике, пытавшемся его зарезать. Ничего – о девке со звериным взглядом и об уродливом существе, копошившемся возле трупа.

– Это можно было ожидать, – произнесла Аглая.

– Что именно?

– Теперь вам лучше вообще не соваться в горы, – сказала она, будто ультиматум поставила. – Вам еще повезло, что выбрались оттуда.

– Аглая, перестаньте говорить загадками, – попросил Федор, – ей-богу, уже голова от них болит. Прямо какое-то местное поветрие. Не верю я в вашу подземную чудь. Не верю и не хочу верить.

– А про каких пришельцев из нижних пещер вам рассказывал старик? – Аглая дернула уголком губ.

– У господина ротмистра в мозгах мутилось от долгой жизни в людоедской пещере.

– Как хотите, – с напускным безразличием сказала девушка. – Вообще-то никаких загадок. Просто вас хотели принести в жертву, вот и все. Независимо от вашей веры или неверия.

– В жертву?!

Федор расхохотался, но вдруг осекся и помрачнел. Вспомнил, как Попугчик говорил о «цене», которую взяли «они», но при этом не отдали ничего взамен, в точности по правилам дикого воровского рынка.

– Надо бы оформить могилу, – сменил он тему, кивнув на крест с табличкой «Офицер Русской армии».

Незаметно для себя они проделали путь до сгоревшей церкви, на месте которой уже рыли яму под фундамент.

– Имя известно – Петр. Отчество у старика ротмистра вылетело из памяти. Звание. Дата смерти – девятнадцатый год, где-то после Пасхи. Год рождения неизвестен. Что еще?

– Причина смерти, – подсказала Аглая. – Бунт младших офицеров? Они сочувствовали большевикам?

– Непохоже. Плеснев говорил только за себя. И красным он предпочел кержаков, замуровался с ними в пещере на всю жизнь.

– Тогда это не могло быть рядовое недовольство. Чтобы младший по званию стал на глазах у всех стрелять в командира полка – для этого нужен сильный мотив. Сильнее личной ненависти. Он ведь знал, что за это не к медали представят.

– Если бы не начался бой, его скорее всего расстреляли бы. Но только в том случае... – Федор замолчал, пораженный внезапной мыслью.

– В каком?

– Если полковник Шергин сам не перешел на сторону красных. Или по крайней мере не высказал такую возможность.

– Это серьезное обвинение, – нахмурилась Аглая. – Слово не воробей... Теперь вам придется или доказать это, или опровергнуть.

– А может, – Федор сделал над собой усилие, – не нужно копать? Что если это окажется правдой?..

– А если да – отречетесь от вашего прадеда? – с вызовом посмотрела на него Аглая.

– Вообще-то я далек от политики, – вяло промолвил он. – Но честь мундира, знаете, такая штука...

– Ему это было известно не хуже вас, я думаю, – ее голос звенел струной. – В любом случае его выбор – это история. А от собственной истории, какая бы она ни была, не отрекаются.

– Милая Аглая, – вздохнул Федор, – позвольте вам напомнить, что я вообще-то по профессии историк. Не вам учить меня азам моего ремесла.

– Тогда о чем мы спорим? – пожалала она плечами.

– Да, в сущности, ни о чем... А вы, оказывается, умеете быть страстной, – усмехнулся Федор. – Приятно удивлен этим.

Но еще больше удовольствия он получил, увидев, как Аглая зарумянилась и отвернулась в смущении.

– Слава богу, – он возвел очи горе, – ничто человеческое вам не чуждо. А то я уже начал беспокоиться.

К концу июля Усть-Чегень вновь превратился на короткое время в мекку для чиновных персон и журналистов. Местные газеты кричали заголовками о том, что «тайна белогвардейского полковника раскрыта». На могиле возле строящейся церкви появилась каменная плита с золотой гравировкой. Туристы протоптали к ней тропу и не скупились на цветы.

Только правнук полковника не участвовал в общем брожении и даже устремился прочь из Усть-Чегеня, чтобы вдоволь порыться во всемирном банке слухов, сплетен и сведений обо всем на свете. На этот раз Федор направил стопы не в Актагаш, где обитали негостеприимные «беловодцы», а гораздо дальше – в районный центр Онгудай, за двести сорок километров от Усть-Чегеня. Здесь было тихо, спокойно, и никто не висел над душой с гадкими историями про Беловодье, подземную чужь и жертвоприношения. Словом, два дня Федор отдыхал, неспешно шествуя по паучьим дорожкам Сети. Тем более что информации на этих тропинках набиралось с паучиный горошек. Белоэмигрантская литература щедро отсыпала ему пару фраз о полковнике Шергине, который «усмирял краснопартизанское движение на Алтае, преследовал изуверские банды Рогова в районе реки Чумыш, погиб там же». В мемуарах бывших колчаковских офицеров и чиновников сибирского правительства это имя отсутствовало. Несколько книг из интернетовских каталогов Федор попытался найти в онгудайской библиотеке, но успеха не имел. В справочнике Клавинга по Белому движению Барнаульский сводный полк категорически не значился. После этого Федор начал подозревать, что даже в Государственном архиве революции и Гражданской войны он не найдет никакой информации о своем предке. О капитанах и есаулах, с боями отступавших к Китаю и Монголии в двадцатом, – сколько угодно. О полковнике, которого занесло в самую глубь Горного Алтая на пике колчаковских удач девятнадцатого, – невнятное умолчание.

«Франкенштейн, – вспомнил Федор прозвище полковника. – А ведь не любили его. Почему? За что ротмистр Плеснев ненавидел его? Мой прадед был таким уж чудовищем?»

Одно казалось несомненным – пока он действительно не раскроет «тайну

белогвардейского полковника», его жизнь не перестанет быть ристалищем мистических стихий. Федор ощущал это так же явственно, как то, что благосклонность к нему Аглаи странным образом зависела от результата его расследования. «Ну да, ведь она же правнучка Бернгарта, – подумал он, удовлетворенный тем, что хоть какая-то логика во всем этом есть. Пусть даже мистическая. – А я – правнук полковника Шергина. В девятнадцатом году между этими двумя здесь произошло нечто. Полк «Франкенштейна» преследовал партизан Бернгарта, войско «мертвецов», которых наколдовал какой-то шаман. Почему мертвецов? Нет, мертвецов лучше не брать в расчет. А вот шаман – это след. У аборигенов долгая память, надо порасспрашивать... Или, наоборот, Бернгарт со своими хищниками загнал полк Шергина в эту глухомань. Дуэль двух отрядов, своеобразно и не лишено правдоподобия. А что если они были знакомы? И имели давние личные разногласия? Например, из-за бабы. Пардон, из-за дамы. Отложенная по причине Первой мировой петербургская дуэль, ненависть, пронесенная через года, схватка в алтайских дебрях, на краю света... И девяносто лет спустя их правнуки продолжают ту же дуэль, только в ином, так сказать, формате».

Федор сообразил, что фантазия завела его довольно-таки далеко, за облака, и нужно возвращаться на твердую землю. Однако фантазии оставляют не менее твердый след в душе. И единственный вывод из этого долгого размышления формулировался примерно так: «А все-таки она будет моей. Решено».

Не рассчитав, он слишком рано вернулся в Усть-Чегень. Журналистско-чиновное брожение вокруг новой местной достопримечательности в этот день достигло пика. Федор угодил прямиком на заупокойную с последующими повторными речами, правда, менее пространными, чем в прошлый раз.

Момента, когда он попал в поле зрения телевизионщиков, Федор не заметил и потому лишился возможности вовремя сбежать. Оператор накатил на него с камерой словно девятый вал, репортер с микрофоном, обвешанный проводами, тут же приступил к допросу:

– Вы в самом деле потомок Петра Шергина?

Федор окатил его сумрачным взглядом, потом заметил за спинами телевизионщиков благодуществующего отца Павла.

– А что? – спросил он с идиотским выражением.

– Мы бы хотели задать вам пару вопросов, если не возражаете.

Федор не успел возразить, как первый вопрос был задан:

– Как вам удалось обнаружить безымянное захоронение почти что в голой степи? У вас были какие-то семейные предания об этой могиле?

– Я, видите ли, просто искал клад, – Федор соорудил на лице улыбку, – с детства обожаю рыться в степи. Здесь за века накопился богатый культурный слой.

Репортер на секунду замер, очевидно, выбирая, по какому пути направить разговор: повернуть в сторону кладов или возвратиться к теме дня. Клады проиграли.

– Но сейчас вы, вероятно, испытываете какие-то чувства к вашему родственнику? Вы – спонсор этого мероприятия. – Репортер широко повел рукой, обмахнув толпу. – Вас переполняет гордость, радость? Поделитесь с нашими телезрителями.

– Во-первых, я не спонсор этого мероприятия, – сказал Федор, насупившись, – я всего лишь оплатил плиту для могилы. Во-вторых, не понимаю, почему я должен делиться своими чувствами с толпой незнакомых мне людей. Но вам, лично вам, – он ткнул пальцем в репортера, – я скажу. К полковнику Шергину я не могу испытывать сейчас никаких чувств,

поскольку мне неизвестно ни одно его деяние.

В глазах журналиста стало появляться понимание неправильности ситуации.

– Но ведь Шергин воевал с большевиками за демократическую Россию, противостоял коммунистической чуме, – промямлил он, забыв о микрофоне.

– А я, знаете ли, анархист, – мрачно ответил Федор. – С моего берега не видно никакой разницы между Лениным и Керенским. И вообще, кто вам сказал, что полковник Шергин воевал за демократическую Россию?

Лицо репортера покрылось мелкими каплями пота.

– А за что он воевал?

– В белых армиях были разные люди, – пустился в разъяснения Федор. – С разными представлениями о благе отечества. Но я думаю, лучшие из них понимали обреченность Белого дела. Если вас интересует мое мнение, то лично меня привлекает в Белом движении идея «частей смерти», ударных полков с костями и черепом на знаменах. Эти люди знали, что прежняя, дорогая им Россия умирает, и хотели умереть вместе с ней. Это идея добровольного мученичества за свои идеалы. Но я сильно сомневаюсь, что они шли умирать за Керенского. Я ответил на пару ваших вопросов?

Репортер с кислым видом кивнул оператору:

– Пошли поищем нормальный объект. Этого психа придется резать.

Федор проводил их взглядом. Затем подошел к отцу Павлу, с кроткой улыбкой слушавшему весь разговор.

– Слыхали? Резать меня будут. Это вам я обязан вниманием этих маньяков?

Отец Павел виновато развел руками, не переставая улыбаться.

– Мне.

– Благодарствую, батюшка, услужили.

– Что делать. Терпите. У них тяжелая и неблагодарная работа, а Господь велел нести скорби ближних как свои. Да и не вы, а я должен вас благодарить.

– За что это?

– За щедрое пожертвование на храм.

– Ну, это я в смысле – чем быстрее построят, тем лучше, – вдруг сконфузился Федор, – а то вся эта стройка не лучший антураж для могилы. К тому же деньги мне легко достались.

Он скромно умолчал о том, что за эти легкие деньги ему пришлось блуждать по горам, несколько дней голодать и едва не быть убитым.

– Вы, правда, анархист? – с интересом спросил священник.

– А что, не похож?

– Не знаю. Современный анархист мне представляется неким лохматым, неряшливым и, простите, неумытым существом. О вас этого не скажешь.

– Вы путаете анархиста с хиппи, – усмехнулся Федор.

– Возможно. А в чем выражается ваш анархизм?

Федор задумался, рассеянно оглядывая расходящуюся по своим делам публику, дожевывающих последние впечатления журналистов и вышедших в народ чиновников.

– Трудно сказать. Меня так прозвал дед Филимон. А что он имел в виду, я не спрашивал. Хотя, наверное, доля истины в этом есть. Если выражаться фигурально, в духовном смысле, то я бы хотел жить на вершине горы, там, где, кроме свободы, ничего нет. И чтобы вокруг бушевали очистительные волны всемирного потопа. Если вы понимаете, о чем я.

– Кажется, понимаю, – кивнул священник, пощипывая клочковатую бороду. – Эту тоску

по свободе и всемирному потоку нельзя назвать чистым стремлением к разрушению. Вы из того рода людей, у которых в тяге к разрушению проявляет себя чувство абсолюта. Ваше подсознание заявляет таким образом о своей жажде Бога.

– Неожиданно, – хмыкнул Федор. – Слишком крутой для меня поворот мысли. Но я подумаю над этим. Кстати, у меня к вам тоже есть вопрос. По семейной, так сказать, истории. От вашего прадеда-священника остались какие-нибудь бумаги, воспоминания? Меня, как вы понимаете, интересуют события весны девятнадцатого года.

– Пытаетесь разобраться, что произошло здесь тогда?

– Увы, пока что приходится только фантазировать. Два живых свидетеля, из которых один был – Царство ему небесное – непосредственный участник событий, а толку ноль.

– Ну, от меня, боюсь, толку не больше. Если что и было, все потерялось. Прадеда убили в двадцать первом. После этого его жена с детьми, бросив дом, переехала в Бийск и скоро умерла. Детей разобрали родственники. И имущества никакого.

– Вы раньше служили в Бийске? – в голове у Федора что-то забрезжило.

– Да.

– А нет ли у вас случайно знакомого священника в Москве?

– Случайно есть.

– И фамилия ваша – Александров?

– Хотите сказать, отец Валерьян из церкви Николы в Хамовниках говорил вам обо мне? – с улыбкой догадался священник.

– Это он посоветовал мне ехать в Золотые горы и написал записку с вашим адресом. А я ее потерял.

– Мир тесен.

– Да не в этом дело. Просто еще раз убеждаюсь, что меня забросило сюда совсем не просто так, а по каким-то странным мистическим рельсам. Вы не скажете мне, зачем я здесь? – Федор в упор посмотрел на священника, ожидая от него Соломоновой мудрости.

– Ну, вы же хотите подняться на вершину горы? Мне думается, именно для этого вы здесь.

Из ясных голубых глаз отца Павла струился тихий свет, окропивший и Федора смутной, теплой надеждой. От этого пришедшего извне чувства ему вдруг затосковалось сильнее и глубже, когда проникший в него свет рассеялся без остатка в глухом лесу его души.

По дороге в поселок Федор нагнал Аглаю. Но не успел завести разговор, как навстречу им вылез верблюжий пастух с французским именем Жан-Поль.

– Здравствуй, Белая Береза! – издали крикнул он, ухмыляясь до ушей.

– А вот и Бельмондо из засады, – сухо прокомментировал Федор.

– Привет, Жанпо.

– Смотри, какой я тебе подарок нашел.

Парень со счастливым видом протянул руку. На ладони лежал почти идеально круглый плоский голыш. Природный рисунок камня состоял из красно-зеленых узоров, похожих на разводы акварели.

– Из Кокури достал.

– Очень красивый, – сказала Аглая, беря камень. – Спасибо, Жанпо.

Федор почувствовал себя униженным, оскорбленным и даже лишним.

– Охотники добыли медведя. Приходи вечером смотреть.

– Обязательно приду, спасибо.

Когда желтолицый Бельмондо скрылся из виду, Федор, с усилием напустив на себя непринужденность, дал волю возмущению:

– А я-то уж думал, вы ни от кого не принимаете подарков. Оказывается, ошибся. От кого угодно, только не от меня? Скажите честно – вам нравится этот засаленный пастух? Любовь, конечно, зла, я понимаю...

– Если хотите, подарите и вы что-нибудь, – перебила Аглая, пряча улыбку. – Обещаю, на этот раз не отвергну ваш дар.

– Обещаете? – Федор не поверил услышанному. – Что бы я ни подарил?

– Ну, если это не будет, например, слон, которого мне негде поселить.

– А если... хотя нет. Я сделаю вам сюрприз. И попробуйте только отказаться! – пригрозил он.

– Договорились.

– Завтра же. В семь утра я приду к вам домой.

– Бойтесь опоздать? Завтра с пяти я на работе.

– Тогда послезавтра.

– Хорошо.

– А насчет медведя – это он серьезно?

– Конечно. Раз в году здешние алтайцы убивают в горах медведя и приносят его в стойбище. Это ритуальная охота.

– Вы участвуете в языческих ритуалах? – удивился Федор. – Может, и на камланиях присутствуете?

Некоторое время Аглая шла молча. И тут его осенило. Он увидел ее лицо, в котором сквозь славянские черты внезапно, будто из небытия, проступил дух Азии, монгольских степей и кочевых орд, сметающих все на своем пути. Все, что было в ней дикарского, вдруг получило простое объяснение, не сделавшее, однако, простым отношение Федора к этой девушке и ничуть не приблизившее его к ней, к пониманию мотивов, которые движут ею. Она даже не подпускала его на расстояние доверительного «ты», словно опасалась, что он займет слишком много места возле нее.

– Ваша прабабка, та, которая в горах с Бернгартом... она была туземка? Как же я раньше не догадался.

– Да, скифы мы и азиаты, с раскосыми и жадными глазами, – легко улыбнулась Аглая. – Я из того же рода, что и Жанпо. Вы, наверное, заметили, что местные алтайцы любят меня?

– Чего уж тут не заметить.

– Мои родители очень сильно любили друг друга. Так сильно, что иногда, мне кажется, им становилось страшно – ведь такая любовь дается... как бы в аванс, а чем придется отдавать, неизвестно. И наконец их смутные ожидания сбылись. В тот день мы поехали в горы, мне было десять лет. Я собирала цветы, а они готовили обед. Вдруг раздался сильный грохот. Я подумала, что гроза, засмеялась. Потом обернулась, а там, где были мама с отцом, лежат огромные камни... В тех местах никогда не бывает камнепадов... Я не сразу поняла, куда подевались мои родители. Звала их. А вместо них из-за камней вышел медведь. Он направился ко мне, встал на задние лапы. И вдруг раздался выстрел. Медведь заревел, повернулся и убежал. Стрелял пастух, он слышал грохот и решил посмотреть, что случилось. У медведя был слишком решительный вид, наверное, он меня убил бы...

– Я видел, как медведь-убийца загрыз человека, – медленно, словно в гипнотическом сне, проговорил Федор.

– Где? – насторожилась Аглая.

– В зоопарке, – опомнился он, – пьяный сторож сдуру полез в клетку.

– В таком случае это не медведь-убийца, а сторож-самоубийца.

– Я и говорю.

– С тех пор, – продолжала Аглая, – алтайцы зовут меня, когда убивают медведя. Но они, конечно, понимают, что никогда не убьют того самого медведя, которого видела я. Они считают его духом здешних мест, хозяином гор.

– Зачем тогда зовут вас, если это заведомо не тот медведь?

– Из вежливости.

– А вы из вежливости ходите смотреть на их ритуальные танцы вокруг туши.

– Они не танцуют вокруг туши. Они молятся духу-медведю. Если я не пойду, это обидит их.

– Ну, я вижу, с заповедью толерантности у вас тут все в порядке, – бодро заметил Федор.

– Заповедь толерантности? – Аглая изумленно подняла бровь. – Это та, что вместо заповеди любви к ближнему?

– Она самая. Современная редакция для постхристиан.

Возле дома Аглаи Федору отчего-то подумалось, что они похожи на нерешительных влюбленных, которым, чтобы признаться друг другу в чувствах, нужно нагулять еще не один десяток километров. Однако дело обстояло совсем иначе.

– Послезавтра в семь утра, – напомнил он. – И наденьте что-нибудь выходное.

– Вы поведете меня в кафе-мороженое?

– Нет, все будет по-взрослому, – без тени улыбки пообещал Федор.

Вертолетные лопасти застыли над степью, вихрь, с дурной шалостью вздымавший юбку Аглаи, умер. Чахлые кустики травы вновь обрели молитвенную неподвижность, напрасно взывая к бледному небу о спасительной влаге.

– Прошу. – Федор открыл дверцу в брюхе вертолета, в общих чертах похожего на плод неравной любви птеродактиля и мамонта.

– Даже не знаю, что сказать, – молвила Аглая, ошеломленно созерцая внутренности вертушки, когда они уселись на скамью.

– Я предупреждал, что все будет по-взрослому.

Из кабины высунулся кудрявый парень в комбинезоне, с веселой физиономией.

– Добро пожаловать на воздушный транспорт «Карлсон». Я – Митя, – представился он Аглае и спросил Федора: – Летим, шеф?

– Летим. Во сколько будем на месте?

– Домчу стремительно, на айн, цвай, драй. Видами налюбоваться не успеете.

Митя исчез в кабине. Простуженно зарокотал винт, засвистел, рассекая тугой, застоявшийся воздух степи. Вертолет, клюнув носом, тяжело, как разжиревшая утка, поднялся в воздух, завис на несколько мгновений и полетел.

– По-моему, этому чуду техники не помешали бы испытания на прочность, – с сомнением сказала Аглая, выглядывая в окно. – Надеюсь, от него не начнут прямо в воздухе отваливаться болты. Где вы раздобыли его?

– В Узуноре, в аэроклубе. Его склеили из того, что было. Не волнуйтесь, Митя – профессионал в своем деле, если будем падать, он выпрыгнет последним.

– Это обнадеживает. А куда мы все-таки летим?

– На Барнаул я не решился замахнуться, памятуя о вашей городофобии. Выбрал Бийск.

Он помельче, и народу поменьше. Но с цивилизацией там все в порядке, я проверял.

Аглая прыснула со смеху, уткнувшись лбом в стекло.

– Что? – спросил Федор, чувствуя подвох.

– Ничего, просто вспомнила, какое впечатление произвел этот город на одного писателя сто лет назад: «Что за отвратительная, невообразимая грязь, – процитировала она. – Улицы – сплошная топь, мерзость, азиатчина. Дороги мостятся навозом, дохлыми кошками, мусором. Это не улицы, а сплошные отвалы».

– Сто лет назад и Париж вонял, не то что алтайское захолустье, – проворчал Федор. – Про парижскую вонь еще Петр Великий знаменито высказался. Добро, говорит, перенимать у французов художества и науки, сие желал бы и у себя видеть, а в прочем Париж воняет.

– Города похожи на людей. – Ее смех перешел в меланхолию. – Красивый, ухоженный фасад, а за ним – тьма, серные клубы дыма, адская вонь. Кажется, что душа человеческая – темная бездна ада, но на самом деле это только глубокая ночь. Разбуди солнце и увидишь, что душа – это небо, синее, хрустальное. Скажите, Федор, вам уютно живется в мире, который погружен во тьму?

– Уютно? – переспросил Федор. – Кто вообще может думать об этом мире как о месте уюта? Мир – это крошечный коврик для борьбы за выживание.

– А должен быть местом уюта. Легенду о Беловодье, стране счастья, создала тоска бесприютности. Эта легенда никогда не умрет. В Беловодье будут стремиться всегда.

– Особенно когда на дворе опять эпоха перемен, – воодушевился Федор. – А за последний век эта не-дай-бог-эпоха у нас уже вторая. И знаете, что удивительно. Зачинщиками революций, потрясений основ могут быть разные мутные личности, ищущие собственную выгоду, но опираются они всегда на тех, кто, как вы выразились, стремится в Беловодье. Страна счастья и справедливости своими флюидами вызывает повальное бешенство среди населения. А затем начинается пьянка на крови. Недаром же Беловодье выдумали раскольники. Раскол, развал, разгром. Гражданская война.

– Эпоха не вторая, – сказала Аглая, – это продолжение первой.

– Я упростил до двух, – объяснил Федор и на всякий случай уточнил: – Вам, правда, интересен этот разговор?

– Не вы же его начали.

– Пардон. Это я упустил из виду... Хотя развлекать девушку беседой о политике – сущий моветон и страшная глупость.

– Ну так смените тему.

– Увы, мне трудно это сделать. За два месяца в ваших краях я слишком сильно пропитался мистицизмом. А здешний мистицизм отчего-то дурно пахнет политикой.

– Любой мистицизм рано или поздно влезает в политику. Мистики – это те люди, которые думают, что им дано управлять миром.

– Вы опережаете мою мысль, – сказал Федор. – Кстати, хоть в чем-то мы, кажется, единомышленны. Не возражаете?

– Конечно, нет. Смотрите, какая красота.

Федор повернулся к окну, глянул вниз. Тень от вертолета бежала по скалам, головокруглительно виснувшим в пустоте над стремительной, яростной рекой. На узких карнизах вился серпантин Чуйского тракта, по нему опасно и вдумчиво ползли два большегруза. Лысые верхушки скал белоснежно поблескивали на солнце, будто мраморные.

– Там мрамор, – словно прочитав его мысли, подтвердила Аглая. – Это Белый Бом.

– Не дорога, а сплошной аттракцион, – поежился Федор. – Я, наверно, спал, когда проезжал тут.

– Самое опасное место тракта, – кивнула девушка. – Бомы – скалы, висящие над рекой. Возле Белого Боба в Гражданскую были частые бои. Там и сейчас еще можно найти ржавые гильзы.

– Я полагаю, не такие уж они и ржавые, – отворачиваясь от окна, сказал Федор. – В мистическом плане, я имею в виду. Большевики соблазняли народовластием, нынче блажат тем же самым. Игра «Найдите десять отличий».

– Дорога в Беловодье лежит через подземелья чуди... – медленно проговорила Аглая.

– Что? А, ну да... Знаете, меня посетила забавная мысль. Это, конечно, не случайно, что теперешним символом российской политики стал медведь. Косолапости и тугоухости ей не занимать.

– Вы любите ходить в зоопарк? – вдруг спросила Аглая.

Федор решил, что ей надоела наконец болтовня о несерьезных и малоинтересных вещах.

– Не люблю и ни разу не был. Предлагаете сходить? Не помню, есть ли в Бийске зоопарк.

– Я тоже не люблю смотреть на зверей в клетках. А где вы видели медведя, который загрыз пьяного сторожа, если никогда не были в зоопарке?

Она пристально смотрела на него, и, чтобы придумать ответ, одновременно проклиная собственную тупость, у Федора не было ни секунды.

– Э... Я соврал. Про медведя. Ничего такого никогда не видел. Просто так сказалось. Под впечатлением вашего рассказа, – рублено проговорил он и выдохнул, приложив руку к сердцу: – Простите.

– Нет, что-то здесь не так, – в сомнениях промолвила Аглая.

– А... может, мне это приснилось? – с надеждой спросил Федор. – Да, точно, приснилось. Теперь я в этом уверен.

– Воля ваша, – смирилась Аглая.

Из кабины появилась улыбающаяся Митина голова в летном кожаном шлеме времен перелета Чкалова через Северный полюс.

– Чего загрустили, пассажиры? В воздухе вешать носы строго запрещено, а то вниз перетянут. Включу-ка я вам музыку.

Федор злился на себя за промах, Аглая терпеливо изучала виды внизу, и латиноамериканские ритмы, ворвавшиеся в тесноту вертушки, были бессильны снова протянуть между ними нить разговора. «Ничего, в городе весь ее аглицкий сплин как рукой снимет, – решил Федор. – Там она забудет свои позы все-на-свете-мне-известно-и-неинтересно. Тоже мне, Онегин в юбке».

Около десяти часов утра Митя посадил чудовищную машину на окраинной автостоянке Бийска, поругавшись в свое удовольствие с двумя разгневанными автовладельцами и брюхастым охранником.

– Со здешним аэроклубом я поспорил, – объяснил он пассажирам, – а то бы там высадил. Не нравится им мой «Карлсон». Эх...

Договорились, что вечером Митя заберет их отсюда же, в семь часов.

– Ну-с, – сказал Федор, оглядываясь в поисках такси, – начнем. В ресторане вы когда-нибудь завтракали?

Аглая широко распахнула глаза.

– Таких дурных привычек не имею.

Федор расправил плечи и коварно усмехнулся.

– Сегодня вы в моей власти, – почти что мстительно произнес он, – а значит, и во власти моих дурных привычек. Для вас сегодня открыты двери самых презентабельных ресторанов этого милого провинциального городка. Я покажу вам, что такое городская жизнь. Напрочь развею ваши дикие представления о цивилизации...

– Хотя здешний калибр все же не тот, – огорченно добавил он, когда такси, подхватив их, неторопливо покатило по улицам города. – Материал, прямо скажем, не столичный.

– Из Москвы? – поинтересовался шофер.

– Из нее, родимой.

– Ну-ну, – с непонятной угрозой произнес водитель.

– Что вы имеете в виду? – спросил Федор, не сочтя возможным оставить это подозрительное «ну-ну» без внимания.

Помолчав, шофер ответил:

– Да вот говорят: Москва – третий Рим. А живут там одни жида. Западло выходит.

– У вас, милейший, неверная информация, – сказал Федор тоном, от которого сильно тянуло пустынным суховеем. – Еврейской нации там не больше, чем везде.

Но таксист ему не поверил.

– Как же, не больше. Чтоб так страну высосать, как ее Москва доит, нужно очень много жидов. Если не все натуральные, так примазавшиеся. Ты вот, к примеру, примазавшийся, сразу видно.

Федор хотел было ответить самым категорическим образом, но тут в памяти всплыла пухлая пачка денег от Гриши Вайнстока, и он засомневался, нет ли в убеждении водителя доли сермяжной правды.

– Молчишь? Вот и молчи, – уже без всякой вражды сказал шофер. – Нечего рот разевать, перед девчонкой позориться.

Федор послал ему испепеляющий взгляд, потом покосился на Аглаю. Она улыбалась с отсутствующим видом. Глядя на нее, он быстро успокоился, наклонился к водителю и пошептал ему на ухо.

– Понял, – нехотя ответил таксист. – Так бы сразу и сказал.

До центра города он не проронил ни слова, а высадив пассажиров, крикнул вслед:

– В дурдоме подлечись, псих.

Федор не стал оборачиваться.

В пустом с утра ресторане он выбрал самый дальний столик. Презентабельностью, однако, это заведение в самом центре города могло похвастать лишь условно. Остатки советского общепитовского антуража, вроде эпитафии над дверью «Каждому – вкусную и здоровую пищу», плавно перетекали в пошлый буржуазный дизайн с пухлыми амурами на стенах и скульптурой писающего мальчика в углу.

– Что вы ему сказали? – спросила Аглая, рассеянно листая меню.

– Кому? – не понял Федор.

– Таксисту.

– Да так, ничего особенного. Пригрозил насрать на него злого духа.

Она слегка улыбнулась.

– Какого духа?

– Очень злого. Грозу алтайских шоферов. Вроде баба, а сама с медвежьей мордой. Не

слыхали про такого?

Сложив локти на столе, он в упор рассматривал Аглаю.

– Не помню, – спокойно ответила она, – может быть. А вы что, видели ее?

Хорошо притворяется, с удовлетворением отметил Федор.

– Слышал.

Они оба водили друг друга за нос, и ему это отчего-то доставляло тонкое интеллектуальное наслаждение. «Два неглупых человека не желают признаваться, что знакомы с призраком, – думал он. – Но причины, по которым они этого не делают, абсолютно разные, если не сказать противоположные». В том, что Аглая верит в существование духов, у Федора сомнений не было. «Неужели ею движет суеверный страх, языческое поверье, что помянув духа – призовешь его?» – гадал он.

До семи часов вечера Федор наметил широкую программу: ресторан, салон модной одежды, ювелирная лавка, книжный магазин, художественная галерея местного масштаба, интернет-кафе, казино (деньги, которые можно проиграть, отложил заранее). Аглая внесла поправки, урезав список вдвое. К тому же время шло слишком стремительно, вынуждая комкать приобщение к цивилизации. Из салона модной одежды девушки-продавщицы провожали их скептическими взглядами: Аглая ничего не выбрала, несмотря на то что Федор велел ей не отказывать себе ни в чем. В конце концов он едва уговорил ее согласиться на платье из голубого бархата. Но упросить ее выйти из магазина в новом приобретении ему уже не хватило ни сил, ни слов.

Посещению ювелирной лавки Аглая твердо воспротивилась: «Не хочу, чтобы подумали, будто я ваша любовница».

– А если невеста? – приняв к сведению, спросил Федор.

Она одарила его недоуменным взглядом.

– Вы делаете мне предложение?

– Пока нет, – слегка растерялся он от такой прямолинейности, – но...

– Тогда не стоит об этом говорить.

«Ну и ну», – с досадой сказал себе Федор. Он все меньше понимал, как можно ладить с этой непредсказуемой, словно погода в алтайских горах, барышней. Менее всего это походило на его прежние игры в самолюбие с женщинами, доступ к которым открывался обычно легким движением руки, обнимающей за талию, либо пристальным, но непременно скольльзящим и обязательно оценивающим взглядом. И чем скорее он желал получить доступ к Аглае, тем больше оказывалось расстояние между ними и тем острее ему хотелось, чтобы их отношения не напоминали трюк канатоходца, идущего по тонкой веревке над пропастью.

Более всего девушку заинтересовал книжный магазин: гламурно изданные альбомы про лошадей, православные храмы и природные заповедники, «Андрей Рублев» и «Жития старцев Оптиной пустыни». Федор добавил к этому «Демонологию» и «Молот ведьм».

– Хотите податься в инквизиторы? – спросила Аглая.

– Так, надо разобраться с одной знакомой, – уклончиво ответил Федор и взял в доверие «Колдунов вуду».

– Слишком мрачно, – не одобрила она. – Мертвецы, зомби.

– В здешних горах как раз процветает мракобесие, – саркастически сказал он.

В историческом отделе по Гражданской войне ничего дельного не нашлось. Но возле выхода из магазина со стеной приступки Федору бросилось в глаза название: «В глубь Алтая. Отдельный Барнаульский». Рядом с несколькими разложенными томиками стоял

заросший бородой пенсионер в панаме, распродающий личную библиотеку. Алчно вцепившись в книгу, Федор лихорадочно пролистнул страницы, спросил цену и торопливо, точно его могли опередить, заплатил вдвое больше.

– Это тот самый Барнаульский полк? – спросила Аглая, заглядывая ему через плечо.

– Тот самый. – Федор от всей души поцеловал книгу. – Мемуары участника событий. Невероятно. Тираж полторы тысячи! – Своим счастливым восторгом он оборачивал на себя прохожую публику. – Издана пять лет назад в Минске. Первое издание – в Америке, в шестьдесят втором. Поразительная удача. В интернете ее нет ни в одном каталоге!

Он энергично потряс руку пенсионера-книгопродавца.

– Вы, уважаемый, гигант мысли. Огромное вам мерси от лица российской исторической науки.

Дедушка в ответ благодушно приподнял панамку.

– На здоровье.

– Кто автор? – спросила Аглая.

– Некто Михаил Чернов. – Федор жадно пробежал глазами аннотацию. – Эмигрант, воевал в том же полку в звании прапорщика, жил в Харбине, потом в Калифорнии, умер в пятьдесят седьмом. Родился в тысяча девятьсот третьем, в Ярославле. То есть в девятнадцатом ему было всего шестнадцать лет... Родился в Ярославле, – потрясенно повторил Федор. – С ума сойти от этой вашей мистики.

– Во-первых, она не моя, – урезонила его Аглая. – Во-вторых, если видеть мистику на каждом углу, то свихнуться точно можно. Дайте книгу.

– Не отдам. – Федор прижал сокровище к груди.

– У вас уже началось помутнение рассудка, – констатировала она. – И руки дрожат.

– Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Видимо, профессиональная болезнь. Вы не понимаете, милая Аглая. Эта книжка – краеугольный кирпич моей диссертации, целый ворох не введенных в научный оборот исторических сведений. Да я просто именинник сегодня!!! – Он подхватил Аглаю на руки и закружил, разгоняя недовольных его счастьем граждан.

Внезапно в глазах у него стало темно, будто на солнце вползла туча, и в правом виске стукнуло раз, другой.

– Поставьте меня, Федор, – услышал он негромкое, но требовательное.

Опустив девушку, он потер висок, посмотрел на небо, затем на нее.

– Это вы меня опять шарахнули?..

– Что с вами? О чем это вы?

– А? Да нет, так. Ничего. – Федор резко помотал головой. – А впрочем... Послушайте, Аглая, вы действительно не понимаете, какой способностью обладаете? У вас же чудовищный удар... не знаю, чем вы бьете, только легко можете свалить и слона.

– Правда? – задумалась она. – Я не знала. Мне всегда представлялось, что я просто рисую вокруг себя защитный круг. Как у Гоголя в «Вие». Как это действует, не имею понятия.

– И давно это у вас?

– С тех пор как погибли родители. Я представляла себе, будто они сплетают вокруг меня руки и закрывают от опасности. Но потом поняла, что это не они, а я сама... мое нежелание становиться частью этого мира... Вам этого, конечно, не понять, – добавила она. – Вы и без того, кажется, считаете меня ненормальной.

Федор попытался оскорбиться:

– Это почему же мне, конечно, не понять? Вы, между прочим, не эксклюзив по этой части, не воображайте. Каждый второй в этом мире ненормальный. И никому это не кажется странным. Я, к примеру, сам ненормальный: недавно выпрыгнул с четвертого этажа. Идемте в кафе. Я голоден, как африканский крокодил.

Они заняли столик под зонтиком летнего кафе, заказали разной съестной ерунды и блюдо алтайской клубники. Пакеты с покупками Федор сунул под ноги, драгоценную книгу положил на стул рядом.

– А зачем вы прыгали с четвертого этажа?

– Вероятно, в тот момент мне тоже очень не хотелось становиться частью этого мира, – честно сказал Федор. – Причем не такой уж хорошей частью. Попросту говоря, куском дерьма. Прошу прощения.

– Это интересно, – она изогнула бровь.

– Да ни капли. Запутался, как ворона в проводах.

Федор дожеввал бутерброд, подвинул к себе мороженое и накидал в него крупных, размером с мандарин, ягод.

– Вы пытались уйти от судьбы. Обмануть ее. – Аглая задумчиво наклонила голову.

– Да? Об этом я как-то не думал.

– Но у вас не получилось.

– Попал в кусты, – пояснил Федор. – Вылез оттуда расписной, как индеец.

– Нет. Просто это не так делается. В окно прыгать бессмысленно. Чтобы обрести свободу, нужно подняться на бесконечно высокую гору, – отрешенно глядя и забыв о еде, говорила Аглая. – Даже если за облаками не видно вершины, надо идти, не останавливаясь. И пускай нет надежды покорить ее – в самом восхождении уже есть свобода.

Федору стало не по себе. Он отодвинул плоску с мороженым и, не мигая, уставился на девушку.

– Вы читаете мысли, или вам отец Павел рассказал про гору?

Она качнула головой.

– Это старая алтайская легенда. О горе, чья вершина всегда скрыта за облаками. Людям, жившим в деревне под горой, казалось, что на самом верху непременно должно быть какое-то чудо. Каждый представлял его по-своему, мечтал подняться туда и увидеть все собственными глазами. Время от времени кто-нибудь уходил из дома и шел в гору. Но когда он останавливался отдохнуть, то навсегда оставался на месте, потому что превращался в камень. В конце концов деревня опустела – никто из жителей не дошел до вершины. Иногда какой-нибудь из камней на склонах горы срывается с места и падает вниз, увлекая за собой другие. Может быть, когда-нибудь они снова станут людьми, если отыщется хоть один человек, который дойдет. Пусть изнемогая, падая, но не переставая двигаться вверх, до конца.

У Федора возникла твердая убежденность, что эту забавную сказку выдумала она сама, живя посреди застывшего быта глухой степи, безмолвного оцепенения каменных баб, вечных, как природа, тягуче-неповоротливых стад и сохраняя в сердце мечту о самом главном в жизни человеке, который когда-нибудь придет и разобьет в прах всю эту сонную окаменелую бездвижность. Это открытие заставило Федора посмотреть на нее совсем другими глазами. Оказывается, он ошибался, приписывая ей мечтания деревенской дуры. Да и откуда вообще взялась в его голове странная блажь про пастушью идиллию с оравой

немытых ребятишек и горой нештопаных носок? Нет, в ее душе цвели совсем другие мечты, в которые, однако, было чрезвычайно трудно вписаться, но еще сложнее предугадать, куда они в конце концов заведут самого Федора, коль скоро он решился примерить их на себе.

– Знаете, вы меня утешили, – сказал он. – Когда мне снова надоест моя деревня под горой, я не стану прыгать в окно. Я пойду и превращусь в камень.

– Вам не интересно, что скрыто за облаками?

– А там что-то скрыто?

– Проверьте.

Федор хотел ответить, что попробует, но вдруг ощутил у себя на лбу недружественный взгляд и отвлекся от разговора. Аглая о чем-то толковала, но он не слышал. В нескольких шагах от кафе посреди тротуара стояла девка в коричневом плаще и, как гоголевская панночка, пожирала его шалыми глазами, упершись в стену невидимого круга. Немногочисленная публика обтекала ее с двух сторон, как вода – торчащий посреди реки клок земли, но, похоже, никто не замечал ее. «Явилась, – стремительно мрачней, подумал Федор, и прежняя уверенность поколебалась: – Может, в самом деле не надо было поминать?..»

Бросив на столик деньги, он нашарил рукой пакеты с покупками и с нервной интонацией произнес:

– Кажется, дождь начинается. Нам, видимо, пора.

Аглая не возражала, однако, выйдя из кафе, красноречиво посмотрела на небо, едва прикрытое облачной ватой. Федор, заметив ее мимику, предпочел позорно промолчать и размашистым шагом направился ловить такси. Посадив Аглаю в машину, он с тревогой осознал, что чего-то не хватает. В душу закралось неприятное предчувствие. Федор бросил пакеты на колени Аглае и помчался к кафе, на бегу высматривая проклятую девку. Ее не было. Он влетел под зонтики, сбил пару стульев и успел перехватить книжку, к которой уже подбирался карлик с кривыми ногами и гадкой физиономией. Вблизи он был похож на карикатурного буржуа из советской газеты, избличавшей гнилые намерения акульей политики капитализма. Уродец злобно зашипел, глядя снизу вверх и продолжая тянуть лапы к книге. Федор, оскалившись в ответ, ткнул его кулаком в грудь, поглядел, как карлик барахтается на полу между стульев, и махнул обратно.

В машине он молчал, как убитый, понимая, что как-то нужно объяснить свою эскападу с внезапным бегством из кафе и на этот раз сказать чистую правду, но не мог решить, с какого конца начинать. Во всей этой истории был ощутимо скользкий момент – каждая встреча с девкой-хищницей укрепляла в нем чувство, что это существо женского пола имеет на него некие виды. И, несмотря на излучаемую ею угрозу, он догадывался, что это за виды. В своей столичной золотой жизни Федор не однажды ловил на себе в точности такие же опасные взгляды девиц, которые почему-либо считали его своим имуществом и позвериному ревновали ко всем прочим лукавым дочерям Евы. Но человеческие создания, скудные умом и воображением, его не пугали. Гораздо больше смущала мысль, что на своем жизненном пути он повстречал мифического суккуба, демонического соблазнителя мужской половины человечества. Каким-то образом он знал, что под плащом у девки нет ничего, кроме абсолютной наготы, и это не могло не беспокоить. Впрочем, в этом соображении имелся существенный изъян: объяснить несомненное знакомство Аглаи с девкой в таком случае было никак невозможно. Однако тут Федору пришла на ум занятная мысль, что суккуб, вероятно, очень ревнив и пытается отпугивать от него соперниц. Но опять же все это

никак не вязалось с тем, что на алтайских дорогах девка-оборотень – давно известный персонаж.

Здесь его путанные размышления были прерваны. До прилета Мити оставалась четверть часа, и, высадившись из такси, Федор с Аглаей бесцельно гуляли по улице, как школьники, сбежавшие с уроков, чтобы целоваться, но вдруг забоявшиеся и не знающие, чем занять время.

– Я должен сделать вам признание, – решился он.

– Судя по мрачному тону, это не признание в любви, – насмешливая улыбка слегка тронула ее губы.

Федор подавленно хмурился.

– Я не знаю. За последние два месяца все настолько перепуталось и смешалось. Меня преследуют; я иду по следу, оставленному моим предком; он преследовал в горах вашего прадеда, а может, все было наоборот. Одним словом, бабушкин клубок.

– Кто преследует вас? – недоверчиво спросила Аглая.

Федор набрал воздуха в грудь.

– Это бредовая история, она тянется от самой Москвы. Сперва я решил, что это кто-то из моих прежних... гм... легкомысленных увлечений. Моя жизнь, конечно, не была образцом добродетели...

– Слишком много соблазнов, – с иронией подсказала Аглая.

– Вот именно. И теперь я думаю: что если для меня настал час расплаты? Может быть, она преследует меня, чтобы потребовать оплаты прежних счетов?

Он умолк, осознав, что совершает ошибку, выражаясь невразумительно. Но было поздно – ошибка тотчас дала кривые плоды: Аглая поняла его абстрактную риторику по-своему, наполнив самым конкретным смыслом.

– Она? То есть вы хотели признаться мне в том, что вас преследует какая-то женщина. Господи, как это пошло. Вы не могли придумать ничего лучше, чем хвастовство бывалого бабника? Чересчур нелепый способ набить себе цену в моих глазах.

С неба донесся глухой рокот, в голубизне среди пухлых подушек облаков возникли очертания летящего мамонта со стальной шкурой. Аглая, ускорив шаг, направилась к автостоянке.

– Что за огород из глупостей! – крикнул ей в спину Федор и пошел следом. Ему хотелось догнать ее, развернуть к себе и, не дав сказать ни слова, зажать ей рот губами, целовать до тех пор, пока хватит воздуха, мучительно и сладостно. Но останавливало отчетливое понимание, что за это рискованное действие придется поплатиться – самое меньшее ударом невидимой дубины промеж глаз. Даже просто взять ее за руку он бы теперь не решился.

Вертолет заходил на посадку. С земли ему грозил кулаком толстобрюхий охранник автостоянки. Митя, высовываясь из кабины, весело кричал в ответ.

«Все бабы истеричные дуры», – зло подумал Федор.

– Что вы там говорили о прежних счетах? – остановившись, но не оборачиваясь, спросила Аглая. Очевидно, ход ее мысли принял иное направление.

– Чистую правду, – хмуро ответил он, следя за маневрами вертушки, виртуозно пристраивающей свою тушу на свободном пространстве между иномарками.

– У этой женщины ребенок от вас? – перекрикивая рев вертолета, осведомилась Аглая.

– Какой женщины? – ошеломленно повернулся к ней Федор.

– Той, которая вас преследует. Или все-таки нет никакой женщины?

– Есть, – прокричал Федор. – А ребенка нет и быть не может. Какие вообще дети от существа, чья инфернальность не вызывает сомнений?

Вертолет укрощенно затих и стал смирен, тяжелые лопасти винта обвисли наподобие опахал. Митя сделал приглашающий жест: «Залазьте».

Лишь когда вертушка взмыла в воздух, Аглая выдала свое волнение:

– Вы уверены?

– А я могу у вас спросить, – обиженно съязвил Федор. – Вы прелестно лжете, милая барышня, но теперь и вам придется выложить всю правду. Я видел эту девку на вашем рисунке, который вы так поспешно разорвали. Так кто она, по-вашему?

Минуту Аглая сидела молча, с поникшей головой, оцепенело сжимая ладони коленями, и наконец вымолвила:

– Не знаю. Думаю, она сторож. Охраняет древние тропы в горах и забирает себе...

– Что? – выдохнул Федор.

– Что захочет. Что ей отдают.

Она произнесла это таким несчастным голосом, что Федору сделалось муторно и совестно, захотелось встать на колени и бить себя кулаком в грудь.

– Она забрала жизнь моих родителей. Теперь она хочет тебя.

– В каком смысле – «хочет меня»?

– Ты что?! – вскинулась Аглая, зардевшись. – Она же не человек.

– Ну да, суккуб, – сказал Федор, наконец заметивший ее обращение на «ты», а следовательно, существенное потепление их отношений. И это не могло не воодушевлять, невзирая на страшно нелепое содержание разговора.

Аглая отвела глаза и надолго замолчала. Федор принялся раздумывать о том, не попробовать ли обнять ее, хотя бы за плечи, и не станет ли этот невинный жест новым поводом к похолоданию между ними. Вроде бы пустяк, но вопрос серьезный, едва ли не жизненно важный.

– Тебе нельзя ходить в горы, – сказала она. – По крайней мере в одиночку.

Федор озадачился.

– А с кем мне туда ходить? С дедом Филимоном и бабушкой Евдокинишной?

– Со мной, – ответила она просто.

Федор на миг пришел в замешательство, но потом догадался, что она предлагает себя в роли оберега, не имея в виду ничего такого, о чем он сам, зайдя в мечтах слишком далеко, подумал в первую очередь.

– Да, с такой охраной мне сам черт не будет страшен, – заключил он.

Внизу волновались на ветру желтые подсолнуховые поля, и тянулись извилистой лентой дымчато-синие перелески, казавшиеся сверху стадами древних окаменевших мастодонтов. Горы впереди сверкали на солнце белым и голубым жемчугом озер, лохматой ниткой водопада. Федор решил, что самое время подбить итоги дня:

– Как твоя городофобия?

– А что с ней может случиться? – рассеянно ответила Аглая. – Город – плоский. В нем тесно.

– Я так и подумал. Лучше гор могут быть только горы. А город – этот так, удобства.

Раскрыв воспоминания прапорщика Чернова на случайной странице, он уткнулся в загадочно-манящее название – Царь-гора. В одном этом имени заключалось целое богатство.

Он представил ее себе – царственная осанка крутых склонов, зелено-голубая мантия лесов и белоснежная шапка-венеч на остроугольной вершине в серебряном нимбе облаков.

Федор закрыл книгу и дал грезам унести его на эту бесконечно высокую гору, на которую когда-нибудь он въяве совершит паломническое восхождение. Даже если, карабкаясь по ней, он выбьется из сил и превратится в камень, жалеть будет не о чем. Потому что в каждом шаге по ее бархатным склонам и в каждой ползке по голым скалистым кручам не будет ничего, кроме свободы. Свободы, соскребающей с души все лишнее, налипшее за долгие годы.

Черная тайга, тесно обступавшая железную дорогу, казалась ведущим в никуда туннелем. Проход все сужался, мохнатые вековые стволы плотными рядами подступали ближе, и чудилось, что где-то впереди они сомкнутся и поглотят дорогу вместе с осторожно, словно на ощупь, ползущим по ней составом. Синее декабрьское утро мертвым светом проникало в вагон, обволакивало предметы: стакан в подстаканнике с недопитым чаем, раскрытую лакированную шкатулку красного дерева, американский кольт, золотой медальон с локоном светлых волос. Кроме локона, в медальон была вправлена обрезанная по краям фотокарточка. С нее едва заметно улыбалась молодая женщина с нежным овалом лица и умными глазами, в которых навсегда запечатлелось предчувствие неведомой беды.

Щелкнула застежка медальона, Шергин вернул его в шкатулку, закрыл крышку и провел рукой по лицу, снимая усталость. Поезд, будто осмелев, набирал скорость, отчаянно пробивая себе путь из черного таежного туннеля. Колеса глухо выстукивали рельсовый марш, синий рассвет разбавлялся мутной серостью. Вдруг поезд захлебнулся в своем отчаянном беге, словно получил удар по физиономии. Колеса жалобно завизжали, вагоны клацнули сцеплениями, стакан перевернулся, выплеснул чай и грянулся об пол. Шергин затылком бумкнул о стену купе, шкатулка съехала со стола к нему на колени. Состав, прокатившись еще немного, встал с пронзительно прошипевшим выдохом. Дверь купе отдернулась, испуганно вытаращился, прижимая руку к голове, Васька:

– Красные, вашбродь, партизаны!

Шергин рванул вниз окно, высунулся в морозное утро. Тайга вдоль дороги ватно безмолвствовала, впереди с паровоза кто-то соскочил в сугроб и побежал, переваливаясь, к рельсам. Шергин закрыл окно и взял со стола револьвер. Васька, забившись в угол, тупо рассматривал осколки стакана на полу.

– Сиди тут, – велел Шергин.

Сойдя с поезда, он пошел вдоль путей к паровозу. Из раскрытых дверей теплушек, оживленно гомоня, выпрыгивали солдаты, разминали ноги в сугробах, тут же, не отходя далеко, справляли нужду. От головы состава бежал унтер-офицер, махал рукой и с перекосившимся лицом ошеломленно орал, разнося весть:

– Пути дальше нет! Рельсы взорваны!

Оступившись в снегу, он налетел на Шергина, отшатнулся, козырнул и выкрикнул, порыбьи округлив глаза:

– По пути следования подрыв полотна, господин капитан!

Шергин оттолкнул его и, увязая по колено в сугробе, дошел до паровоза. Состав не дотянул до развороченных, вздыбленных на воздух рельсов десятков метров. Возле стояли машинист в тулупе и валенках и кочегар, вымазанный углем в арапа, выскочивший в одной кацавейке и ушанке. Оба чесали в затылках, сдвинув шапки на лбы.

– М-да, – сказал машинист, косо стрельнув глазами на Шергина.

– Н-да-а, – в тон ему протянул кочегар и посвистел.

– Ну и чья это работа? – спросил Шергин.

– Дак хто ж его знает, – машинист озабоченно потрогал изогнутый рельс. – Партизан вроде близко не водится, на сто верст вокруг. А через сто верст, в Залесовском, аккурат недавно завелись. Злые, говорят, как черти.

– Ремонтную артель вызывать надо, – убежденно сказал кочегар и сплюнул черной слюной в снег.

– Чем ее вызывать? Пер...ть в небо, пока услышат? – сварливо отозвался машинист. – Ждать обходчиков, а то самим топать до Сидоровки. Да починки еще на полторы сутки. Дён пять простоим.

– Сколько отсюда до Барнаула?

– Дак верст полсотни, – прикинул в уме машинист.

Круто развернувшись, Шергин пошел назад, выкрикнул нескольких младших офицеров и велел строить роты для походного марша.

Васька в купе дремал, уронив голову на стол и обнимаясь с заветной шкатулкой красного дерева.

– Ась? Партизаны? Где? – мутно уставился он на Шергина, разбуженный тычком.

К полудню маршевые роты выбрались из таежного туннеля в снежные поля, сливавшиеся на горизонте с белесым небом. Жидкий свет невидимого солнца казался разреженным, глаза быстро утомлялись смотреть в бесконечную белизну и невольно опускались, утыкаясь в спину впереди идущего или в ноги. За полтора часа бескрайнее поле снега высосало из людей все силы и настроило их на строптивый лад. Когда над ротами пронеслось возбужденное: «Жилье!» – Шергин почувствовал себя Колумбом, услышавшим со вздохом облегчения заветное «Земля!».

На поле стали попадаться убеленные вороха неубранного сена. Деревенские строения медленно выползали впереди из снегов, растянувшись в конце концов на половину окоема. Село было большое, из-за домов виднелась каменная бело-голубая колокольня.

– Гляди! Удирают!

По первой роте прошло движение, легкая крикливая суэта. По приказу вскинулось несколько винтовок, щелкнули затворы, пукнули выстрелы. От края деревни к лесу позади нее скакали на конях четверо, сверкая белыми башлыками и по-разбойничьи заливаясь свистом. Пули пролетели мимо.

– Уйдут! Эх, уйдут, – переживал румяный поручик с побелевшим от мороза носом, выцеливая из револьвера убегающих.

Три выстрела один за другим отправились в пустоту. Четверо конных скрылись за высоким амбаром в конце села.

– Ушли, – выдохнул поручик и повернулся к Шергину. – А рельсы-то – как пить дать, их рук дело.

У входа в село роты встречала депутация крестьян во главе со старостой, высоким коренастым мужиком, из тех, что плечом заденет – убьет. С медвежьей фигурой и крепко посаженной на туловище головой не вязался его смиренный, виноватый взгляд, беспокойно убегающий все время в поле.

– Здравия желаем, – нестройным хором протянули мужики и посрывали долой шапки.

– Того же и вам, коли не врете, – ответил Шергин.

– Да што ж нам врать-то, помилуй Бог, – открестились мужики. – Чай, к совдепии пристрастия не имеем, сами нахлебались от большевицких нехристей.

– Ярушевский! – позвал Шергин. – Велите обыскать село. Авось, еще кто прыткий сыщется.

Староста, утопив голову в могучих плечах, с тоской проводил взглядом отряженных на обыск солдат.

– Прытких более нету, – прогудел он в бороду.

– А какие есть? – нахмурился Шергин.

Мужики выдали дружный вздох и опять сдернули шапки.

– Виноваты, вашбродь, бес попутал.

Староста снова пустил глаза пастись в поле.

– Мертвый есть. – И уточнил на всякий случай: – Один. Со вчерашнего в сарае лежит.

– Так, – сурово сказал Шергин, – думаю, разбирательство предстоит серьезное.

Староста рухнул на колени и взмолился, смяв в кулаке шапку:

– Вы уж разберитесь, вашбродь, а то ить они прискакали да как пошли лютовать, хуже красных, ей-богу. А мы что ж, мы грех на душу, обида у нас тово... свербеть стала. Что ж с нами как со зверьми, нешто мы не люди, не христьяне?

Не ожидавший покаянных жестов от медведеобразного мужика, Шергин на мгновение опешил. Потом обернулся к стоявшим позади ротным офицерам, приказал устраивать людей. Село моментально наполнилось шумной суматохой, солдатскими житейскими хлопотами и бабьей заботливой беготней. Трубы задымили гуще, куры раскричались громче, девок попрятали от греха и бани растопили.

...Разомлев в теплой избе и поборов сытую дремоту, Шергин вышел на крыльцо, вдохнул полную грудь сизого сумеречного мороза.

– Метель будет, – определил поручик Сыромятников, обзрев набухшую небесную мглу.

– Ну показывай, – помолчав, велел Шергин старосте.

Тот повел их в сарай, растворил нараспашку дверь, раскидал солому в углу и виновато потупился.

– Вот.

– Дай света.

Староста зажег масляную лампу. Сыромятников изумленно присвистнул.

Труп был в форме белого офицера, со штабс-капитанскими знаками различия. Изумленными глазами покойник смотрел в крышу сарая, будто силясь пронзить ее и устремиться мертвым взглядом в небеса. На виске кровавилась вмятина.

– Чем вы его? – спросил Шергин.

– Помяли малость, – смущенно пошевелился староста.

– Вижу, что помяли. Били чем?

– Так это... ничем. Ну... сапогом, может.

Староста замер, с внимательным испугом глядя на собственные яловые сапоги с подковками. Шергин посмотрел туда же, поднялся с корточек и вышел вон из сарая.

Пока осматривали труп, на улице в самом деле стало подвывать, затянула вьюга, острые кристаллы снега злобно принялись впиваться в лицо. Шергин быстро вернулся в избу.

– Дознаться, кто бил, и утром повесить каналий, – зло бросил Сыромятников.

Старостиха, не в пример мужу низенькая и такая же широкая баба, в страхе ойкнула и вымелась из горницы.

– Так они и скажут, кто убивал.

– Тогда собрать мужиков и каждого третьего... – уже не так уверенно предложил поручик. – Либо пороть всех. Так этого оставлять нельзя. Это же крамола. Бунт!

– Погодите вы, поручик. Нынче не девятнадцатое столетие, чтоб из мужиков бунт плетью выбивать. Послушать надо, что староста скажет... Где этого черта медвежьего носит? – в нетерпении воскликнул он.

Из сеней тут же выдвинулась мрачно-покорная фигура с поникшими плечами.

– Больно вы, вашбродия, пороть нашего брата любите, – проговорил староста, глядя из-под мохнатых бровей. – Он вот тоже – «пороть» да «пороть». А было б за что. Из Семена Большака за одно прозвание нагайками дух вышибли. Бабу евойную исполосовали под горячую руку.

– Кто – он?

– Кто... Покойник. Прискакал с казаками и давай, будто зверь, лютовать. Ну, мы его тово... а казачков под замок, значит, в пустой хлев заперли.

– А что же это они от нас, как зайцы, ускакали, да еще с посвистом? – подозрительно спросил Сыромятников.

– Должно, плохо заперли. Выбрались, – развел руками староста. – Коней увели, вас углядели и в лес. Может, беглые какие? – в его голосе зазвучало слабое упование.

Сыромятников беспомощно посмотрел на капитана.

– Ничего не понимаю. Какие беглые? Зачем им от своих удирать?

У Шергина были собственные соображения на сей счет, но пока он не стал вынимать их на свет божий, дабы не вселять лишних надежд в главного свидетеля, а возможно, и участника преступления, которое по военному времени карается расстрелом либо виселицей.

– Когда они появились? – спросил он.

– Давеча утром. Приняли мы их как положено, хлеб-солью. Хлеба, правда, не густо, по весне Совдепия семена, почитай, вчистую выгребла. Так, малость наскребли на посев.

– Что дальше было?

– Дальше-то? Ну, в бане их попарили, самогону на стол выставили. Этот, покойник, все пытал, за кого у нас мужики высказываются, за красных али за белых. А я ему возьми да брякни сдуру: за царя мы, мол, батюшку.

– Отчего ж с дуру? – прищурился Шергин.

– Да мне б смолчать бы, про царя-то, – конфузно ответил староста. – А как сказал, так его, покойника-то, и понесло. Взбеленился, что твой бешеный кобель.

– Ну ты ври да не забывайся, каналья, – прикрикнул на мужика Сыромятников.

– Прощения просим, вашбродия. А только так все и было, ни капли не вру, вот вам святой истинный крест.

Он размашисто перекрестился на иконы, сотворил поясной поклон и продолжал:

– Раскричался, мол, рыволюция эта самая царя отменила, а мы-де холопы и эти... блюдолизы. И что он нас от холуйства отучит беспременно. Ну а дальше совсем... будто волчьей ягоды наелся. Говорит, раз мы перед ними холуйничаем, так это неспроста. Небось, говорит, при красных смелее ходили, а царем себе жида хотим... этого... Штейна, прости Господи.

– Бронштейна.

– Во-во.

Староста замолчал, вдумчиво скребя в бороде.

– Что потом?

– Да чего потом. Лавки в амбаре поставили, первых двух заголили и ну пороть. У казачков рука к этому делу обвыкшая. Семена с десятого удара порешили. Духом слаб был, не стерпел, Царство ему небесное.

И опять перекрестился.

– Да еще баба евойная. Под нагайки кинулась, как он тово... Тут уж у нас засвербело внутрях, обида такая взяла, что... ох. Ну и... все.

– Все? – грозно спросил Сыромятников.

– Да вот еще... – замялся староста, – другой грех на душу взяли.

Он вышел в сени, проделал там некие манипуляции под притолокой, вернулся и с тихим стуком положил на стол небольшой предмет. Шергин и поручик склонились над вещью, изумленно повертели ее в пальцах, изучили со всех сторон, только что на зуб не попробовали.

– Золотая, вне сомнений, – сказал Сыромятников.

Небольшая четырехгранная пирамидка из чистого золота сумрачно и тревожно поблескивала в рыжем свете масляной лампы, точно подмигивала, соблазняя на дурное дело.

– Откуда? – Шергин повернулся к старосте.

– У покойного изыскали, – вздохнул тот. – В потайном кармане хранил.

– Совсем народец озверел, – сквозь зубы выдавил поручик. – Офицера убить, вывернуть ему карманы ничего уже не стоит.

– Так документ думали найти.

– Нашли?

– Без документов он.

Староста опустил глаза долу, сложил ручищи на животе и стал смиренно дожидаться приговора.

– Этого так оставлять нельзя, – горячо повторил поручик. – Зачинщика – первого на виселицу. А зачинщик у них, думаю, он, староста.

Мужику на грудь кинулась из-за стенки жена, завывала-запричитала:

– Ой, да что же это... ох, да за что же это... кормилец ты наш!.. да как же это...

– Молчи, баба, – гулко проговорил староста, – молчи, глупая. Так уж, видно, Богу угодно.

– Замолчите все, – сказал Шергин. – Я не собираюсь никого вешать.

Баба удивленно ойкнула. Сыромятников произнес: «Но...» – и вопросительно замер.

– Я полагаю, это были переодетые большевистские провокаторы, – объяснил Шергин. – Их цель – взбунтовать против нас крестьян. Поэтому и удрали.

Сыромятников облегченно выдохнул, но тут же снова напрягся.

– Однако уважение к офицерскому званию, хоть и ряженому... эти крестьяне в любом случае заслужили свою порку.

– Не стоит усугублять, поручик. Ступайте отдыхать, – по-доброму посоветовал ему Шергин. – А ты, – обратился он к старосте, – собери завтра мужиков и растолкуй им это дело. Чтоб впредь никаких бунтов. А иначе без виселицы в другой раз не обойдется.

– Понял, вашбродь, – закивал староста, обнимая всхлипывающую на радостях бабу, – как не понять.

Метель незваным гостем стучалась в окно, залепляла его пригоршнями снега, стращала звериным подвыванием. Засыпая, Шергин думал о том, что надо составить донесение в штаб армии об этом происшествии, наводящем на интересные мысли. Еще он размышлял о том, что этому донесению не придадут никакого значения и вряд ли даже дочтут до конца. Мало ли теперь в Сибири поротых мужиков и баб, ставших жертвами офицерского удалства и, прямо сказать, шалопайства, а то и желанья показать, чья власть. Но беда была не в том, что какой-нибудь юнец-офицерик или бывалый фельдфебель велят сечь бабу за отвергнутые

амуры, а ее мужа за просьбу вернуть назад лошадь, взятую в подводу. Бедовой была тупая уверенность того и другого, что крестьяне должны быть еще и признательны за это своим избавителям от красной саранчи. Полгода назад было совсем по-другому. Тогда еще никто в армии не мог быть убежден в поддержке населения и даже в верности самих войск. Но несколько месяцев все изменили. Пришла уверенность в собственных силах, а вместе с ней и необъяснимая ненависть к мужику, которого сплошь и рядом подозревают в лояльности к большевикам. Было бы странным, если б крестьяне не начали в конце концов платить тем же, мечтать об избавлении от «белого нашествия».

Но главная и самая беспокойная мысль пряталась под этими верхними, словно желала отсидеться за чужими спинами, а потом улизнуть незамеченной, неспрошенной. Шергин ничуть не сомневался, что «помятый» мужиками офицер и его казаки не были ряжеными. И тем не менее они оставались в его глазах безусловными провокаторами. Хотя представление с поркой крестьян могло, разумеется, сойти за обычное явление. Могло. Но лишь до того момента, когда на сцене появилась загадочная золотая пирамидка. Интуиция сообщала Шергину, что пирамидка – пароль, позволяющий прикоснуться к некой дурно пахнущей тайне. Но только лишь прикоснуться, почувствовать кожей ее мертвящий холод, а не увидеть целиком, не заглянуть внутрь тайны, не разгадать.

И та же интуиция шептала ему, что не нужно включать золотую пирамидку в донесение. Вполне вероятно, по пути наверх, до штаба армии, а оттуда до штаба Верховной Ставки, таких пирамидок было наткано немало.

За ночь намело по пояс. Из-за этого построение заняло вдвое больше времени, и примерным назвать его язык бы не повернулся. Солдаты тонули в снегу, перебирали руками, как пловцы, и хохотали во все горло. Офицеры сбились с ног, устанавливая порядок. Едва показавшееся на розовом горизонте солнце быстро скрылось за серой хмарью.

С рассвета Шергин намеревался переговорить с местным священником – просить отслужить молебен перед строем для поднятия воинского духа. Но с попом вышла неприятная оказия.

Церковь в селе стояла заколоченная, безъязычная – сброшенный со звонницы колокол лежал у стены несчастным забулдыгой, погребенный под толстым сугробом.

– Куда поп ваш подевался? – спросил Шергин старосту. Чтобы красные заколачивали церкви и скидывали колокола, – такого он еще не встречал и потому не ждал кровавых подробностей.

– Так это... умом тронулся.

Староста сделал страшные глаза и покрутил пятерней у головы.

– То есть как? – огорчился Шергин. – А храм досками кто забил?

– Он самый. Поп. Умом тронулся, дверь заколотил, колокол сбил. Бога нет, говорит. Прости Господи.

Староста перекрестился. У Шергина нехорошо заныло в правой половине головы, той, что пострадала от австрийской сабли.

– И отчего это несчастье с ним приключилось?

– Красные в реке хотели батюшку утопить, – доложил староста. – Связали и на веревке макали. Мы тебя, говорят, сейчас окрестим, как ты младенцев в корыте топил, так и мы тебя тоже. Все равно, говорят, никакого Бога нет. Прости Господи. А поп возьми и... тово. Как вынули его, орать стал, что нет никакого Бога. Ну и оставили его на берегу. Попадью жалко, – заключил он.

– Себя пожалейте, – жестко сказал Шергин. – Что ж вы за священника своего не вступились, как давеча за поротых? Смотрели, как его, будто щенка, топят, и глазами хлопали?

– Виноваты, вашбродь.

Староста попытался упасть на колени, но этому мешал сугроб.

– Не смей! – сорвался на крик Шергин. – Не смей передо мной на колени валиться, дурень! Перед Богом вину замаливай.

Высоко, по-журавлиному поднимая ноги, он пошел прочь от заколоченной церкви.

Выйдя к построенным ротам, Шергин махнул перчаткой, приказывая выступать, но случилась заминка. Перед строем вдруг возникла неопрятная фигура в ободранной рясе, с нечесаной головой, и пошла вдоль рядов, скалясь.

– Вот он, болезный, – покаянно вздохнул староста. – Вдругорядь от попадьи сбег.

Шергин оторопело рассматривал безумца: на лбу у него чернела угольная пятиконечная звезда, на груди болталась икона Христа с продырявленными глазами.

– Нету Бога. Никакого Бога, – громко возвещал он, пробираясь по утопанному снегу. – Бога нет, ребяташки. Поповские выдумки. Никому не крестить лбы. Не ходить к попам на исповедь. Нету Бога.

Страшное впечатление, которое производил несчастный, заставило многих невольно перекреститься. Движение рук разгневало бывшего попа. Он подскочил к одному из солдат и злобно каркнул ему в лицо:

– Рука отсохнет!

Затем продолжил путь вдоль строя и, брызгая слюной, торжествовал:

– Нету Бога! За благословением пришли, соколики? Вот вам благословение.

Он прыгнул в снегу, перевернувшись к солдатам спиной, наклонился и похлопал себя по тощему заду.

– Вот вам благословение. Нету Бога! Поповское вранье.

Среди общего оцепенения пронесся женский крик. К безумному попу бежала простоволосая баба в накинутой шубе. Выбиваясь из сил, она вытаскивала валенки из снега, падала и снова бежала.

– Да что ж стоите, ироды! – зывала она к мужикам. – Тащите его домой, нечего глаза пялить.

Добравшись до сумасшедшего мужа, она энергично принялась стирать ладонью звезду с его лба. Поп ужом вертелся в ее, видимо крепких руках, ругался и богохульствовал. Подбежавшие крестьяне подхватили его за ноги и под руки и, брыкаящегося, понесли. Попадья ныряла в сугробе рядом и рвала с груди безумца оскверненную икону.

«Вот так молебн о поднятии воинского духа», – тягостно подумал Шергин, скомандовав выступление.

Роты возвращались к железнодорожному полотну. На краю села в воздух взвилась стая ворон, проводив их злым граем, в котором слышались проклятия.

Даже офицеры шли молча. Не только разговаривать, смотреть в лицо другому никто не мог.

От юродивых пророчеств безумного попа веяло жутью и бесконечной темной тоской.

Барнаул, бывшая горнозаводская столица посреди алтайских степей, напоминал большую, некогда разбогатевшую, а теперь хиреющую деревню, засыпанную снегом по самые крыши, свозвышавшимися кое-где каменными «барскими усадьбами». Случившийся

прошлой весной пожар выел в центре города огромную черную плешь. Сотни погорельцев, до которых ни у кого из-за смены властей не доходили руки, ютились в дощатых собачьих конурах, утыкавших пепелище. Остальные серыми тенями бродили по улицам, заглядывали в окна, подворовывали, сходили с ума, нанимались за еду на поденщину или шли к проруби на Барнаулке – топиться. Ватаги бездомных самого дикого и злобного монголо-татарского вида делали город похожим на разбойничье гнездо.

Гарнизон здесь стоял многочисленный, это добавляло городу еще и осторожного своеобразия. Даже бронепоезд, шумно разводивший пары на вокзале, казался свирепым циклопом, прирученным для того, чтобы не дать одичалому люду окончательно перегрызть друг другу глотки. На одном боку его белой краской было выведено: «С нами Бог и атаман Анненков». Несколько казаков на платформе с орудием красиво упражнялись в рубке пашками.

Когда роты Шергина входили в Барнаул, полтора десятка церквей благовестили к обедне. Волны колокольного звона наплывно бежали по заваленным снегом улицам, проникали в огрубевшие души людей, приглашая на званый пир. Шергин счел это добрым знаком.

Однако начальник гарнизона полковник Орфаниди придерживался иного мнения.

Гарнизонное управление размещалось в гостинице «Империал», живописном деревянном строении, напоминавшем поморское зодчество. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Шергин подумал, что вряд ли это сходство с северным стилем является случайностью. Со времен тишайшего Алексея Михайловича поморские раскольники бежали от Белого моря на Урал и в Сибирь в поисках обетованной земли, которую прозвали Беловодьем. Еще на Урале он слышал, что Беловодье нужно искать в алтайских горах, у самой границы с Китаем. Есть, мол, Бухтарминская земля, где живут не зная горя и неволи, куда не проникало всевидящее око государево и не доставали длинные руки никонианской Церкви. Шергин подозревал, что в том заповедном раю наряду с раскольниками селились беглые: крестьяне, горнозаводские рабочие и каторжные, создавшие со временем нечто вроде тайной анархической республики.

Орфаниди был одутловатый полугрек с беспокойным взглядом и выдающимся кавказским носом. Шергина он принял с необыкновенным холодом, словно алтайские буйные метели и снега по грудь выстудили его былой горячий нрав. Темные, навывкат глаза-маслины блестели льдом, слова тяжелыми сосульками падали на пол и разбивались в звенящие ненавистью осколки. Прибывшие роты он определил в казармы и поставил на интендантский учет, но проделал это с таким отчетливо-брезгливым нежеланием, что Шергину ничего не оставалось, как с той же замороженностью осведомиться о причинах ононого недоброжелательства.

Орфаниди выкатил глаза еще больше, посерел от натуги и просипел:

– Ах вы желаете знать причины? А я вам скажу! И даже покажу.

Он вылез из-за стола, подтянул живот, подошел к шкафчику в углу комнаты и достал странного вида белые валенки, расшитые бисером. Крепко водрузившись на стуле и сняв сапоги, стал с усилием натягивать валенки.

– Вы прибыли сюда для того, чтобы работать карателем, – отдуваясь, проговорил он. – Не столько открыто воевать с партизанами, сколько зачищать деревни в районах мятежа. Обыскивать всех попавшихся с оружием в руках и как врагов расстреливать на месте. Арестовывать агитаторов, членов совдепов, пособников, укрывателей, дезертиров для

предания военно-полевому суду.

Орфаниди потопал валенками по полу, удостоверился, что хорошо сидят, снова полез в шкафчик и извлек тяжелый бараний тулуп. Одышливо облачаясь, он продолжал:

– Местные власти, не оказавшие сопротивления мятежникам и бандитам, выполнявшие указания красных, также предавать суду с приговором вплоть до расстрела. Собственно, у суда имеются три варианта: отпустить, расстрелять или приговорить к принудительным работам с высылкой в отдаленные места. Заранее предупреждаю, что расстреливать вам придется много. Здешние края просто рассадник красного партизанства.

Он нахлобучил на голову высокую меховую шапку и стал похож на греческого Санта-Клауса.

– Чертова русская зима.

Оставив гостиницу, они пошли по узкому расчищенному пространству улицы между высокими снежными завалами. Впереди работали лопатами и скребками с десятков оборванных бедолаг. Обильные снегопады позволяли бесприютным погорельцам, нанятым военными властями города, честно заработать на кусок хлеба.

– На западе губернии три больших партизанских очага, – говорил Орфаниди, закрывая лицо рукавицей, отчего голос казался идущим из-под сугроба. – Но там более или менее успешно действуют отряды атамана Анненкова. Решительный человек этот Анненков. Орел! – Орфаниди саркастически фыркнул. – Ограбил налогами купцов в Семипалатинске, а те и пикнуть не смеют. Только жалобные телеграммы шлют правительству.

– Я бы на его месте сделал то же самое, – сказал Шергин.

– Ах вот так даже? – от удивления Орфаниди встал посреди дороги и отнял рукавицу от носа, но не обернулся.

– Я слышал, атаман Анненков обладает сильным личным обаянием, в его отряде множество добровольцев. От купцов не убудет, если они послужат отечеству, обеспечив солдат одеждой, экипировкой и всем необходимым. Гражданин Минин триста лет назад действовал точно так же, собирая средства на ополчение. Те, кто не сдавал деньги, считались недостойными слова «русский».

Шергин скучно смотрел в спину бараньему тулупу, чувствуя, как немеют от мороза пальцы ног в старых сапогах. «Надо будет тоже обзавестись валенками, – решил он. – Кажется, их называют пимы. Надеюсь, интендантская служба обеспечит двести с лишним пар валенок. Если же нет, придется поступить по примеру атамана Анненкова. А скорее всего прямо по-большевистски – реквизицией».

Орфаниди двинулся дальше и какое-то время шел в недовольном молчании, исхитряясь собственным тылом демонстрировать враждебность.

Они прошли между двумя стоящими друг против друга кирпичными зданиями. Одно было музеем краеведения с покосившейся вывеской, на другом надпись сообщала: «Народный дом». Действительно, народу вокруг околачивалось множество: нищие и бездомные всех сортов облепили строение со всех сторон. Они чего-то выжидали, засматривались на входные двери, слонялись туда-сюда, выманивали у прохожих деньги или просто сидели в снегу, отчаянно грезя о чем-то своем. Вцепившегося в Орфаниди тщедушного полубезумного парня полковник тычком по физиономии отправил в сугроб. Толпа рванины глухо взроптала.

– Вашим направлением будет северо-восток, – наконец заговорил Орфаниди, – в районе реки Чумыш. Там недавно завелись банды некоего Григория Рогова. Имеются сведения, что

этот молодчик воевал в германской, потом состоял в совдепе. Более о нем ничего сказать не могу, кроме того, что он головорез. К вашим двум ротам нужно прибавить не меньше тысячи штыков. Ну вот, сейчас увидите.

Он повернул в калитку мимо будки часового, вытянувшегося по стойке смирно. Во дворе унылого деревянного строения с маленькими окошками несколько солдат убрали лопатами снег. С другой стороны здания долетали отрывистые команды, но слов было не разобрать. Выбежавший к гостям начальник городской тюрьмы доложил об отсутствии происшествий.

– Проводи-ка нас, братец, – прогудел Орфаниди из-под рукавицы, – знаешь куда.

На заднем дворе грянул ружейный залп, подняв в воздух черное гомонящее облако ворон и галок.

– Это которая сегодня очередь? – морщась, спросил Орфаниди.

– Первая, господин полковник, – передвигаясь боком впереди него, ответил тюремщик. – С вечера прибыла большая партия арестованных из Каменского уезда. Разбираемся. Попеременно работают два следователя.

– Скольких освобождают?

Начальник тюрьмы сложил рот гузкой, посчитал в уме.

– Не больше одного из десяти. Да и то – под честное слово.

– Это как? – не понял Орфаниди.

– Иные арестованные шибко плачутся о детях, которые останутся сиротами, и слезно раскаиваются.

– Можно ли им верить?

Комендант возвел очи горе.

– Время покажет. Сюда прошу, господа.

На заднем дворе тюрьмы солдаты убрали трупы – оттащивали к забору и закидывали соломой. Престарелый фельдфебель, командовавший расстрелом, хрипло подзадоривал солдат. Вороны, отваживавшиеся на разведку, слетали к забору, перепрыгивали с доски на доску, вздымая черные крылья богини Ники, и издавали каркающий хохот. Увидев начальство, фельдфебель вытянулся и крикнул, чтобы выводили следующих.

У стенки выстроились пятеро понурых мужиков в грязных рубахах навыпуск. Фельдфебель скомандовал на прицел и воззрился на Орфаниди.

– Ну вот вам ваши обязанности на ближайшие несколько месяцев, – с ненавистью в голосе сказал полковник Шергину. – Думаете, эти крестьяне сознательно бьются за большевиков? Как бы не так. Эти несчастные обмороченные мужики воюют против «буржуев», которых в глаза никогда не видели. Полюбуйтесь на них. Они даже не знают, за что умирают. Тут не захочешь, а возненавидишь и себя, и всех. Вы тоже скоро озвереее, будьте уверены.

– Я сочувствую вам, господин полковник, – спокойно ответил Шергин.

Орфаниди повернулся к нему в секундном замешательстве, затем махнул рукой фельдфебелю. Щелкнули затворы винтовок, приговоренные одновременно перекрестились. Один не выдержал, упал на колени. Громыкнули выстрелы. Вороны, ругаясь, взметнулись с забора в небо.

– Более того, – продолжал Шергин, наблюдая за тем, как убирают от стены тела, – я вполне понимаю вас. В последнее время я все чаще размышляю над словами апостола Павла: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю...

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И мы все, живущие сейчас в России, и красные, и белые, и зеленые, и Бог знает какие, абсолютно бессильны что-либо изменить здесь. Это закон смерти, мы находимся в полной его власти. Вслед за апостолом мы можем только восклицать: бедные мы люди! кто избавит нас от этого закона смерти?..

Фельдфебель построил солдат и увел. Прикрытые соломой трупы остались дожидаться похоронной подводы.

Орфаниди с утомлением в лице посмотрел на Шергина и сказал едко:

– Вы вот тут апостола Павла цитируете. А не кажется вам, что рассуждать про апостола в расстрельном дворе – это что-то извращенно-декадентское? Сумерки богов, Ницше... продолжите сами, если вы честный человек.

– Вы имеете в виду утверждение этого сумасшедшего оригинала, что Бог умер?

– И-мен-но, – отпечатал Орфаниди и направился к выходу из тюрьмы.

– Господин полковник! – крикнул Шергин. – Как же вы с такими настроениями воюете за Русь Святую?

Орфаниди порывисто, насколько позволяли бараний тулуп и валенки, развернулся и наставил на него могучий армянский нос, полиловевший от мороза.

– А вы к тому же наглец! Недаром, видно, вас карателем в захолустье отправили.

Шергин равнодушно снес этот плевок, молча утерся. С тех пор как он узнал о смерти жены и детей, ничто не могло вывести его из терпения. Никакие обиды и оскорбления больше не проникали в его душу, ставшую плотно-непроницаемой для подобной требухи бытия. Как-то вдруг, в одночасье, ему сделалось понятным, что жалеть следует не себя, а других, того же Орфаниди, к примеру, и, значит, возмущаться словами и действиями этих других не имеет смысла. Нужно лишь уяснить себе причины их поступков. Причина же всегда одна – зло и отчаяние, овладевшее всеми. Закон смерти, которому, как проклятию, подчинен всякий рожденный от соития мужчины и женщины.

«Бедные мы люди, – мысленно повторил Шергин, глядя в спину Орфаниди, которая выражала теперь не враждебность, а унылую истомленность и заиндевелость. – Кто избавит нас от закона смерти?»

Ноги в сапогах окончательно заледенели, и пальцы наполнились тупой болью. Словно в них, пальцах, сконцентрировалась вся невыносимая и безмысленная российская беда. Впереди была долгая, злая и отчаянная зима. Белый холодный снег, перемешанный с красной остывшей кровью...

Крещенский мороз трещал стволами деревьев, оглушительно скрипел под ногами и льдистым звоном перекачивался в воздухе. Черная пихтовая тайга по берегам Чумыша казалась зачарованным лесом, в которыйходишь обычным человеком, а выйдешь, – если посчастливится выйти, – совсем другим. Да и человеком ли? Не зверем ли, усвоившим хищную повадку волка?

В Причерном крае, названном по цвету лесов, волков было множество – и четырехлапых, и двуногих. Двуногие сбились в стаю, которая держала в плену всю округу, на полторы сотни верст вдоль реки. Партизанская вольница Рогова, состоявшая из нескольких тысяч разбойных рож, налетала внезапно, слизывала подчистую все, что можно сожрать и унести, обильно пускала кровь недовольным и вешала на колокольнях попов, а в церквах устраивала нужник или взрыв динамита.

В покрывающей бандитов тайге отряд Шергина, разросшийся в тысячу с лишним

шпыков и названный полком, превратился из деморализованной толпы, соблазненной большевистскими лозунгами, в крепко сбитое белое воинство. К Рождеству по старому, имперскому, стилю Шергин получил из рук Орфаниди патент на полковничье звание и весьма тому удивился. Недовольно повращав глазами-оливами, Орфаниди достал из шкафчика графин водки и две рюмки. Налил, произнес краткий тост:

– Даже у таких, как вы, бывают друзья-покровители. За них.

...Первые недели, пока не наладилась разведка, действовали почти вслепую, всюду опаздывая. Со стиснутыми зубами проходили мимо сваленных в кучу раздетых мертвецов, воющих баб и покалеченных храмов. Но, получив хорошую прививку от мировой революции, солдаты зверели сами и уже не отличали необходимость от изуверства.

Это был замкнутый круг, и Шергин не видел выхода из него. Людоедство большевиков и не отстававших от них партизан порождало ответную злобу белых войск. Советские газеты и листовки красочно расписывали их бесчеловечность, нагнетая истерию ненависти среди красноармейцев и жестоко застрашивая мирное население. С этой пандемией, поразившей Россию, кажется, не могли бы справиться никакие радикальные меры, потому что и сами меры лишь укрепляли заразу ненависти.

Россия издыхала, как большое беспомощное животное, из ее тела потоками лилась зловонная муть гниения. Сама мысль об этом способна была довести до безумия, но Шергина спасало то, что безумие он уже пережил, поседев на половину головы в одну ночь. В ту памятную ночь на Урале, когда в его постели в крестьянской избе спал чисто вымытый и накормленный досыта гимназист, выловленный часовыми из холодной осенней реки.

Каких-то два года назад вся страна восторгалась демократической революцией. И кто из радостно бросавших в воздух шапки мог тогда предположить, что в долгожданном народовластии вызреет столько ядовитого бешенства? И многие ли два года спустя понимают это? По собственному опыту Шергин мог дать лишь очень грустный ответ на этот вопрос.

На одном из притоков Чумыша, вымороженном на три метра вглубь, отряд подошел к казачьей станице. В ледяной прозрачности воздуха чернели остовы домов. Измотанным людям нужен был отдых, но на теплый приют рассчитывать не приходилось. Станицу разорили сначала совдепы, повыбив имевшихся в наличии казаков, потом дело довершили роговцы, сотворив тупую месть голытьбы: расправились со стариками, бабами, детьми, пожгли избы. Население станицы теперь составляли десятка два таких же почерневших, как жилища, казачек и горстка малых ребят. Они ютились в уцелевших от пожара домах и походили на молчаливые призраки былого. Души их выморозились на неведомую глубину, и прихода весны им было долго ждать.

Шергину не хотелось тревожить застывшее время этих женщин. Ни один из офицеров не перешел порога их жилищ, ни один солдат не попросил у них хлеба. Над селом по-прежнему вилось пепельным дымом безмолвие. Завернувшись в короткий тулуп, Шергин сидел почти что под открытым небом возле печки, едва потеплевшей стараниями Васьки, который натаскал к ней обгорелых чурок. Из трубы в густеющий синевый воздух потянулся жидкий дым, уголья от Васькиного ворошения пускали снопики оранжевых искр.

– Хорошо, вашскородь! – жмурился Васька, сидя на корточках. – Экое у нас блаженство. И чай быстро скипит.

– Печка, печка, дай пирожка попробовать, – пробормотал прапорщик Миша Чернов, расположившийся на обломке балки, которая прежде держала крышу. Он сидел, сильно

сгорбившись, пытаясь с головой уйти внутрь шинели и согреться дыханием руки.

Из-за стены сруба, в окно без рамы и стекла проникли скрипучие звуки шагов по утопанному снегу, тихие голоса. Один был глухой женский, другой – неясное бурчание караульного.

– Что там такое? – крикнул Шергин.

В окно просунулась усатая голова солдата в туго затянутом башлыке.

– Баба тутошня, вашскородие. Просится. Пустить, что ль?

– Чего спрашиваешь, дурак. Пусти сейчас же.

– Дык подозрительная. Прячет на себе чегой-то, а не показывает. Может, бомбу несет, а? Всяко бывает.

– Пропусти, кому сказано!

Женщина вошла боком, окинула всех темным взглядом, молча повела головой в поклоне. Под обветшалой душегреей она что-то прижимала к животу, сложив руки в рукавицах, как беременная.

– Коза у нас... – минуя околичности, хриплым голосом молвила она. – До травы не дотянет, сено погорело... Зарезать придется.

У прапорщика Чернова вытянулось лицо, и без того длинное и худое. Он беспомощно посмотрел на Шергина. Тот непроницаемо ждал продолжения.

– Последнее вот... – Женщина стала осторожно вынимать из-под душегреи предмет, завернутый в полотенце. – Все равно уж...

Оглянувшись, куда поставить, и не найдя ничего устойчиво-горизонтального, она развернула полотенце и поднесла Шергину оловянную кружку, доверху наполненную молоком.

– Парное... не захолодело еще, сберегла, – проговорила женщина, опустив глаза.

Прапорщик Чернов решительно отвернулся к стенке, издав хлюпающий звук. Васька восхищенно круглил глаза.

Шергин не посмел отказать ей. Он вполне представлял себе, что означала эта кружка молока для обитателей мертвой станицы. Целый день жизни для одного, а то и двух детей. Может быть, детей этой женщины. Он не мог не принять ее дар, побоявшись своим отказом выстудить то тепло, что пока сохранялось под слоем льда. Тепло, которого не видно было в ее глазах, но которым она, да и все они здесь, спасались еще для жизни.

Он молча поднялся и в пояс поклонился женщине. Ее губы дрогнули, но глаз она так и не подняла. Шергин взял у нее кружку. Быстро запахнув душегрею, казачка торопливо ушла.

– Спаси тебя Христос! – вслед ей пролепетал Васька.

Шергин отлил половину молока в другую кружку.

– Ну, прапорщик, извольте отведать, – сказал он Чернову.

Оставшееся молоко без слов сунул Ваське, тут же восторженно припавшему к кружке. Миша, с подозрительно блестящими глазами, выпил все несколькими медленными глотками. Васька, оттерев губы, отдал немного молока Шергину.

– А говорят, – сказал он, – греческого Зевеса, когда он в люльке агукал, питала коза Амалфея. Так, думаю, ее молоку далеко до этого. А, вашскородь?

– Куда как далеко.

– Да эта Амалфея просто дура, – пробурчал прапорщик. На верхней губе у него, на которой уже прорастал пух, осталась капля молока.

Наверное, он хотел еще что-то добавить в адрес древнегреческой козы, вскормившей

громовержца и никогда не жившей в русской деревне, ободранной догола и спаленной заживо русским же диким зверем. Но ему помешал ординарец, примчавшийся с срочным сообщением от разведки.

Выслушав донесение, Шергин приказал поднимать первую роту. Заменяв собой командира роты и взяв разведчика, он повел сотню солдат вдоль реки. Спешный бросок через тайгу, тесно обступавшую берега льдистой речной дороги, принес незамедлительный успех.

Через три версты остановились на краю леса. Из наспех оборудованного «секрета» показался заиндеветый разведчик, сибиряк-охотник в волчьей шапке-ушанке, и немногословно доложил. Полсотни винтовок нацелились на копошащиеся в открытом поле темные мишени людей. Другая полусотня отправилась в обход.

– Уж заканчивают однако, – сказала разведка. – Много ящиков погрузили.

– Сколько?

– С десять будет. Тяжелые, видно. Взлетит ли машина? – с бывалым спокойствием рассуждал сибиряк.

– Роговцы? – немного взволнованно размышлял Шергин, поглядывая на ту часть леса, где скрытно совершался обходной маневр.

– Не похожи. У тех калмыков нету. А у этих, смотри-ка ты, калмык на калмыке.

Шергин прицелился из револьвера.

– Ну, ребяташки, не подведите. С таким призом не стыдно будет к самому товарищу Троцкому наведаться.

– Да нешто мы еропланов в плен не брали, – отозвался от ближайшей сосны рядовой Сидорчук, потеряв друг об дружку руки в задубевших от холода рукавицах.

Сухо треснул первый выстрел из револьвера, родив долгое эхо винтовочной пальбы. Атаку можно было бы назвать стремительной, если б мороз не сковывал движения, а ледяной воздух не выбивал из глаз слезы, мешая видеть цель. С первого мгновения боя люди, суевившиеся возле аэроплана, отбежали в стороны, попадали в снег и начали неуверенно отстреливаться. Летящая машина заурчала мотором, чихнула раз, другой, но все-таки медленно покатила прочь по хорошо утрамбованной полосе, пересекающей снежную пустошь. Шергин в мрачном азарте стрелял по ее корпусу, однако пули не могли найти уязвимое место аэроплана. Машина набирала скорость и издевательски покачивала на неровной дороге этажеркой крыльев. Наконец, проехав почти все безлесье, оторвалась от белой пелены земли.

К этому времени позиционная перестрелка перешла в наступление. Большинство алтайцев полегли в самом начале – то ли плохо владели оружием, то ли их оглушила внезапность нападения. Спротивляться продолжали несколько человек, но и тех быстро смяли. Аэроплан, сделав разворот, низко пролетел над местом стычки, мотор пророкотал что-то насмешливое. В небо из винтовок возмущенно брызнул салют, но «этажерке» ничем не повредил.

Шергин зачерпнул голую ладонью снег, растер им горячее лицо. Затем, оглянувшись на лежащие вразброс трупы, в сердцах плюнул.

– Господин полковник, двое взяты в плен.

– А! Хорошо.

Это и впрямь было хорошо. Чересчур фантастически рисовался аэроплан, катящийся по взлетной полосе посреди черной замороженной тайги, слишком неправдоподобной казалась

быстрая смерть нескольких десятков инородцев. Загадочны были и ящики, улетевшие из-под носа. Теперь будет, кого спросить об этом.

Оба пленных оказались русскими: один смиренно повесил голову, другой, утихомирившись ударом в зубы, непреклонно смотрел перед собой. Среди трупов также нашлось несколько русских – тех, что держали на себе весь короткий бой.

– Взгляните, господин полковник, – окликнули Шергина.

Возле подводы, с которой перегружали ящики, лежала ничком баба: с головы сбили шапку, по снегу растрепались длинные вороньи волосы. На ней были мужские, подбитые ватой галифе, валенки и дубленый полушубок. На спине чернела дырка от пули. Вокруг сгрудились солдаты, разглядывая покойницу с живым интересом.

– Баба-командирша.

– Свои прикончили.

– Слышал я о бабах-комиссаршах у красной шантрапы. Из-под юбок-то краснорожим сподручней воевать.

– Та не, вони ж пид ихними юбками не промахивать учатся.

Громовый хохот, казалось, взметнул вокруг снежный вихрь. Шергин, усмехнувшись, велел перевернуть тело. Когда открылось лицо мертвой женщины, раздалось удивленные возгласы:

– Тю, жидовка!

– Ну ровно гимназистка.

– Страшенькая... – пожалел кто-то бабу.

Взятое боем оружие и подвода были единственным призом, хотя и не столь ценным, как аэроплан, но все же не обидным. По возвращении в станицу обнаружился еще один трофей, совершенно иного свойства. С виду это была ничем не примечательная обтрепанная бумага, сложенная в письмо, с разводами не то от воды, не то от пота. Ее нашли при обыске пленного, того, что требовал усмирения гордыни при помощи рукоприкладства. Ознакомившись с содержимым, Шергин ощутил необыкновенное изумление и потребовал сейчас же доставить к нему в «избу» пленника.

Удрученный, но не растерявший остатков непреклонности, тот высокомерно кривил рожу, трогал разбитую губу и на вопросы отвечал снисходительно. Через какое-то время Шергин догадался, что пленный в самом деле снисходит до разговора, уверенный в глубоком невежестве допрашивающего.

– Что тебе известно о партизанской шайке Рогова?

– Только то, что они делают свое дело, – пожал плечами пленник. Он стоял, широко расставив ноги и держа руки за спиной, хотя не был связан.

– В чьем подчинении ты состоишь?

– Своего повелителя.

– Кого-кого? – слегка удивился Шергин.

– Алтан-хана, повелителя Золотых гор.

– Что-то не слышал о таком. Какой-нибудь туземный князек?.. Впрочем, откуда бы у князька взяться аэроплану? – спросил он сам себя.

– Алтан-хан не князь, – отверг инсинуации пленник. – Он император.

– Даже не китайский мандарин? – поднял брови Шергин. – Ладно, предположим. Что было в ящиках?

– Если вы умны, ваше высокоблагородие, – усмехнулся пленник, – угадайте. Если нет,

это знание для вас лишнее.

Шергин сел перед едва дышащей печкой, забросил в нее пару чурок.

– Может быть, ты и прав, – проговорил он. – Но в последнее время я получил слишком много лишнего знания. А это, к несчастью, затягивает. Как сладкий дурман... – Он помешал палкой угли. – Та женщина... девица... словом, хм, «прекрасная еврейка» – кто такая?

– Какая же это женщина, – тонко улыбнулся пленник. – Это товарищ Рахиль. Из самой Москвы.

– И тебя не интересует, кто из ваших людей послал ей пулю в спину?

– Кто бы это ни был, он сделал свое дело.

– Она была редкой стервой?

– Она была редкой сукой.

– Ну, один вопрос мы выяснили, – удовлетворенно сказал Шергин. – Перейдем к следующему.

Он медленно развернул найденную при пленнике бумагу.

– Откуда это у тебя?

– Нашел.

– Где?

– На груди одного офицера. Я помог ему расстаться с жизнью и в оплату взял у него кое-какие вещи. Но это случилось давно и не здесь.

Шергин был неприятно поражен такой откровенностью. Резким движением он сложил бумагу и убрал в карман.

– Я учту это, – произнес он и, помедлив, продолжал: – Разумеется, ты читал, что в ней написано, иначе бы не носил при себе. Неужели ты веришь в это? – Он пытался казаться бесстрастным, но все же голос чуть вздрагивал. – Веришь в предсказания священника?

– Я слышал о кронштадтском проповеднике. Из христосиков этот был самый интересный. Ему было открыто... кое-что. Но, конечно, многого он не понимал и не знал. И в этой записи он много чего напугал, хотя схема в общем верна. Вот, к примеру, он говорит, что «красное иго» продержится семьдесят лет, а после придет освобождение и Россия возвеличится еще больше, чем раньше, и будет снова православный царь. На деле же все наоборот. Освобождение уже началось. Это знают пока немногие, а через семьдесят лет об этом будут кричать на улицах. Красные только помогут совершиться освобождению, но и они не знают об этом. Они всего лишь орудие уничтожения варваров, мешающих победе Великого учения. А когда совершится освобождение, никакой России не будет. Будет мировая империя с центром в Алтае, в тайной стране Шамбалыне, она же – Беловодье. Никакого дремучего царя, о котором никто не вспомнит. «Красное иго» рассыплется от одного движения пальца алтан-хана, императора Всемирной Золотой Орды. Последняя шамбалинская война закончится, силы тьмы будут повержены. И эта бумага служит для меня вернейшим напоминанием о будущем, – закончил пленник с горделивой полуулыбкой.

Пока он произносил этот набор нелепиц, Шергин задумчиво глядел в темный пустой проем окна. Все происходящее казалось ему удивительным бредом, ночной фантазмагорией в глухой зимней тайге с подвывающими недалеко волками. И в то же время он знал, что не сумеет избавиться от этого «лишнего знания», что вся эта почти мистическая история с аэропланом, переписанным кем-то листком из дневника Иоанна Кронштадтского, императором алтайской Золотой Орды будет иметь продолжение; что как бы ни хотелось ему обратного, он и сам уже вписался в эту историю, – и она поведет его туда, куда он

совсем не хотел.

– Есть ли у него имя? – спросил Шергин, не оборачиваясь, и услышал, как пленник тихо рассмеялся.

– Имеющий разум сочти число его имени? – неверно процитировал он Апокалипсис. – У него будет много имен. А прежнее – Бернгарт.

Шергин вдруг озяб и вернулся поближе к печке. Но она тоже была теплохладной и не выдерживала соревнования с сибирским морозом.

– Знавал я в Петербурге одного Бернгарта, – молвил он наконец, захваченный врасплох воспоминаниями. – Поразительное было время. Кто бы мог подумать... Не Роман ли Федорович?

Шергин повернулся к пленнику и с тоской увидел, как того перекосила кислая ухмылка, говорящая без слов.

– Так что же, ваше высокоблагородие, – пленник попытался вернуть себе выражение непреклонности, но не преуспел, – Роману Федоровичу поклон от вас передавать?

– Каким образом ты, глупый, пропащий человек, собрался передавать от меня поклон, – почти сварливо отозвался Шергин, снова отворачиваясь, – если я намерен расстрелять тебя за убийство офицера Русской армии?

– Расстрелять?

Шергину показалось, что пленник удивлен.

– Вы, конечно, можете это сделать, ваше высокоблагородие. Да только это все зря.

– Что именно?

– Ваши пули пропадут зря. Алтан-хан вернет меня из мертвых. Ему это не трудно.

– Нетрудно? – Шергин задумался. – Да и мне в общем-то несложно. Караульный!

– Здесь, вашскородь! – сунулось в окно заросшее лицо с белым сугробчиком инея на длинных свалявшихся усах.

– Троиц солдат сюда. – И пленнику: – Я обязательно спрошу твоего «хана», когда встречу с ним, о твоей посмертной судьбе.

Все совершилось быстро и неинтересно. Солдаты, оторванные от ужина у костра, торопились сделать дело и вернуться к насиженным местам. Выстрелы прозвучали немного раньше команды, мертвое тело осело в высокий твердый сугроб и застыло в полусидячей позе. Никто не стал его трогать. Солдаты, переговариваясь, ушли. Шергин какое-то время стоял поблизости, не замечая усилившегося ветра и повалившего снега, словно чего-то ждал, но и сам не понимал чего. Не воскрешения же трупа в самом деле. На душе у него было странно, будто досадно на что-то или на кого-то. Наверное, на ту легкость и уверенность, с какой пленник высказался о воскрешении мертвых. А может быть, другую легкость – ту, с какой он сам решил еще раз убедиться: из мертвых возврата нет. Похороненное не вернется никогда. Можно только самому уйти туда же и там встретить потерянное. А здесь, на земле, остается только ждать...

– ...ждать.

– А? – Шергин вздрогнул от пробравшего холода.

– Я говорю, пережидать теперь надо, – откуда-то взялся Васька, – метеля вон подымается. До утра, а то и на все завтра. Засыплет однакось.

Шергин зашагал к кострам, горевшим на широкой улице между черными, страшными и слепыми призраками домов.

– Не горюйте, вашскородь, – бежал сзади Васька, хлопая себя по бокам, как пристяжную

лошадь. – Всему черед свой. Теперь об живых бы думать.

Блаженный ум Васьки обладал способностью направлять заплутавшие мысли Шергина в нужную сторону. Оставался еще второй пленный, и с ним следовало разобраться, пока его не выморозили на холоде или не прирезали по-тихому. Такое тоже случалось. В зимнюю стужу и бескормицу каждый кусок и каждый метр теплого пространства был на вес золота, делиться этой скудостью с пленными никому не доставляло радости.

Но тот рассказывать про «алтан-хана» не захотел – то ли боялся, то ли стеснялся такой ерунды. Путано плел про горную республику и помощь Красной армии, а о том, что было в ящиках, которые грузили в аэроплан, не сумел сказать внятно ни слова. При упоминании же товарища Рахиль лицо его приняло диковатое выражение, в котором смешались страх, покорность и преклонение. Шергин предоставил ему шанс. Пленный безропотно согласился с предложенным и отправился рядовым в одну из рот.

Старый знакомый целиком занял мысли полковника. Когда-то, так давно, что прожитое казалось вечностью, Роман Бернгарт был известным в Петербурге карточным игроком, прожигателем папашиного наследства и завсегдатаем мистических салонов. Поговаривали, будто у него медиумические способности и связи при дворе – намекая, естественно, на всеильного Распутина. Шергин, недавний выпускник офицерской школы, никогда бы не свел с ним тесное знакомство – слишком разными были круги общения. Но однажды Бернгарт появился в доме, куда с недавних пор тянуло и его. Предметом их общего интереса была Мари, проводившая первую свою зиму в столице и несколько раз блеснувшая на балах. Вскоре ее затмили другие красавицы, более тонко ограненные природой и петербургской жизнью. Однако для Шергина она осталась единственной. Что же до Бернгарта, то и для него Мари сделалась единственной, на ком он решил сосредоточить свои усилия в ту сырую, туманную зиму.

Негласное соревнование завершилось в переулке недалеко от дома, где жила Мари, на исходе сезона мокрых снегов, в мартовских промозглых сумерках. Услышав наконец «да» от предмета любви, Шергин летел по улице, но был внезапно остановлен голосом из кареты, загородившей узкую проезжую часть. Отдернув занавеску, на него смотрел Бернгарт – стертым лицом без выражения. «Я знаю о тебе все, даже то, чего ты сам о себе не знаешь. Ты не сделаешь ее счастливой, потому что глуп, как большинство вояк. Она умрет раньше тебя. Твои дети умрут вместе с ней. Ты будешь жалеть, но поздно. Поздно. Станешь искать меня, но твоя судьба решена и не переменится. Будешь зарабатывать на хлеб извозом и умрешь нищим далеко от России. Я все сказал. Dixi». Чревовещательский голос умолк, окно задернулось, карета, прогромыхав, скрылась в радужном от фонарей тумане.

Вспоминая забывшееся, но вновь, как тогда, неприятно заворожившее чревовещание, Шергин начал искать разгадку судьбы. Какого зверя она представляет собой и какую власть имеет над человеком? Силой подчиняет его себе, или он сам безвольно отдается ей?

«Станешь искать меня...»

Предсказание ли определяется тем, что совершится в будущем, или будущее зависит от предсказания и никогда бы не стало таким без произнесенного в прошлом?

«Но теперь это не имеет значения, потому что я хочу найти его», – думал Шергин.

Лишь в отношении исписанных листков, которые он хранил вместе с прочими дорогими вещами в шкатулке красного дерева, это имело значение. Страница старого дневника и письмо, адресованное царю, – а в них вся жизнь России.

Неужели все бессмысленно – война, смерть, казни партизан, переменные успехи по

линии фронта, красно-белого водораздела?..

На уроках Закона Божия в гимназии тучный батюшка с масляной бородой и елеиным голосом объяснял вавилонское пленение евреев: иудеи впали в мерзость и идолопоклонство, за то были наказаны и томились семьдесят лет в плену для исправления. А перед тем пророк Иеремия вещал, что Иерусалим падет и храм будет разрушен.

Евреи сопротивлялись вавилонянам. Но кто они против Иеговы, карающего и милующего? И кто белые, со всеми своими армиями, против Христа? Если грехов в России накопилось на семьдесят лет очищения, кто смеет говорить, что он чист, и утверждать Святую Русь штыками да пушками? Где она, Святая Русь? Теплится огоньками в чьих-то душах и сердцах, зовет на мученичество. Не ушла, не канула в никуда, но слишком мало ее осталось. Если не вытащить из-под толстого слоя навоза, совсем задохнется...

К этой мысли Шергин подбирался долго и очень медленно, с отступлениями, разворотами, долгими перерывами. И, несмотря на страшное нежелание, приблизился вплотную. «Мы боремся против Него, – клокотало у него в голове, – мы, объявившие себя Святой Русью. Мы отвергаем Его промысел о нас и смело идем наперекор». Дикость этой мысли приводила в ужас. Он не хотел ей верить. Но она стояла у дверей и стучалась. Не лезла напролом, а вежливо, смиренно ждала, когда ее впустят. Она знала, что рано или поздно дверь перед ней откроется. И что хуже всего, Шергин тоже догадывался об этом.

– Василий, чаю!.. Васька!..

– Здесь я, здесь... чего так кричать-то... несу уже.

Васька расставил на крестьянском столе чайник, стакан и сухарницу с кусками плохонького ржаного хлеба.

– И чего так надрывать... – бубнил он, – я уж сколько лет Василий...

– С девками хозяйскими опять лясы точил? Смотри, выдашь военную тайну, – пригрозил Шергин, принимаясь за чай, – отправлю куда Макар телят не гонял.

– Батюшки, – всплеснул руками Васька, – шпиён я, что ли? Девчонкам свистульку вырезал. – Помолчав, он насупленно добавил: – С вами, вашскородь, никакой тайны не надо. И так туда идем.

– Куда? – не сообразил Шергин.

– Ну, туда... куда Макар не гонял. А вам чегой-то приспичило аж тыщу человек гнать.

– Не тысячу, а всего семь сотен.

Из той тысячи с лишним, что прочесывала с конца декабря Причернскую тайгу, трех сотен не досчитались после стычек с отрядами Рогова. Бандиты-анархисты показали себя отчаянными вояками, к тому же, доносила разведка, число их перевалило за несколько тысяч. Еще сотню солдат Шергин отправил в Барнаул с партией арестованных и донесением полковнику Орфаниди.

– Семь-то семь, а ну как бунт затеют?

Шергин посмотрел на Ваську, тот потупился и сделал дурашливое лицо.

– Ну-ка в глаза мне смотри. Слышал что или сам придумал?

– Так а чего думать-то, вашскородь, – виновато заморгал Васька. – Ахвицерам неведомо, куды идем, шепчутся на ваш счет, солдатики тож бурчат. Животы-то всем подвело, дырочки новые на ремнях вертят.

– Ахвицеры, – горько усмехнулся Шергин, – видал я этих ахвицеров. С миру по нитке надраны. С людьми работать не могут, выполнить боевую задачу не умеют. Солдаты – михрютки, винтовку, как дубину, держат, не стреляют – пукают в воздух. Не полк, а стадо.

Две роты сносные, и в тех народ повыбило. А поглядеть на роговских партизан – любодорого. Мы прем дорогами, а те на лыжах по целине, привычные, таежники. Им засаду устроить – раз чихнуть. А как стреляют! На двадцать шагов подпускают и бьют навверняка.

– А что ж, оттого и убежали от них? – невинно предположил Васька.

Шергин поднял на него тяжкий взгляд.

– Не блажи, дурак.

Васька, испугавшись, на всякий случай отступил к двери.

– Так я это... так просто, вашскородь... А ушли из черных лесов, и ладно. И хорошо. Только б еще знать, куды теперь. А то все дорога да дорога. Воевать-то и не с кем. Нешто к кумыкам в гости?

Алтайских калмыков Васька недолюбливал, не имея при том никакого с ними знакомства.

– В гости к императору идем, – вдруг раскрыл Шергин тайну, сильно омрачась, – в горах у границы он где-то обжился.

– Ахти, – Васька аж присел от изумления, – к самому инператору? Вона, значит, как. Ну, тогда да-а... Дела, значит...

Он поскорее скрылся за дверью.

С утра уходили из деревни, притулившейся на широкой дороге. Ротные офицеры изыскивали последнюю возможность пополнить запасы продуктов, солдаты лениво топтались на морозце, смолили самокрутки с наполовину травяной махрой, впрягали лошадей в подводы. Картина привычная и почти мирная, но вдруг ее безмятежность разбили крики и бабий вой, будто здоровый булыжник метнули в тихую заводь. Шергин послал ординарца узнать, в чем дело. А пока тот узнавал, вопли разрастались, как круги на воде, – казалось, вся деревня заголосила: бабы, ребяшня, псы, петухи, коровы. Всем было охота участвовать в возглашении беды.

Ординарец доложил: поручик Мятлев зарубил шашкой мужика – тот воспротивился изъятию трех мешков пшена и назвал поручика разбойником.

– Насмерть? – спросил Шергин, направляясь к эпицентру шума.

– Вчистую.

Двое солдат, не обращая внимания на вопли баб, взваливали мешки с пшеном на подводу. Возле трупа в окрасившемся снегу выла мужичка и бессмысленно дергала убитого за руку, будто надеялась, что встанет. Бабы-плакальщицы вокруг, завидев Шергина, ненадолго попримолкли. Рядом топтались несколько младших офицеров и совершенно бесполезный в этой ситуации полковой доктор.

– Сгружайте мешки, – приказал Шергин солдатам и повернулся к Мятлеву, который с безразличным выражением стряхивал снежинки с шинели. – Я не знаю, какие мотивы вами двигали, поручик. Однако я вынужден расстрелять вас как большевистского провокатора.

Среди глухого молчания офицеров раздался решительный голос ротмистра Плеснева:

– Господин полковник, прежде следует разобраться.

– Да? Сколько времени вам нужно на разбирательство? – сухо спросил Шергин.

Ротмистр, сам лихой рубака, как многие кавалеристы, на дело смотрел просто, без чувствительных затей. Он подошел ближе и понизил голос:

– Это нонсенс, господин полковник. Расстреливать офицера из-за какого-то мужика. Этот мерзавец назвал поручика Мятлева мародером. Офицер Белой армии, проливающий свою кровь за отечество, не должен сносить подобное. Здесь задета не только офицерская

честь...

– Как вы думаете, ротмистр, – перебил его Шергин, – когда на Страшном суде меня спросят, что я делал в восемнадцатом и девятнадцатом годах, я отвечу: «защищал офицерскую честь»? Или может быть, честь России, утопленной в крови и едва живой? Не предлагайте мне таких глупостей, ротмистр. Ступайте и заберите оружие у Мятлева.

Плеснев, поколебавшись, выполнил приказ.

– Извольте встать к забору, поручик, – негромко произнес Шергин.

Приговоренный, растерявшись на несколько мгновений, повернулся к офицерам, но затем овладел собой и твердым шагом направился к дощатому забору. Двое солдат по знаку полковника сняли с плеч винтовки, встали наизготовку.

– Хотите что-нибудь сказать? – спросил Шергин.

Поручик Мятлев качнул головой и отрешенно усмехнулся.

– Прощайте, господа. Не думаю, что еще свидимся.

Два выстрела, слившиеся в один, дали сигнал бабам. Вновь заголосив, но уже тише, они возносили в стылые небеса горькую жалобу на свою бабью безмужную военную долю. Мешков с пшеном на улице уже не было – прибрали.

Через час полк нагнала по дороге телега с одноногим мужиком. Подстегнув лошадь, инвалид подъехал к началу колонны, остановил колымагу, стянул с головы треух.

– Тебе чего, отец?

– Так нешто мы не понимаем, – ответил одноногий, – не бусурмане, чай. Вы своего не пожалели за нашего брата. Ну и мы к вам с поклоном.

Мужик отдернул с телеги дерюгу, обнаружив под ней два мешка.

– Чем богаты, как грится.

– Спасибо, отец, – потеплев нутром, сказал Шергин. – Где ногу-то потерял?

– Германец проклятый оторвал.

Мешки быстро, в два счета, перегрузили на ближнюю подводку. В одном была картошка, в другом то самое пшено.

– Н-но, залетная!

Развернув телегу, одноногий покатил обратно.

К вечеру добрались до уездного Бийска, а следующим полуднем миновали его. Глядеть в городишке было не на что, кроме салотопных фабрик и винокуренных заводов. Даром что город купеческий, на хлебах выросший – сюда свозили зерно и отсюда караванами отправляли через горы, в желтую Монголию. Купцы звенели монетой, завели в городе аж три банка, но облагораживать улицы не спешили. Повсюду щедро копились нечистоты, даже алтайский густой снег не успевал их скрыть. Домишки будто плясали – стояли вкривь и вкось, а между ними чего только нет – строительный лом, битая мебель, дырявые валенки, дохлые псы. Вот только хлеба ни у кого не допросишься. Купцы с прошлого года перевелись, склады усилиями совдепов опустели и местами порушились, даже амбарных мышей кошки подъели.

В том же Бийске Шергин получил первое твердое свидетельство, что алтан-хан, повелитель алтайских калмыков и сподвижник красных товарищей, не миф. Сперва выяснилось: в округе не так давно прошел крупный вооруженный отряд – появился и исчез, как монгольская орда, в бескрайней степи, посланная на Русь. Затем среди ночи Шергин увидел перед собой закутанного в меха калмыка. Он возник тихо и стоял – ждал, когда заметят. Полковник, вздрогнув, поймал рукоять револьвера и наставил ствол на гостя. Тот не

сделал попыток помешать этому или опередить. Шергин кликнул караульного, но первым на зов вбежал Васька со свечой в руке и закрестился, отгоняя нечистую силу.

– Свят, свят... заступи, помилуй...

Провинившийся караульный с круглыми ошалевшими глазами попытался подколоть калмыка штыком винтовки.

– А ну...

Калмык отстранил штык рукой и сказал, обращаясь к Шергину, на хорошем русском:

– Я не боюсь тебя, почему ты и твои люди боитесь меня?

Полковник знаком велел караульному уйти в сторону, но револьвер не опустил.

– Ты кто?

– Меня отправил к тебе мой хозяин. Он передал тебе такие слова: «Ты взял в свой отряд моего человека. Отошли его обратно ко мне, и я накажу его как трусливого перебежчика. Если ты не сделаешь этого, я заберу его сам».

Калмык слегка поклонился и сложил руки на груди, ожидая ответа.

– Это все, что он сказал?

– Все.

– Свят, свят, господи Иисусе... – бормотал Васька, делая свечкой кресты в воздухе.

– Твой хозяин так глуп, что думает будто я выполню его прихоть и даже не велю повесить тебя? – Шергин чуть расслабился.

Калмык растянул губы на восковом лице – улыбнулся.

– Нет, не глуп. А если ты не глуп, то поймешь почему.

– Он хочет продемонстрировать свою самоуверенность, зная, что отправил тебя на вполне вероятную смерть, – вслух подумал Шергин. – И рассчитывает этой азиатской расточительностью поселить в моих людях страх. Верно, он не глуп. Но я не стану лишать тебя жизни. Можешь уйти, как пришел.

– Ты отдашь того человека моему хозяину?

– Перебьется, – бросил Шергин. – Так и передай.

Калмык снова чуть поклонился и вышел из комнаты. Васька шарахнулся от него, а караульный счел долгом проследить за туземцем и, чтобы нигде не задерживался, унося ответ полковника, все-таки подколоть его штыком.

Сутки спустя, когда полк стоял лагерем в долине седой реки Катуня, Шергин убедился: Бернгарт слов на ветер не бросает. Утром в одной из рот нашли мертвеца с перерезанным горлом. Еще не услышав имени, Шергин догадался, что это бывший «подданный» алтан-хана. Перед тем, за ужином у костров, только и разговоров было, что о ночном визите калмыка к полковнику. Эта смерть взбудоражила всех до чрезвычайности. В руке покойник сжимал нож, отчего солдаты, спавшие ночью рядом, твердили, будто зарезаться ему велел алтайский колдун – явился-де бедняге то ли во сне, то ли наяву. Шергин, правда, подозревал причиной смерти новый визит неуловимого калмыка и велел применить к часовым давно отмененное телесное наказание.

Как бы то ни было, даже среди офицеров поднялось неясное брожение суеверного характера. Выразителем оного к Шергину пришел ротмистр Плеснев. Начав издали, с алтайского фольклора и вычитанного где-то опасения относительно неизученности влияния шаманского колдовства на человека, в конце он прямо спросил, какого черта лысого они идут искать в проклятых горах. Шергин предпочел бы не отвечать на этот вопрос, но раз уж слово прозвучало, пришлось подтвердить.

– Мы идем искать лысого черта, – невозмутимо сказал он.

– Это понимать в буквальном смысле? – смешался ротмистр.

– Как хотите. Это совершенно все равно. Полагаю, вы не станете вслед за солдатами повторять чепуху про то, что мы идем на подмогу к государю-императору Николаю Александровичу, который якобы чудом спасся от большевиков и скрывается в монгольских горах? Понимаю, отчасти я сам виною этим нелепым рассказам, и все-таки... Впрочем, вы можете идти, ротмистр. Да-да, и не забудьте, отойдя на десяток шагов, назвать меня Франкенштейном. Я не обижусь.

Чуйский тракт, по которому двигался отряд, все ближе обступали горы. Сначала они были как белые заснеженные холмы вдалеке, затем вдруг сдвинулись и выросли над головами. Дух захватывало от того, с каким бесстрашием петляла меж ними дорога, не боясь затеряться. Кое-где между скал лепились айлы туземцев-калмыков, по три-четыре в селе. Алтайцы были знатные строители: воткнут в землю жерди и накроют их сосновой корой – готов дом. Стада на зиму они загоняли в горы – на высоте легче найти корм. Сами калмыки зимами тощали, жили впроголодь – война ли, мир ли, – и поделиться запасами с отрядом, отбившимся от магистральных путей войны, не могли. Охотники-сибиряки, которых в полку набралось с десятков, выцеливали на гористых звериных тропах добычу – горного барана, козла, кабаргу. Мяса хватало каждому на зубок, но и тем были живы.

За селом Улала, в кривой долине между сопок, случился первый бой. Бернгартова орда – а больше думать было не на кого – ночью закопалась в снегу на пути у отряда и атаковала внезапно. Калмыки вдруг вырастали из-под сугроба и, выстрелив, снова падали. Несуразные фигуры в дубленых шкурах с красными поясами, нелепая тактика, гортанные крики охотников, загоняющих пугливое зверье. Все вместе это произвело странное действие – в отряде Шергина началась паника. Бегство солдат остановило лишь внезапное исчезновение калмыков. Шергин был уверен, что подстрелил трех или четырех, но ни трупов, ни крови на разворошенном снегу не нашли.

Что это было гадали долго и с суеверной фантазией.

Позднее группа, посланная разведать «монгольскую орду», быстро наткнулась на калмыков и насчитала до трех сотен. Несколько дней спустя их было в два раза больше. Через неделю в районе Шебалиной деревни, в горах, заросших таежным лесом, орда разрослась до полутора тысяч. Среди калмыков были и русские, бородатые мужики в старинных зипунах.

Возле Онгудая пошли степи, и однажды на рассвете Шергина растолкали с новостью, что впереди в чистом поле стоят калмыки. Дико стоят – по колено в снегу, будто чурки каменные, и не плотным строем, а вразрядку, от каждой чурки до следующей – порядочно шагов. Когда глаза продрал по команде весь полк, нашлись знатоки из сибиряков, приглядевшиеся да разъяснившие, что чурки в самом деле каменные, а поставлены в бывалые времена самим Чингисханом или еще кем – сторожить тутошные места. Вроде наших богатырей на заставах. А звать – каменные бабы.

До чурок было час ходу, и чем ближе, тем веселей разбирали солдат, – как горох, сыпались шутки про «бабье» войско, и в воздухе крепко посолонело. Вблизи «бабы», утыкавшие степь сбоку от дороги, оказались рослыми, как гренадеры, уродливыми и неприветливыми, но оживленности солдат это не уменьшило. Шергину их веселье казалось надрывным и истеричным, однако останавливать кривлянья он не решился. Все ж лучше, чем суеверные шепотки и нелепые рассказы у костров. Но самому хотелось быстрее

миновать редкий строй чурок. И еще более странное ощущение: тревожно и неприятно было оставлять застывшее войско у себя за спиной.

Офицеры не могли удержать солдат, да и не особенно старались, – сами сворачивали с дороги и пытались отколупнуть кусочек «бабы» на память, потрогать за исполинские бока. Рядовой Олсуфьев придумал оставить на своей «избраннице» памятный знак и наспех процарапал ножом известное слово. Хвост отряда уже прошел мимо, когда раздался жалкий вскрик. Рядового Олсуфьева придавило упавшей «бабой». Она накрыла его поперек – с одной стороны торчала голова, с другой трепыхались ноги. Олсуфьев был жив, беспомощен и смешон. Из-под «бабы» его вытащили, ощупали кости и наградили хохотом. Рассмотрели слово и объявили, что «баба» женила Олсуфьева на себе, а как же иначе, если слово самого что ни на есть прямого действия, и «бабе» его понять по-другому никак было нельзя. Пострадавший охал, держался за грудь и на зубоскальства отвечал кривой болезненной улыбкой.

– Смотри, Олсуфьев, как бы эта баба к тебе ночью не пришла погреться...

– ...да не потребовала бы обещанного.

– Ты уж, Олсуфьев, не урони марку, оправдай девичьи надежды.

– Да честь полка поддержи, гляди.

Эпизод раздосадовал Шергина, а затем в мыслях всплыла «Венера илльская» Мериме, и реальность вокруг неуловимо поплыла. Все казалось зыбким и теряющим очертания, двусмысленным. Словно в реальности раскрылась некая дверь и приглашала войти в нее: если бы он решился, его дорога повернула бы в одну сторону, если бы остался за порогом – совсем в другую. Он вдруг понял, что преследует не Бернгарта и не его дикое воинство, а идет по следу собственной судьбы, проложенному для него кем-то. И если не свернет, то непременно попадет в конце пути в ловушку, в смертельные объятия каменной «бабы», обручившейся с ним по неведомой прихоти. Но свернуть трудно, невозможно... или почти невозможно? Свернуть не назад, не вбок, а вперед. Вывернуться из объятий «бабы», оставить ее мертвым поверженным истуканом.

«Судьба – это истукан, – подумал Шергин. – Кто следует ей, кого она ведет за руку, тот – идолопоклонник. А много ли теперь в России тех, кто не кланяется идолу? Красные, белые – все согнулись в земном поклоне. Все слушают поступь каменной «бабы». Все трепещут».

В сумерках отряд наткнулся на калмыков. Они запечатали собой проход между протяжными степными холмами. Их было так много, что выбить «пробку» не смогли бы даже пушки. Они копошились на сизо-голубом снегу, их хаотичное движение было похоже на насекомое. Но завязывать перестрелку калмыки не стали. До рассвета снежная степь дышала вооруженным нейтралитетом, настороженно вглядываясь во тьму глазами часовых.

Утром начался бой – самый странный за всю военную биографию Шергина. Калмыки за ночь поставили заграждения из сложенных в несколько рядов бревен, которым в степи взяться было совершенно неоткуда.

Атака в лоб не имела смысла. С фронта от калмыцких пуль отстреливалась лишь сотня солдат. Остальные, разделившись пополам, до рассвета оседлали прилегающие холмы и теперь били калмыков оттуда. Шергин остался с меньшей частью. Люди распластались за наваленной стеной снега, стреляли через узкие бойницы.

Между двумя выстрелами Шергин услышал всхлип, повернулся. Солдат, мальчишка лет восемнадцати, выронил винтовку и трясся. Поглядев на полковника, он прошлепал лиловыми от холода губами:

– Мертвецы... там... не бревна...

Шергину пришлось тереть перчаткой глаза и в конце концов убедиться: михрютка не свихнулся. Одно из укрытий калмыков обвалилось, и два «бревна» распластали руки. Ощувив почему-то острую досаду, он подполз к солдату и сунул ему винтовку.

– Стреляй!

Михрютка испуганно помотал головой.

– Н-не могу... в мертвых...

Шергин хотел ударить его, чтобы привести в чувство – слова мальчишки казались беспомысленным бредом. Отчего это в мертвых стрелять труднее, чем в живых? Но вдруг он понял – это правда, и рука опустилась. Живые теперь стоили дешевле мертвых, ведь из них даже укрытия в голой степи не соорудишь. В словах михрютки запечатлелось время.

На целых пять минут Шергин упустил из виду ход сражения. Только теперь он увидел, как с правого холма отступают, точнее, бегут его люди. Калмыки действовали числом и собственной массой, как волна, смывая солдат с высоты. На противоположном холме дело обстояло не лучше...

Калмыки не преследовали. Но и бежать в степи особенно некуда. В километре от места боя отряд собрался и посчитал потери. От семи с лишком сотен осталось пять с половиной. К следующему утру мороз прибрал тяжелораненых. Зато путь по Чуйской дороге освободился. Калмыки вновь таинственно пропали, забрав свои «бревна».

В мирной деревушке Купчеген, где жили алтайцы и русские крестьяне, поведали, будто проходил накануне отряд человек в сто, а командовал ими белый зайсан. Они сторговали немного припасов и ушли на перевал.

На придорожном постоялом дворе после офицерского ужина с печеной козлятиной к Шергину подсел прапорщик Чернов. Смущенно поглядывая на девчонку-калмычку, убиравшую посуду и стрелявшую глазами, он рассказывал:

– Вогуличев из второй роты говорит, нечисто в этих горах. Он прежде здесь часто бывал, хлеб в Монголию возил. Говорит – это чужь чудит. Я спросил его, что за чужь такая, а он сказал – не знаешь и не знай. А Олсуфьев твердит, что это армия мертвецов, которые много веков гибли в горах. Он совсем плох. Каменная баба что-то с ним сделала, факт. Желтый весь стал, и на ногах едва стоит. Солдаты смеются, будто это он со стыда, что его баба покрыла. А Вогуличев сказал, Олсуфьев теперь обязательно помрет.

Девчонка-калмычка, взмахнув косицами и подогнув под себя ноги, уселась за шитье на подстилке в углу. Миша Чернов вдруг покраснел и заговорил быстрее:

– Вогуличев нам пригодится в горах, он может общаться с туземцами на их языке. Раньше он у хлебного купца служил и с калмыками здешними торговал. После революции красные купцу брюхо вспороли – обширен был купец, болезнью страдал. А они думали, он в брюхе рабоче-крестьянское добро прячет.

Прапорщик помолчал немного, косясь на девчонку, затем сказал очень серьезно:

– Но все это, разумеется, меркнет перед красотой здешних гор. Только в таких местах по-настоящему понимаешь, что смерти нет.

– Однако при этом приходится постоянно думать о ней, – невесело усмехнулся Шергин.

– И видеть, – добавил Миша, а чуть погодя примолвил: – В этом парадоксе проходит вся человеческая жизнь.

Девчонка-калмычка прыснула в рукав. Прапорщик строго посмотрел на нее.

Рядовой Олсуфьев представился той же ночью. Он лежал в калмыцком аиле на толстом грязном одеяле, в той самой позе, в какой его распластала по земле каменная «баба», и

силится выразить что-то мертвыми глазами.

– Доктор, давайте прогуляемся, – предложил Шергин, выходя из аила.

Серая дымка мартовской зари помалу расплзлась, обнажив белоснежно-розовые графики гор над плоскостью синеющей долины.

Полковой доктор Лунев имел особенность – в труднейшем зимнем походе в глубь гор он держался всегда так, будто выехал на охоту и, любуясь видами природы, дыша острым морозным воздухом с пряным вкусом азарта, спокойно ждал появления зверя, которого заранее любил и презирал. Таким зверем был для него любой пациент, и оттого солдаты доктора побаивались, а наиболее консервативная часть офицеров считала его опасной разновидностью декадента. Шергин знал, что причиной всегдашней бледности доктора был кокаин и, возможно, морфий.

От аила, где лежал мертвый Олсуфьев, они неспешно направились в русскую часть селения.

– Доктор, мне трудно предполагать в вас суеверную личность, – сказал полковник, – поэтому не пытайтесь навязать мне мистику в этом деле. Тем более не советую вам распространяться в подобном духе среди солдат. Думаю, есть и более простое объяснение смерти Олсуфьева, нежели проклятие каменной «бабы».

– Увы, без вскрытия я не смогу вам его предоставить, господин полковник. Что же касается мистики – я бы не стал называть это суеверием. «Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Почему бы не предположить, что матерная брань как сильнейший раздражитель вызывает в атмосфере энергетичнейший вихрь и тем притягивает темные разрушительные силы? Эта гипотеза вовсе не лишена правдоподобия. Более того, я слышал ее несколько лет назад от одного ученого мужа, который занимался поиском доказательств существования низшей духовной реальности.

– Смею уверить, эта реальность не требует для себя никаких доказательств, – заметил Шергин. – Как, впрочем, и высшая.

– Совершенно с вами согласен по первому пункту. Однако во втором вижу лишь стремление к логическому округлению. Не существует никакой высшей реальности, она появилась в человеческих мифах как балансир, симметричная равнодействующая сила.

– Это вы Бога считаете логическим округлением? – спросил Шергин.

– В том-то и дело, что Бог не принадлежит высшей реальности, – доктор удрученно развел руками. – Все боги являлись как раз из низшей и только потом, так сказать, возносились на небо.

– Иными словами, для вас, как для того монаха у Достоевского, существуют только бесы.

– Простите, господин полковник, но ваши слова просто вынуждают меня поморщиться.

Сделав вежливое предупреждение, доктор в самом деле произвел своим бледным лицом некое недовольное движение. Затем он продолжил:

– В низшей реальности, как я вам уже сказал, обитают не только темные демоны, но и боги. Христианство уравнило их в правах, но не думаю, будто это что-либо изменило.

– Занятное у вас богословие, доктор. Вы говорите так убежденно, точно выстрадали эту теорию на личном опыте.

– Собственно, так и есть. Я много раз видел их своими глазами.

– Что же, с чертом разговаривали, как Иванушка Карамазов?

– Напрасно иронизируете. Разговаривать не разговаривал, а приходиться-то они

приходили. И демоны, и боги. Впрочем, можете не верить, я не настаиваю.

– Отчего же, приходится верить. Вы бы, доктор, кокаином не злоупотребляли. Настоятельно вам рекомендую.

– Вы думаете, можно, познавши ту реальность, смотреть без боли на эту? – Доктор прочертил рукой в воздухе кривую линию, обозначив реальность айлов, крестьянских дряхлых избушек, солдат, с уханьем растирающихся снегом, заспанных гор на близком горизонте. – Поверьте, господин полковник, кокаином я продляю себе жизнь.

– А не ваша ли боль укоротила жизнь Олсуфьеву? – поинтересовался Шергин. – Не то прописали, может?

– Помилуйте, господин полковник, что я мог прописать ему? Грелку в ноги и кровопускание? Мой медицинский саквояж давно пуст, и пополнить его негде.

– Подозреваю, не до конца пуст, – хмыкнул Шергин. – Однако отчего же умер Олсуфьев, вы придумали?

– Очевидно, у него было слабое сердце. Удар каменной «бабы» вызвал сильнейшее потрясение внутренних органов, которое и привело к параличу либо разрыву сердечной мышцы.

– Годится.

Следующие две недели отряд вел изнурительную битву с горной дорогой, которая словно задалась целью вынимать силы из любого путника, будь то пеший или конный. Подводы бросили еще раньше, до Купчегена. На той первобытной тропке, что называлась трактом и виляла вокруг скал, телеги были дополнительным, а то и основным способом укатить в пропасть. А ведь дорогу поновляли и благоустраивали для колес еще в начале века – куда все делось? Отчего империя так скупа была на освоение собственных пространств? Отчего в ней появилось столько бессилия, что когда-то крепкую русскую скалу сумел сдернуть с места кровавый поток революции?

Под такие мысли шагалось незаметнее, и узкие гранитные карнизы, колдовские метели на вершинах перевалов, спуски с ледяной горки на собственном заду отпечатывались в сознании лишь после того, как уходили в область минувшего. Но что поражало сразу и бесповоротно – дикая красота, царственно почивавшая вокруг. Иногда она являлась так бесцеремонно, проникала в душу так глубоко, что становилось не по себе. Горы будто нанизывали на свои острые пики человечье сердце и возносили его высоко-высоко, к самому небу, туда, где Бог, взяв бедное сердце в руку, тщательно рассматривал его и искал малейшую червоточину. А найдя, с печалью насаживал обратно и отправлял снова на землю.

После жуткого великолепия бомов, драконами нависавших над усмиренной льдом Чуей, опять распростерлись степи. Днями пригревало, и снега почти не было. Но по ночам от мороза слипались ресницы, а на отпущенных бородах висли хрустящие сосульки, если хоть на минуту отлучиться от костра.

Калмыки себя не обнаруживали, и это тревожило Шергина. Несколько раз он отправлял разведку, но та возвращалась ни с чем. Бернгартова орда пропала бесследно. Ротмистр Плеснев не оставлял попыток выяснить намерения полковника, его поддерживало какое-то число офицеров. Шергин, хотя и видел вызревающее недовольство, ничего ясного выразить им не мог, даже если бы хотел. Двухмесячный путь в глубь гор Алтая ему самому казался весьма иррациональным, не имеющим ничего общего с обычной логикой. Может быть, он просто бежит от гражданской войны, от февральско-октябрьских революционных песен, кумачовых и бело-республиканских лозунгов – от всего, что сыплет пеплом в душу?

Ротмистр Плеснев, верховод офицерского ворчания в полку, скорее всего думал именно так. Эта мысль была досадна Шергину, но армейский этикет, возрожденный адмиралом Колчаком, не позволял ему оправдываться перед младшими чинами. И даже интересоваться их умонастроениями.

В начале апреля, когда лица у всех приобрели медно-красный цвет загара, отряд утомленно вошел в деревушку Айла. Отсюда на юг уходила узкая и длинная Курайская степь, за ней круглила бока Чуйская, а там и до монгольской границы рукой было подать. Ситуация становилась все неопределенней и тоскливей. Шергин не имел представления, как действовать дальше. Бернгарт и его горные партизаны не подавали признаков жизни. Горы хранили молчание и продолжали скармливать пришельцам-чужакам свою первобытную, будто только что вышедшую из-под резца Бога, красоту. Шергин чувствовал себя переполненным ею, едва не отравленным, но она не знала жалости, а он не мог повернуть назад. Да и позади – она же, а за ней – все тот же бессмысленный февраль-октябрь.

Но именно тут судьба расщедрилась – подкинула еще одну приманку. В избу к полковнику приволокли за шиворот мужичка. Доложили, будто ходил меж солдат, смущал баснями, склонял к дезертирству. Сам мужичок был невидный, ростом не удавшийся, в драном тулупе с ватными извержениями, зато на рожу лукав и в словах непрост.

– Ну, – проговорил Шергин, усаживаясь на лавку, – рассказывай.

Мужичок прижал к груди шапку и, повертев головой, будто хотел пожаловаться на конвойных, хитро произнес:

– Рассказать-то можно, а станет ли с того толк?

– А это уж я сам решу.

– Ну, тады ладно, – согласился мужичок и спрятал шапку под тулуп. – Что ж, барин, рассказать-то? Я мно-ого всякого знаю.

– А то же, что солдатам. Чем их смущал, что сулил.

– Жизнь сулил, чего ж еще. А то ить под ружжом ходить – смерть кликать. А без ружжа-то как хорошо. Идешь себе да идешь, тайные знаки по горам и долам высматривашь. То ли сам путь ищешь, а то ли он тебя. А так и находят. А вместе, втроем аль вчетвером, и того лучше, чем одинешеньку. Зверь не приест, спужается, и дорога скорей на зов откликнется.

– И куда же эта дорога ведет?

– А в страну заповедну – Беловодьем зовут. Иному три года туда идти, а другому за седмицу откроется – смотря каков человек, значит. А ты, барин, не сумлевайся. Вон по глазам-то вижу, что не больно веришь.

– Слыхал я о Беловодье, – ответил Шергин, покачивая головой. – Будто где-то тут в горах, в тайном месте.

– Во, – заулыбался мужичок, – знаешь. И то правда, в самом что ни есть тайном. А только ты, барин, со своими некрутами и фельфеблями туда не ходи. Тебе с ними туда дорога заказана. Если б вот бросил все да один пошел... а не то со мной, и в старую веру бы обратился. Тогда дойдешь. А с войском не пройдешь.

– Отчего же?

– А там, барин, уж свое войско. Побьют твоих соколиков, вот те крест. И тебя побьют.

Мужичок припечатывающе осенился двуперстным раскольничьим крестом и поклонился в землю.

Шергин испытал к этим словам необыкновенный интерес и весь подобрался,

спружинился, как кошка, у которой перед носом сидит нахальная мышь.

– Это что же там за войско такое? Тоже небось тайное да заповедное?

– А то как же. Аккурат тайное. А как же ему не тайным быть, коли с тайными людьми из Беловодья общение имеют? Ты, барин, сам-то рассуди.

– Ну а ты видел это тайное войско? Может, встречалось в горах? – спросил Шергин.

– А может, и встречалось, – лукаво сморщился мужичок.

– В каких местах?

– В местах-то каких? – задумался раскольник. – Да тут недалёко, на цветных горах.

– Где это?

Шергин развернул карту, разложил на столе, но мужичок с места не стронулся.

– Это мне, барин, наука бесполезная, я тебе так просто скажу. Ежли свербит тебе, пойдешь отседова на восход, к Ильдугему, там перевал минуешь и дале повдоль Курайской хребтине двинешь. Как увидишь – красные горы пошли, тут и гляди в оба. Может, чего углядишь. А только зря тебе это, – заключил раскольник.

Шергин карандашом начертил на карте пунктирную линию и там, где она обрывалась, поставил три знака вопроса.

– Что ж ты сам за ними не пошел, если в Беловодье стремишься? – спросил.

– Эх, барин. Туды свой путь найти надо, а не чужой. Тут ить, барин, мудрость, об какую зубы поломаешь, а вовек не разгадаешь. Одно знаю наверно – дорога туда под гору ныряет. А гора та – всем горам царица. В небо упирается и порфиром блещет, фрусталем мигает, вот какая гора. А как с другого конца выйдешь, тут тебе и Беловодье заветное. Тут тебе и сыр в масле и девки красны, тут и Божья роса, и ангеловы голоса. Никакой антихрист туды не сунется.

Шергин поскреб колючий подбородок, размышляя.

– Ну вот что. Наказывать тебя за дурные разговоры с солдатами не стану, хотя надо бы. А пойдешь с нами – вдруг чего напутал, а там вспомнишь. Будем вместе это таинственное Беловодье искать.

Тут мужичок свалился с грохотом на коленки и слезно взмолил:

– Не губи ты мою душу, барин. Нельзя мне с вами никак. Вот хоть на месте убей, а не пойду. Никониан, да с ружжами, в Беловодье вести – да где ж это слыхано. И не дойдете вовсе – побьют же, и меня с вами. Тады уж мне от скрежета зубовного не спастись, гореть буду в огне вечном. Отпусти ты меня, барин!

– Да и черт с тобой, – легко согласился Шергин. – Все равно ведь сбежишь. И людей мне попортишь своими анархическими разговорами.

– Попорчу, барин, попорчу, – на радостях закивал раскольник. Он поднялся на ноги и вынул шапку, приладил на голову. – А я уж как ни то один, по-старому. Вижу, не вышло у меня сопутников себе собрать. А то, может, и к лучшему, кто ж его знает. Так я пойду, что ли, барин? – Он оглянулся на дверь, за которой ждали двое солдат. – Некруты у тебя больно злые.

...К ночи затуманило – пришла первая оттепель, нагнала сырости с близкого болота. Неподалеку гулко потрескивало, ухало – будто вскрывались горные реки. Но туземцы заверяли, что для рек еще рано, а вздыхает большой ледник неподалеку, готовится к первой в этом году брачной ночи, когда истечет мутными струями и покроет белые воды побежавшей мимо речки.

Земля под ногами была непривычно твердой для весны, и даже туман в воздухе казался

сухим, щекочущим в горле, будто дым. Пахло незнакомо – не тающим снегом и пробуждающейся землей, а древней пылью, которую по миллиметру в столетие обтачивал с гор здешний ветер и потом кружил-гонял по степи в пыльных бурях. За аилами на краю деревни горели костры – солдаты ужинали, иные спали, подставив спины огню. Шергин подошел незамеченным, остановился за границей света – не хотелось обрывать разговор.

– ...на ероплане улетел. И царица с ним, и дети ихние с наследником Лексеем. А живут теперича в горах, там их никто сыскать не сумеет, и прозываются те горы – Гамалаи. Они на земле самые высокие, оттуда до неба и до Бога – пальцем ткнуть.

– Ну и силен же ты врать, Постников. Как же они все на ероплане вместились? Это ведь машина сурьезная, а не кобыла с телегой. Вот, братцы, меня послушайте, как оно есть на самом деле. По Белому морю теперь белый крейстер плавает и никогда к берегам не пристаёт. На нем и спасаются царь с наследником от большаков. А все почему? Море-то Белое, красным в него не зайти, утопнут...

– Теперь мне все ясно, – торжественно провозгласил Федор с порога. – Беловодье – это тайная партизанская база в труднодоступных горах.

– Оригинально, – оценила Аглая, чуть опешив и забыв пригласить гостя в дом. – Такого еще не было.

– Это не моя мысль, – отверг лавры Федор. – Так думал полковник Шергин. Или примерно так... – Он на миг замолчал. – Но вообще-то, я полагаю, меня стоит впустить.

– Ох, – сказала Аглая и посторонилась. – Только не делай больше таких громких заявлений. Тетя приболела, и, если услышит, ей станет совсем худо. Она у меня впечатлительная.

– Понял. Буду делать заявления шепотом.

Федор расположился в старом-престаром кресле-качалке и, переполненный заявлениями, усиленно закачался. Аглая наскоро приготовила чай с алтайским кумысом. Осторожно понюхав кувшинчик с густым грязно-белым молоком, Федор поинтересовался:

– Лошадиное?

– Верблюжье.

Еще раз понюхав, он не решился рискнуть и отодвинул кувшинчик.

– Зря, – сказала Аглая. – Очень питательно. Ну, я слушаю тебя.

Федор принялся шептать, с чувством выкатив глаза:

– Я собираюсь идти в горы.

– Для чего? – насторожилась Аглая.

– Искать клад, оставленный там полковником.

– Очень интересно, – сказала она нисколько не заинтересованным тоном. – У тебя есть карта сокровищ?

– Есть. – Федор вытряхнул из-за пазухи мемуары прапорщика Чернова. – Вот она. Здесь все описано. Шергин искал Беловодье, то есть ту самую партизанскую базу...

– Легенда о Беловодье появилась лет на двести с гаком раньше, – перебила Аглая.

– Знаю, но Бернгарт мог просто использовать этот бренд для своего караван-сарая.

– Допустим. – Аглая шевельнула бровями, и в этом движении не было совершенно ничего допускающего. Федор, однако, был увлечен рассказом, чтобы замечать ее мимику.

– В полку, хотя это скорее было несколько рот, ходили разные мнения насчет конечной цели похода. Судя по всему, Шергин был очень скрытен. Это, конечно, сильно вредило ему и нагнетало атмосферу в отряде. Но здесь, – он постучал по книге, – упоминаются Беловодье и Белый Старец, который жил на высокой горе. Тебе это о чем-то говорит?

– Цагаан-Эбуген, монгольское божество? – Аглая пожалала плечами. – Пока ни о чем.

– Может, и божество. Или не божество. Они ведь нашли эту гору, и Шергин с ротой солдат полез на нее. А там двое рядовых заблудились и наткнулись на Белого Старца. Один потом вернулся, а второго Старец оставил у себя. Больше того парня никто не видел. Но второй передал Шергину пару слов от «божества». После чего полковник пришел в сильное возбуждение, долго писал что-то и в результате оставил на горе свою шкатулку, с которой никогда не расставался. Что в ней было, кроме этого письма, неизвестно. Но Чернов видел, куда полковник ее спрятал, и подробно описал место. Как думаешь, зачем?

– Чтобы кто-нибудь когда-нибудь ее нашел.

– Точно. И этот кто-то – я. Письмо полковник писал мне.

– Почему ты так уверен?

– Чернов стал свидетелем гибели семьи полковника в Ярославле. Он был уверен, что убили всех. А в тот день на горе Шергин, как безумный, твердил про своего потомка. Сказал, что получил обетование о потомке. – Федор умолк, глядя в стену остановившимися глазами. – Вот и решай – божество сей Белый Старец или кто.

– Или где, – сказала Аглая. – Как ты собираешься искать эту гору?

– Найду. Туземцы так и называли ее – гора Белого Старца. Может, и сейчас кто-нибудь из них знает.

Федор вопросительно посмотрел на девушку.

– Ладно, спрашиваю, – согласилась она. – А в книжке написано, как он погиб?

– Написано. Но мне не все ясно. Это только внешняя сторона дела. А мне нужны показания главного свидетеля.

– Старик Плеснев мертв, – напомнила Аглая.

– Не его. – Федор мотнул головой. – Полковника Шергина.

Освободившись от заявлений, он допил чай и расслабился. Теперь можно было перейти к другим вопросам. Он сосредоточил во взгляде всю нежность, на какую был способен, и постарался, чтобы это было заметно.

– Что ты так страдальчески смотришь? – спросила Аглая, отведя глаза, и стала зачем-то переставлять на столе чашки.

Федор немедленно сменил нежность на решительность.

– Послушай, я понимаю, когда я только явился сюда к вам, ты воспринимала меня, и, наверное, справедливо, как некую эманацию городского хаоса. Этакого столичного ковбоя, который сбежал в деревню, потому что ему вздумалось вообразить себя лишним человеком. Вот, ты улыбаешься, значит, так все и было. Но кое-что изменилось. Я ведь почти три месяца тут живу. И ваши сельские натурфилософские эманации на меня тоже действуют. Поверьте, Аглая... пардон, забылся... Поверь, я стал другим. Я, можно сказать, возродился здесь душой к новой жизни и...

Аглая прыснула, закрывшись ладонью, и все красноречие Федора как рукой сняло.

– Что? – с глупым видом спросил он.

– А кто в Бийске хвастал красивой жизнью и сорил деньгами? – тихо смеялась она.

Федор помрачнел и долго не находил слов. Потом встал, ушел к окну и сказал:

– В сущности, это не более чем сублимация подавленных желаний. Но теперь я понимаю, какой же я дурак. Как пошло и скудоумно вел себя. Это оттого, что я совсем потерял голову. – Он порывисто вернулся к столу. – Я сейчас задам тебе прямой вопрос и хочу услышать на него прямой ответ...

– Ты хочешь знать, пойду ли я с тобой в горы? – опередила его Аглая. – Разумеется, да.

Федор вскочил, схватившись за голову, и зашагал по комнате.

– Нет, это невозможно! – отчаянно произнес он. – Эта женщина сведет меня с ума!

Он остановился, задумчиво глядя на нее.

– Кажется, я никогда не смогу раскусить тебя. Но, черт побери, мне это нравится. Сам не знаю почему.

– Я же не сахар, чтобы меня раскусывать, – с усмешкой сказала Аглая.

– Это я уже понял, – проворчал Федор.

Степь выгорела на солнце до рыжины – у нее стал портиться нрав, и все чаще вокруг

Усть-Чегеня перекатывались темные клубки пыльных бурь. Только флегматичным верблюдам было хорошо – вся остальная живность, не исключая людей, стремилась в горы. Из-за нашествия туристов Федор на время потерял Аглаю и от тоски начал выдумывать разнообразные причины для ревности. Прождав неделю и окончательно разочаровавшись в женской последовательности, он отправился на поиски единственного знакомого алтайца – желтолицего Бельмондо. Полдня Федор ходил по степи, высматривая горбатые кочки на фоне дымчато-синих гор – верблюжье стадо. Наконец, умаявшись и возжаждав, догадался повернуть к стойбищу. Там и наткнулся на обоих – бездельничающих и весело болтающих на туземном языке. Аглая была в том самом платье, которое купил в Бийске Федор, насилу уговорив ее не сопротивляться подарку.

Голубой бархат смотрелся на ней превосходно, но посреди убогих монгольских юрт это выглядело насмешкой, и Федор даже догадывался над кем. В голову ему пришла беспомощная мысль, что он не заслужил такого обращения с ее стороны. Но тут же эту беспомощность перебила другая мысль, намного более мужественная. Он подумал, что, даря женщине красивые платья и драгоценности, мужчина покупает все это для себя. И трудно было бы требовать от женщины, которая тебе не принадлежит, чтобы она подбирала к подаренному соответствующее окружение. Разве что подарить и его тоже.

– Надеюсь, тебя не переименовали в Голубую Березу? – изображая цинизм, спросил Федор. – Впрочем, это было бы куда как романтичнее, чем Белая. Голубые дали, сиреневый туман...

– Здравствуй, Федор. Я тоже рада тебя видеть.

– Разве бывают голубые березы? – спросил Жанпо. – Ты, наверно, плохо учился в школе.

– Я вообще не учился в школе, и до сих пор мое невежество служит притчей во языцах, – объяснил Федор.

Жанпо онемел в изумленном восторге.

– Похоже на правду, – улыбнулась Аглая.

– А теперь мне не терпится пойти в горы, искать Белого Старца, чтобы он поделился со мной своей мудростью, – тонко намекнул Федор.

– Так это тебе нужен мой дедушка? – Жанпо обрел дар речи.

– Твой дедушка – Белый Старец? – не без удивления спросил Федор.

– Его дедушка шаман, – ответила Аглая. – Ты же хотел познакомиться с шаманом?

– Дедушка очень старый, – сказал Жанпо, – он больше не призывает духов.

– Да и моя бабушка немолода, – брякнул Федор, однако немного подобрел, испытывая интерес к шаману, к тому же очень старому.

– При чем тут твоя бабушка! – сердито подняла брови Аглая, и Федор ощутил сладость удовлетворения – наконец-то ему удалось засунуть холодную руку под теплое одеяло ее безмятежности.

– А сколько лет дедушке? – спросил он Жанпо.

Полуобморочно закатив глаза, алтайский Бельмондо долго шевелил губами.

– Много, – подвел он итог подсчетов. – Дедушка родился еще до того, как в священное дерево Кер-Огоч попала молния.

– До тысяча девятьсот десятого, – перевела Аглая.

Федор присвистнул.

– И до сих пор ты скрывал столь ценный исторический артефакт от общественности?

Жанпо неуверенно моргнул.

– Я ничего не скрывал.

– Ладно, оправдываться будешь потом. Показывай мне своего дедушку, – распорядился

Федор. – Кстати, чем тут, кроме прокисшего верблюжьего молока, утоляют жажду?

– Чакой, – ответила Аглая, шагая позади.

– Что такое чака?

– Местный энергетический напиток, по вкусу похоже на кока-колу.

– Надо же. Из чего ее делают?

– Из марального корня. Мелко нарезают, потом пережевывают и...

– Что-что делают?! – затормозил Федор.

– Смешивают со слюной, чтобы началось брожение, – с невинной улыбкой разъяснила Аглая. – Жанпо, угости Федора чакой.

Алтаец послушно направился к ближайшей юрте.

– Стой! – сдавленно крикнул Федор. – Не надо чаки.

Но туземец уже исчез в юрте и быстро вернулся с пластиковой бутылкой в руках.

– Это не чака, – объяснил он сомлевшему Федору. – Это пепси.

– Черт побери, – пробормотал тот, глядя на этикетку. – Миклухо-Маклаю здесь определено нечего делать.

Одолов жажду, Федор поинтересовался:

– Так мы идем к дедушке?

– Мы уже пришли.

Жанпо показал на юрту, куда ходил за бутылкой. Лишь теперь Федор заметил на ее войлочной крыше спутниковую антенну-«тарелку». Выглядела антенна нарядно – ее украшали прицепленные по краю маленькие бубенцы с яркими ленточками, нежно позвякивавшие на степном ветру. Федор невольно засмеялся:

– Дедушка любит праздники?

Жанпо серьезно покачал головой.

– Нет. Дедушка очень старый, – повторил он, – уже не камлает. Но он смотрит по телевизору, как камлают белые люди.

– Что он имеет в виду? – Федор озадаченно повернулся к Аглае.

– То, что сказал, – пожалала она плечами.

Жанпо открыл дверь юрты:

– Заходите. Только тихо. Дедушка не любит шума.

Несмотря на дедушкину нелюбовь, телевизор был включен громко – наружу звук не проникал из-за толстых войлочных стенок юрты. Дедушка сидел на полу спиной ко входу и к гостям не повернулся. Его внимание поглощала шумная, истерическая перепалка на экране – показывали ток-шоу, из тех, в которых громче остальных орет по обязанности ведущий. Федора иногда интересовал теоретический вопрос, откуда берут таких бешеных, но теперь его больше занимал дедушка, полностью экипированный в шаманское облачение. меховая парка была густо обвешана разнообразными амулетами – палочками, крючками, бубенчиками, зубьями, резной костью, перышками и прочим охранительным добром. В руках старый шаман держал огромный бубен – больше полуметра в диаметре и с минутными интервалами бил в него колотушкой, издавая сильный, низкий звук. К пению бубна шаман присоединял монотонную горловую руладу, от которой Федору хотелось прокашляться.

Жанпо стоял смиренно и не тревожил дедушку, видимо, дожидаясь момента, когда будет можно. Федор, хотя не понимал, чем занят шаман, также покорно молчал и тщетно пытался

разрешить загадку камлания белых людей. Когда начался перерыв на рекламу, он не удержался и на излете горловой вибрации шамана вежливо кашлянул.

Старый колдун не повернулся. Опустив бубен и уронив голову на грудь, он захрапел – очень громко и демонстративно. Жанпо в ответ на вопросительный взгляд Федора приложил палец к губам.

На последней секунде рекламы шаман пробудился от фальшивого сна, поднял к экрану пульт и приглушил звук. Затем с кряхтением повернулся к гостям.

– А, это ты, Жан-Поль.

– Я, дедушка Алыгджан.

– Кого ты привел с собой? Мои глаза стали плохо видеть этот мир.

– Это Белая Береза и с ней чужой приезжий человек. Он говорит, что хочет найти в горах Белого Старца. Он думает, что ты поможешь ему.

– Он так думает? – переспросил шаман. – Это очень странно. Почему он так думает?

– Уважаемый дедушка, – Федор решил проявить инициативу, чтобы ускорить процесс переговоров, – беря во внимание ваш преклонный возраст, я уверен, что вы не могли не слышать о горе Белого Старца. Именно о ней я и хотел бы узнать от вас.

– О горе Белого Старца? – Шаман сморщил желтое лицо, дубленое ветром и солнцем, поднял бубен и тихо ударил – звук все равно получился мощным, остро пронзившим пространство юрты. – Ни один белый человек еще не спрашивал меня о горе Белого Старца. Но моего отца, великого шамана Ундагатуйя, тоже спрашивал об этой горе белый человек. Это было очень давно. Мой отец рассказал ему, но духи наказали его за это. Люди, которые были с тем человеком, убили его жену, мою приемную мать. Я видел это своими глазами. Кого убьешь ты, когда я расскажу тебе?

Федору захотелось дать честное слово, что никого убивать не будет. Но тут ему вспомнилась ночь в горах, когда он рассматривал в свете факела труп на дне расселины, и давать зарок он не решился. Однако следом за этим его посетила счастливая мысль.

– Я знаю, о чем идет речь, – сказал он. – Знаю все, что произошло тогда. Великий шаман Ундагатуйя призывал духов, чтобы они исцелили больного. Но во время камлания умер один из тех, кто пришел вместе с белым человеком. Поэтому случилось то, что случилось.

– Твой голос молод, – на лице шамана проступил ужас, – ты не мог видеть этого своими глазами, как я. Ты умеешь смотреть сквозь время?

Федор усмехнулся.

– Это моя профессия.

– Ты великий белый шаман?

– Что-то вроде, – уклончиво ответил Федор. – Я даже могу описать, как выглядел тот белый человек. У него на голове был большой шрам, вот здесь.

Он провел пальцем над правым ухом.

– Тебя послали духи, – глухим голосом проговорил шаман, – и я должен рассказать тебе все, что ты захочешь.

– Приблизительно так, – подтвердил Федор и подумал, что несколько не соврал.

– Дедушка Алыгджан, а мне ты никогда не рассказывал про то время, – обиженно встрял Жанпо.

– Твоей непутевой голове это не нужно, Жан-Поль. Что тебе рассказывать? Сперва сатана-антихрист Бергай пришел, потом сатана-антихрист Шергай пришел. Потом снова Бергай, все хозяйство у нас отбирал, мало оставлял. От него сюда бежали, на ровную землю.

– Сатана-антихрист? – удивился Федор. – Странная лексика для шамана.

– Жанпо увлекается чтением Апокалипсиса, – пояснила Аглая. – А дедушка иронизирует.

– Что ты хочешь знать? – спросил шаман у Федора.

– Как найти гору Белого Старца.

Шаман думал так долго словно решил на всякий случай посоветоваться с духами и внимал их нашептываниям.

– Сам я никогда не ходил туда, – прокрихтел он наконец. – Великий шаман Ундагатуй говорил, что человеку не нужно ходить к горе Белого Старца. Ее охраняет дух гор. Но тебя тоже послали духи. Не хочу спрашивать, зачем тебе туда идти. Гора Белого Старца очень высокая, выше всех других, ее сразу видно. До Большого Ильдугема дойдешь, оттуда встречь солнцу два дня, если не жалко ног. От Сартынги начнутся красные горы, там ищи.

Шаман пошарил вокруг себя, нашел выпавший из руки пульт.

– Больше мне нечего тебе сказать. Я хочу остаться один. Жан-Поль, напомни мне, на какой кнопке идет тот сериал, который я всегда смотрю.

– На второй, дедушка Алыгджан.

Выйдя из юрты, Федор поделился впечатлением:

– Не хочу никого расстраивать, но дедушка, по-моему, пребывает в маразме. Хотя географические ориентиры в целом совпадают.

– Дедушка очень старый и мудрый, – согласился Жанпо. – В телевизоре очень сильные шаманы и очень хитрые, им служат много духов, сильных и злых. Но дедушка не даст им себя перехитрить.

– Так, – Федор потерял терпение, – я не понял, о чем этот парень все время толкует.

– Но это же так просто, – с улыбкой заметила Аглая. – Взять, к примеру, рекламу...

– Рекламные духи очень пронырливые, – сказал Жанпо, – они пролезают даже через охранные заклинания. Это низшие духи, они вцепляются в человека и топчутся у него в голове. Но их можно обмануть – сделать вид, будто спишь, тогда они не влезут в голову. А в сериалах живут другие духи, они высасывают жизнь из тех, кто их смотрит.

– Новейшая демонология, – констатировал Федор, вспомнил про бешеных ведущих ток-шоу и подумал, что и сам всегда был не чужд подобному толкованию. – Если следовать данной концепции, ток-шоу – это камлание?

– Это плохое камлание. Оно впускает духов в мир людей, а это очень плохо, опасно, нельзя это делать. Духи должны оставаться в своих мирах. Мир людей для них слишком мал, они разорвут его. Настоящий шаман призывает духов только на время, чтобы они что-нибудь сделали и ушли обратно к себе.

– Ну а ты почему в шаманы не пошел, Бельмондо? – строго спросил Федор. – Семейную традицию порушил.

– Шаманство – дремучее язычество, – гордо ответил Бельмондо. – Шаман с духами разговаривает, а они с неба свалились. Я пойду, Белая Береза, у меня еще дела.

– Пока, Жанпо.

– Твоя работа? – Федор повернулся к Аглае. – Стефан Пермский, просветитель диких зырян.

– Ну, раз уж ты сам об этом заговорил, давай серьезно.

– Вижу, начало ничего хорошего не предвещает, – вздохнул Федор.

– Я всего лишь хочу предупредить. Алтайцы – дети гор, они сжились со своими духами

и умеют с ними договариваться. Но с другими в горах часто случается... всякое.

– Что такое – всякое?

– Сам увидишь. Обязательно что-нибудь попадетя по пути. А может, уже попадалось?

Федор предпочел не ответить.

– Я просто советую тебе креститься, – сказала Аглая. – В горы лучше идти без долгов на душе.

– Убежал я от своих долгов, – вяло признался Федор.

– Ты убежал, а они за тобой хвостом прибежали. Они за всеми бегают. От них и на край света не уйдешь.

Федору была слишком неприятна эта тема, изгнавшая его из Москвы, поэтому он предложил другое развитие беседы:

– Если уж все так серьезно, надо по крайней мере устроить испытание вер, как князь Владимир. Чин по чину. Почему христианство, а не, к примеру, буддизм?

– Да все просто. Не только вера дает силу народу, народ тоже дает силу своей вере. А русские очень крепкий и сильный народ.

– Летать рожденный не будет ползать, – согласился Федор.

– Но сейчас русским нужно много силы, чтобы выжить. Слабых всегда пытаются добить. А где ее взять? Да там же, где и раньше.

– Может, хоть для порядку в мечеть к братьям-мусульманам наведаться? – торговался Федор.

– А чего туда наведываться, – пожала плечами Аглая. – Если бы князь Владимир принял ислам, мы бы с тобой сейчас жили в разных государствах, наверняка не соседних, и говорили бы на разных языках. Может, и взрывали бы друг друга.

– Да, трудное положение. Но ничего, и не такие передраги бывали, – бодро заверил Федор.

Аглая внимательно посмотрела на него, не останавливаясь, и тут же отвернулась, опустила голову.

– Эй, – позвал Федор, – так ты со мной?

– Конечно, с тобой. Один заблудишься, – насмешливо ответила она, блеснув в его сторону глазами.

Наутро Федора разбудило конское ржание у окна. Разлепив веки, он увидел рыжую лошадиную морду, просунувшуюся в открытую форточку и жующую листья домашнего вьюнка. В испуге Федор попытался набросить на нее одеяло, но промахнулся и повалил с подоконника цветочные горшки. Лошадь закивала головой, разразилась недовольным ржанием.

– А ну не ори тут! – погрозил ей Федор, в спешке натягивая брюки.

Дверь в комнату распахнулась, на пороге возник дед Филимон, из-за него выглядывала Аглая.

– Чего буянишь-то? – поинтересовался дед.

Федор, вдруг засмущавшись, торопливо надел рубашку, застегнулся.

– А вы-то чего? Врываетесь... Лошади какие-то... – Он оглянулся на окно, но наглой морды уже не было.

– Ты ж в поход собрался, – ответил дед, – а все дрыхнешь. Вон, Аглайка прискакала.

Федор посмотрел на часы – они показывали половину пятого.

– Да, – медленно сказал он и потер висок, – если девушке приспичивает в полпятого

утра идти со мной в поход, это что-нибудь да значит.

Аглая громко и выразительно фыркнула.

– В горах нет уличных фонарей, надо пользоваться солнечным светом. А солнце давно в небе.

– Чья это лошадь? – В мысли Федора закралось не очень приятное подозрение.

– На ближайшее время – твоя.

– Ох, нет, – простонал он.

– Да, – улыбнулась Аглая. – Готовь свое седло к долгому массажу.

Федор на мгновение одеревенел от изумления.

– Где ты набралась этого вульгарного цинизма?

– Ты просто плохо меня знаешь, – ответила она, исчезая. – Даю тебе на сборы пятнадцать минут.

– Во так вот, – сказал дед, двинув головой. – Понял, Федька?

– Тоже мне, командирша нашлась, – крикнул Федор в окно.

– И штаны застегни, – сурово добавил дед. – А девку мне чтоб не обижал.

Суетливым движением Федор подтянул молнию на брюках.

– Обидишь ее, как же, – пробормотал он.

...Пять часов спустя позади осталось горное ущелье с ручьем, по которому перешли на другую сторону Курайского хребта. Федор взмолился:

– Все. Перерыв на обед.

– Натрудил мозоль?

– Целых две.

– Говорила же тебе, сиди ровно и держись ногами. А ты прыгаешь на лошади, как бурдюк.

– Да лучше сидеть на электрическом стуле, чем на этой скотине, – вспыхнул Федор.

Аглая подъехала ближе и вдруг хлестнула сорванной веткой по крупу его лошади.

– Догоняй!

Она понеслась галопом. Кобыла Федора, резко сменив скорость с первой на третью, поскакала следом, отставая на полкорпуса.

– Ты что делаешь?! Я же упаду! – завопил Федор, прижимаясь к холке лошади.

– А как еще быстро научить тебя держаться в седле? – крикнула Аглая и направила своего чалого жеребца наискосок через мелководную речку. В фарватере поднятых брызг вздымала воду и его каурая кобылка.

Федор, крепко облепив лошадь руками и ногами, отдался на волю судьбы.

Когда он почувствовал, что кобыла пошла медленнее и тяжелее, вокруг был лиственный перелесок, покрывающий горный склон. Узкая дорога забирала вверх и терялась в свирястящих зеленых дебрях.

– Сколько это мы отмахали? – спросил он удивленно.

– Километров восемь. Хочешь передохнуть?

Федор распрямил спину, проверил свои ощущения и с содроганием ответил:

– Я не смогу с нее слезть. Кажется, я прирос к этой скотине. Даже страшно подумать, что ждет меня на земле.

– Вот и хорошо. Едем дальше.

– Дорогая моя Аглая, – с мукой в голосе произнес Федор, – тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты изверг? Извергиня.

– Первый раз слышу.

Федор стоически превозмогал себя еще пару часов, периодически принимаясь разминать затекшие плечи и седалище: крутил поочередно руками и пытался вставать в стременах.

– Что ты делаешь? – спросила Аглая, наблюдая за его телодвижениями.

– Даю роздых мозолям, – ворчливо ответил Федор.

За эти два часа вокруг сменялись разнообразные картины: сосновые боры, светлые кедровые редколесья, ковыльные степи, кормящиеся стада овец и дремлющие возле них пастухи, альпийское разноцветье, гудящее шмелями и завораживающее красками. В конце концов Федора начало клонить в сон. Он уткнулся лицом в гриву кобылы и вдруг осознал, что сидит в густой лесной траве, прислонившись к стволу дерева, а нос ему щекочут мелкие листья соседнего кустарника. Лошади паслись неподалеку, Аглая раскладывала на земле самобранку.

– Как это я? – встряхнулся Федор и тут же пожалел, что сделал это. Все тело, до самой мелкой косточки, ныло и жаловалось, не желая больше совершать какие-либо движения. Да и без движений все мышцы пели на разные лады, выводя грустную, очень несчастную мелодию боли.

– Лошадям тоже нужен отдых, – флегматично объяснила Аглая.

– А-а, – сказал Федор и подумал, что нужно бы оскорбиться, но не стал – не было сил.

Он принялся молча насыщаться. Не хотелось тратить усилия на разговор, и вскоре Федор обнаружил, что ни ему, ни Аглае затянувшееся молчание не в тягость.

– Хорошо, когда людям есть о чем молчать, – заметил он, жмурясь на пробившееся сквозь сосновые лапы солнце. – Между прочим, это важный показатель психологической совместимости.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Просто хочу, чтобы ты имела это в виду.

– С тех пор как ты приехал сюда, это первый раз, когда тебе лень изображать болтуна, – сказала Аглая.

– Непринужденная светская болтовня тоже, знаешь ли, большое искусство, – раздраженно ответил Федор. – И потом, почему ты все время мне перечишь? Самоутверждаешься за мой счет? В конце концов знай свое место, женщина.

В глазах Аглаи появилось удивление.

– Прости, – кротко и как-то по-детски попросила она. – Я больше не буду.

– Не будешь перечить мне? – не поверил Федор.

– Не буду.

– И я могу болтать, о чем мне вздумается?

– Да.

– И ты никогда не будешь пытаться оспорить мои... слова?

– Да, – с запинкой произнесла она.

– И... мои действия? – Федор понимал, что его заносит, но не мог остановиться, испытывая границы дозволенного. В конце концов не он пригласил ее на прогулку в горы, где на много километров вокруг одни елки-палки и где не властен голос разума – здесь живут только инстинкты.

Аглая пожала печами и отвернулась лицом в сторону.

– Как хочешь.

Федор считал это необыкновенным подарком и от волнения даже не стал задумываться о причинах подобной щедрости. Но немедленно освободить подарок от упаковки ему было не под силу, – каурая кобылка на неопределенное время превратила его в чистого платоника, вынужденного лишь любоваться видами.

Ничего не сказав, в несколько приемов он поднял свое брненное тело с земли и, чувствуя себя переполненным во всех смыслах, медленно пошел в глубь леса. В нескольких метрах от него по веткам скакала темно-серая белка, во рту она держала шишку. Федору вдруг с пронзительностью подумалось, что скоро зима, когда всякая тварь сидит по берлогам и приживает детенышей. В горах заметно было увядание – жухла трава, в лесной зелени, среди берез-вековух с мозолями древесных грибов на стволах проглядывали рыжие пятна осени. И ему тоже остро захотелось иметь собственную берлогу, приживать в ней детенышей и, ни о чем не тревожась, смотреть из окна на метельные снегопады.

На обратном пути, недалеко от поляны, где Аглая возилась с поклажей, он остановился. В траве между кустами бересклета белела голая человеческая нога. Оглянувшись по сторонам, Федор подошел ближе и осторожно отвел ветки. На земле лежал мертвец, полностью обнаженный и местами поеденный. От его вида внутри Федора взбунтовался съеденный обед, и многих трудов стоило усмирить его с помощью дыхательной гимнастики.

Звуки этой борьбы привлекли внимание Аглаи.

– Стой, – страшным голосом крикнул он ей, – не подходи.

Но она уже подошла и увидела ногу.

– Лучше не смотри, – честно предупредил он.

Аглая подняла ветки кустов и надолго замерла. Федор заглянул ей через плечо.

У мертвеца отсутствовала одна нога и рука – казалось, их выдернуло из тела какой-то невероятной силой. Лицо сохранилось, но глазницы были пусты.

– Это же... – Федор прикусил язык.

Аглая быстро обернулась к нему.

– Ты его знаешь?

Не выдержав ее взгляда, Федор виновато отвернулся.

– Его Толиком звали... Мы поехали в горы вчетвером. Он пропал первой же ночью.

Аглая молчала и не сводила с него глаз.

– Ну что ты буравишь меня! – взорвался Федор. – Искали мы его. Не нашли. Как сквозь воду. Так и подумали – в реке утонул. И второго тоже... – Он осекся.

– Что тоже?

– Медведь заломал, – сдался Федор. Голос его разом поблек, стал пустым и невыразительным. – Страшенный медведь.

– А вас не тронул? – пыталась Аглая.

– Нет, ушел.

Аглая в задумчивости отошла от кустов, скрывавших мертвеца.

– Это она.

– Кто? – растерянно спросил Федор.

– Она, – повторила Аглая.

Федор передернул плечами и решил замять тему:

– Думаешь, надо милицию?

– Не надо. Только хуже будет.

Аглая стала собирать сухие палые ветки и прочую земляную ветошь, забрасывая ими

труп. Федор обломал соседние кусты и укрыл мертвеца зеленым саваном. Постояв немного возле импровизированного кургана, Аглая сказала:

– Идем отсюда.

Федор покачал головой.

– Бред какой-то.

Аглая отвязала лошадей, взнуздала и вывела на лесную тропку, протоптанную не то охотниками, не то лосями. Федор, забыв о том, что каждая его клеточка тянет жалобную ноту, скрепя сердце, оседлал рыжую кобылку. Аглая по-ковбойски взлетела в седло и пустила жеребца вскачь.

К вечеру следующего дня они добрались до Верхнего Ильдугема. Река к концу лета обмелела, лошади без труда перешли ее по каменистому дну, намочив ноги седоков и лишь изредка пускаясь вплавь. Федор начинал привыкаться с верховой жизнью и с мыслью, что это не худший способ передвижения. Он даже пытался немного джигитовать для развлечения. Аглая скептически взирала на эту сомнительную акробатику и просила не мучить напрасно лошадь. По временам на Федора нападала задумчивость, он отпускал поводья, предоставляя смиренной кобыле самой передвигать копыта в нужном направлении, и рассеянно оглядывал горные зубцы, вонзающиеся в небеса. В такие моменты ему становилось неуютно и хотелось без оглядки скакать назад.

– Куда влечет меня судьба? – задался он вопросом.

Его лошадь не знала ответа и прянула ушами, пренебрежительно отмахнувшись от несъедобной риторики.

– Никуда, – отозвалась Аглая. – Она просто пытается тебя догнать.

– Что, снова самобытная сельская философия? – попытался отшутиться Федор.

– Ну если самобытная городская не может ответить ни на один вопрос, – парировала Аглая.

Он испустил долгий выдох.

– Догнать, говоришь? И перегнать?

– Твои долги – твоя судьба. Они за тобой, и она с ними. Когда она догоняет – ты видел, что бывает.

– Не понял. Поясни.

– Тот мертвец под кустом.

– Снова не понял, – набычился Федор.

– Оглянись... Вон там, где ельник у ручья.

Он нашел глазами ели, густо облепившие скалистый пригорок. На фоне темной хвойной зелени не сразу, но угадывались бурые очертания знакомой фигуры в плаще с капюшоном. Он быстро отвернулся и в легкой панике спросил:

– Да что ж ей нужно от меня?

– Тебя ведет то, чего она боится. Ей это не нравится.

Федор ударил пятками в бока лошади, гикнул и понесся вперед, навстречу выползающему из ущелья облаку.

Вечером, помешивая в котелке суп, Аглая сказала:

– Завтра дойдем до Сартынги. Оттуда, наверное, уже недалеко.

Федор лежал на спальнике у костра и считал звезды. В горах они были ближе и казались размером с мелкие яблоки. От котелка распространялся деликатесный запах: Аглая не признавала супы-концентраты, которыми запасся Федор, и творила кулинарные изыски из

того, что росло под ногами. Находила корешки, травы, кромсала мясистые стебли и листья, добавляла тушенку и заправляла молитвой. На вкус было непривычно, но после первой же порции Федор понял, что никакие французские повара не смогут затмить Аглаино искусство супа-из-ничего.

Вечер был уютный и безмятежный, дым от костра поднимался тонкой белесой жердиной. Федор отвлекся от звезд, будто с намеком подмигивающих, и посмотрел на Аглаю. Она стояла на коленках, склонясь над котелком. На ней были кожаные брюки и короткая куртка мехом наружу, которая напомнила Федору его недавние мысли о теплой, тесной берлоге, где так хорошо тереться бок о бок...

Он неслышно встал и подобрался к ней сзади, опустил на колени, положил руки ей на плечи. Подождал немного, боясь шевельнуться. Ничего не произошло. Его не шарахнуло невидимой дубиной и не ослепило молнией. Аглая отключила свою «боксерскую защиту» и ждала продолжения. Федор едва не потерял рассудок от такого развития событий. Поцеловав ее в волосы на затылке и прижав к себе, он превратился в желание, очень горячее и остро заточенное.

Аглая, извернувшись, вlepила ему кулаком по скуле, стремительно отскочила. Федор пошатнулся, схватился за щеку. Желание разочарованно съезжилось.

– Что это было? – спросил он ошарашенно.

– Пощечина, – взволнованно ответила она.

– Да? Мне показалось, это был хук справа.

Федор медленно растирал скулу.

– Прости, не рассчитала.

– Но почему?! – возопил он. – Зачем ты сказала вчера, что не будешь возражать против моих действий?

– Я не имела в виду это. Ты мне не муж.

Федор остолбенел.

– Ты... ты что... еще ни с кем?..

Аглая фыркнула и принялась помешивать суп.

– Только дуры торопятся сесть на кол.

– Ну, это же... – Федор пытался подобрать слова, которые были бы удобоваримы для нее. – Это слегка старомодный взгляд на вещи.

– Старые моды всегда возвращаются.

Федор не хотел верить ей и искал способ уличить.

– В таком случае, зачем ты пошла со мной в эти дикие горы? Разве это прилично для порядочной девушки? Одна, с мужчиной, какой кошмар! – Он зло изобразил женское истерическое кудахтанье.

– У меня нет таких подруг, которым нравилось бы обсуждать мою репутацию, – мирно ответила Аглая. – А тетке я сказала, что иду по маршруту с туристами.

Ее спокойствие передалось Федору. Он взял себя в руки и уже без всякого подтекста спросил:

– И все-таки, почему ты здесь?

Этот вопрос застал ее врасплох, или же она сама не знала ответ на него и придумывала на ходу.

– Почему? Потому что эта история не только твоя, но и моя. Там, в девятнадцатом году, осталось что-то недосказанное, незавершенное. И нам – тебе, мне – нужно это досказать,

поставить точку... или точку с запятой. А может, восклицательный знак. Да и вся та война была одной большой недосказанностью. Одним на всех многоточием. Не знаю, как ты, а я это просто чувствую. Не могу жить с этой незавершенностью.

– Я тоже, – пробормотал Федор, ощущая себя умственно неполноценным. – Я тоже не люблю недосказанностей... Хотя мы говорим немного о разном.

Потирая горящую скулу, он подумал, что незавершенность в отношениях между мужчиной и женщиной может быть намного невыносимее всего остального. Особенно если прежде, в другой жизни, завершенность подразумевалась в самом начале отношений и не было никаких недомолвок, все происходило легко и необременительно. А здесь не только другая жизнь, но и как будто другой мир. Самым странным было то, что Федор не мог решить, лучше он или хуже, стоит ли научиться понимать его или нет.

...Сартынга бежала шумным потоком, стиснутым высокими скалистыми берегами, редко поросшими лиственницей. Красноватого цвета река спускалась с гор далеко впереди и катила навстречу путникам вдоль хребта. Красно-кирпичным оттенком щеголяли и скалы, обнаженные горные породы ниже границы снегов заливались на солнце легким румянцем.

– Киноварь, – объяснила Аглая. – Ртутная руда. Здесь ее много.

– Эти горы просто напичканы символизмом хаотического, революционного, – сказал Федор. – Представляю, какие занимательные мысли могли возникнуть у полковника Шергина, когда он шел в Беловодье через красные горы.

– Хаотического? – удивленно переспросила Аглая. – Никогда бы не подумала.

– Горы сами по себе – взбунтовавшийся хаос земли.

– Нет. Горы – это молитва земли к небу, – возразила она. – Кого горы манят на самый верх, тот слышит эту молитву и присоединяет к ней свою. Каждым своим шагом к вершине он молится о том, чтобы выдержать испытание. Чтобы не оказаться недостойным той чистоты, которая там.

Аглая показала рукой на снежные зубцы гор.

– Однако я уже чувствую себя недостойным, – удрученно сказал Федор. – После такого вступления ничего другого не остается.

– Ничего другого и не нужно. Если ты будешь чувствовать себя достойным, то никогда не поднимешься туда... Тебе известно, как выглядит та гора?

– Думаю, смогу узнать. Прапорщик Чернов довольно живо описал ее.

– На что она похожа?

Федор помедлил мгновение.

– На коронационные торжества Российской империи.

Но когда он увидел ее, то не сразу смог догадаться, что это она. В лучах падающего вечернего солнца гора полыхнула ярко-красным цветом, а снега на макушке заиграли розовым и бирюзовым. Ближе и дальше нее вершины горбились, уступая в росте, и казались блеклыми отражениями. Федор утомленно скользнул по ней взглядом и снова погрузился в свои мысли. Гора тем временем, пока сходило солнце, закуталась в пурпурно-лиловую мантию, расшитую серебром.

– Смотри, какая красота, – позвала Аглая.

Федор рассеянно покивал и предложил устраиваться на ночевку. Гора впереди взбила вокруг себя перину облаков и медленно скрылась из глаз. Ночью над ней висел круглый белый месяц, а Федору не спалось – мерещились движущиеся тени, шепот и тревожное шелканье, похожее на резкие звуки бича.

На рассвете он вылез из спальника, обошел кругом место ночлега, ничего не обнаружил. Затем разжег костер, чтобы согреться, сел и посмотрел на горы.

Теперь он узнал ее, будто с глаз упала пелена. В свежести раннего утра гора сияла белоголубым сверху и изумрудным ниже. Федор окликнул Аглаю. Он позвал ее тихо, но она услышала и проснулась.

– Вот она – Царь-гора, – сказал он.

Какое-то время они смотрели молча, затем Аглая промолвила:

– Там живет Белый Старец.

– Он сидит у входа в свою пещеру под толстым и старым деревом, – добавил Федор, – и время от времени прикасается к своему посоху, чтобы продлить себе жизнь.

– Но не исключено, что этот седой реликт давно окаменел, – добавил он через минуту.

– Нет, – покачала головой Аглая. – Я слышала ночью шепот.

– Я тоже слышал. Думаешь, Белый Старец развешивал вокруг нас свои чародейские наговоры?

– Все не думаю так, – нахмурилась Аглая. – Это духи гор. Им не нравится, что мы здесь. Они не хотят пускать нас дальше. Не хотят, чтобы мы увидели Белого Старца. Значит, он там.

– Прелестный силлогизм, – со вздохом произнес Федор, поднимаясь. – Нам надо идти. Если они встретятся нам по дороге, можешь не бояться – я поговорю с ними, и они поймут всю глупость своего поведения.

– Ты совсем не изменился, – с легким недоумением сказала она.

– С тех пор как мы ушли в горы? – уточнил Федор.

– С тех пор как приезжал сюда пятнадцать лет назад. Не сомневаюсь, что если ты сейчас увидишь горелую березу, ринешься к ней, как тогда.

– Это похвала или наоборот?

– Ни то, ни другое. – Аглая встала и звонко добавила: – Но если что-нибудь в этом роде нам встретится по дороге, можешь не бояться. Пока я с тобой, ты в безопасности.

Федор рассмеялся.

– Иными словами, мы два сапога пара. Ну так вперед, дружище-сапог.

Однако помех на пути не встретилось. Очевидно, духи шарахались от них, освобождая дорогу. Далеко за полдень гора нависла над ними, как Гулливер над лилипутами. Понизу ее опоясывали листовничные перелески, между которыми попадались светлые березовые рощицы, похожие на девичий хоровод. Аглае рощицы очень понравились. Она спешила и ласково обнимала тонкие белые стволы, гладила их, прижималась лицом, что-то тихо говорила и загадочно улыбалась.

– Нашла родственные души, Белая Береза? – ревниво спросил Федор, не выдержав соблазнительного зрелища.

– Нашла. Разве ты не видишь?

– Чего я не вижу? – проворчал Федор. – Я все хорошо вижу. Прекрати наконец миловаться с этими деревьяшками. Для таких дел и я вполне сгожусь.

– Этим березам не больше десяти-пятнадцати лет, – счастливым голосом сказала Аглая, будто не слыша его.

– Это не причина, чтобы сходить с ума. – Федор задумался. – Что ты хотела этим сказать?

– Помнишь, я говорила, что в наших краях перестала расти береза?

– Ботанический курьез. Не стоит принимать так близко к сердцу.

– Курьез – то, что говоришь ты. Эти березы... это... как если бы... – Она не могла найти слов.

– Я примерно понял, – помог ей Федор. – Это как если бы ты сейчас сказала мне «да» и так же ласково прижалась лицом к моему плечу. Верно?

– Приблизительно, – слегка кивнула она. – Зачем ты притворяешься, если все понимаешь? Зачем таскаешь за собой всюду своего черного человека?..

– Я хочу затащить его на гору и сбросить в пропасть, – то ли пошутил, то ли серьезно сказал Федор.

Задолго до сумерек они оставили лес внизу. Дальше вверх поднимались неровные увядающие луга. Красные скалы вспарывали их, вылезая из земли наружу, и чем выше, тем больше пространства отвоевывали. Федора посетила меланхолическая печаль, которая наложила на его лицо резкие складки тени и сделала похожим на высеченное из камня. Он ощущал, что внутри него что-то происходит, что-то затвердевает, принимая некую форму с царапающими острыми углами. Будто кто-то водрузил там большую гранитную глыбу, и нужно приниматься за работу, стесывая с нее все лишнее, чтобы в конце концов получилось нечто скульптурно-изящное. Но при всем том Федора не покидало чувство, что замысел этой скульптуры принадлежит кому-то другому, а ему остается до поры неизвестен.

Глядя, как к небу улетают искры костра, он сообщил:

– Дальше я пойду один.

Аглая промолчала.

– Не спорь со мной, – сказал Федор.

– Я и не спорю.

– Я вижу, что споришь.

– И не думала. Кто-то должен остаться с лошадьми.

– Да, – чуть погодя произнес Федор, – об этом я не подумал.

– А о чем ты подумал?

– Что здесь безопасней. Я не могу взять тебя туда.

Аглая посмотрела на вершину горы, загораживавшую половину темно-синей портьеры неба с лучащимися прорехами звезд.

– Безопасней там, – ответила она так тихо, что Федор не расслышал.

– Господин полковник!

В избу вбежал прапорщик Митя Овцын, пунцовый от волнения и возмущения.

– Ну что там за возня опять? – морщась, спросил Шергин и подлил кипяток в дощатую бадью, где парил ноги.

– Кержаки новость выдумали, – пылко доложил Овцын, – собрали всех баб и девок – тайком хотели увести в горы. Сия провокация была раскрыта поручиком Недеевым и решительным образом пресечена.

...В горной долине, затаившейся посреди Курайского хребта, отряд набрел на раскольничье поселение. Для кержаков это явилось громом небесным – судя по виду их одежды и прочего, они жили здесь, таясь от мира, с позапрошлого столетия и, верно, предполагали вековать в неизвестности до второго пришествия. На чужаков длиннобородые мужики, остриженные в кружок, смотрели по-волчьи, бабы натягивали платки на глаза, сурово поджимали рты и прятали в избах посуду, завешивали киоты тряпьем, сами стражей вставали на порогах домов, сложивши на животе руки. Гостеприимства ждать было нечего, и солдаты принялись хозяйствовать по-походному: раскладывали костры, доставали котелки. Офицеры, кому охота было сдвигать с места неприступных баб и терпеть брезгливость в их взорах, заняли избы, остальные плюнули и организовали собственную походную кухню. Шергин отвоевал свою штабную избу без труда – поглядел в глаза раскольной женке, молча отстранил ослабевшую разом бабу, а мужа ее спросил:

– Что в России делается, слыхали?

– Живем тихо, – угрюмо ответил тот, – откеда нам слыхать. А что антихрист куражится, и без того ведомо.

– Антихрист, говоришь? – тяжело молвил Шергин. – Да он и здесь уже. Отсидеться в тиши хотите?.. – Он покачал головой. – Не выйдет.

Баба испуганно прикрыла рот рукой.

Через час к Шергину явился ротмистр Плеснев, от него пахло водкой, запасенной в Айле. Он был красен и воинствен: без предисловий предложил провести мобилизацию среди кержаков и ждал немедленного согласия полковника.

Но тот раздумывал.

– В армию раскольников не забривали.

Ротмистр выкатил глаза и выдохнул:

– Так пускай хоть теперь послужат отечеству, мужичье непоротое. Пошлину веками в казну не платили, чего ж с ними нынче церемонии разводить...

– Делайте как хотите. – Шергин утомленно махнул рукой, отсылая Плеснева прочь. – Только не очень там.

Зная нрав ротмистра, он ждал воплей с улицы, навязчивого шума и бабьего переполоха. Но ничего этого не было. В пустой избе, не богатой имуществом, однако чисто прибранной, медленно текло время и тихо скреблась под полом мышь. Хозяева избы убралась к соседям. Васька пропадал, затем явился, узнал, не надо ль чего. Шергин прогнал и его. Нестерпимо болела голова, он пытался освободить ее от лишних, похожих на гири, мыслей, но не мог ни поднять их, ни выбросить. Близость монгольской границы действовала на мысли таким образом, что они становились все более необъятными, тяжеловесными и к тому же

раздваивающимися, как недавно родившийся где-то двухголовый младенец.

Часам к шести Шергин не стерпел обманчивого спокойствия за окном и вышел на крыльцо, кликнул проходившего солдата, спросил, где ротмистр Плеснев. Солдат почесал лоб под шапкой.

– С доктором, кажись, был. Новеньких ему сдавал.

Шергин отправился разыскивать доктора. Долго ходить не пришлось: доктор открыл медицинский кабинет под открытым небом. Стулом ему служил чурбан для рубки дров, а стола не требовалось – записей и историй болезней доктор не вел.

Перед ним переминались с ноги на ногу и мерзли на ветру четверо молодых кержаков, раздетых до подштанников. Еще двое уже были признаны годными.

– Повернись, – велел доктор следующему, – вытяни руки. Подойди ближе и спусти штаны.

Парень заупрямился, и в ребра ему уперся солдатский штык. Опустив голову, он подчинился.

– Годен, – сказал доктор. – Следующий.

Шергин дождался конца осмотра. Когда шестерых новобранцев увели, он недовольно спросил:

– Что за комедию вы устроили, доктор?

– Я всего лишь выполняю свои обязанности, – невозмутимо ответил тот. – Мобилизованные должны быть освидетельствованы.

– Напомните мне, когда вы в последний раз выполняли эту свою обязанность?

– Однако...

– Правильно, никогда. Не до этого теперь. Так, какая же шлея попала вам под хвост сейчас?

– Я должен был проверить, нет ли у них венерических болезней.

– Они здесь изолированы от всего мира, доктор.

– Опыт показывает, что в изолированных обществах эти болезни поражают все население, если их занесет кто-то один. А что из деревни наведываются в обжитые места, у меня не вызывает сомнений.

– Поясните.

– Я заметил у них инструменты фабричного производства. И одежда большей частью не из домотканого холста.

– Браво, доктор, – с легким удивлением сказал Шергин.

– Простите, господин полковник, я вам больше не нужен?

Лунев дернул бровью и потянулся рукой в карман шинели. Выражение его бледного лица сделалось расслабленным и одновременно застывшим. Не дожидаясь ответа, он скрылся в упавших сумерках, еще более густых оттого, что огонь сгонял тени в пространство между кострами.

Надышавшись воздухом, Шергин вернулся в избу, крикнул Ваську и потребовал горячей воды. Через час в дом ворвался прапорщик Овцын и испортил блаженство отпаривания заскорузлых мозолей.

– Ротмистр Плеснев определил зачинщиков сей провокации числом пять и распорядился пороть, а женский пол отправить по домам. – Он поморгал от волнения, набрал воздуха в грудь и обиженно выдохнул: – Да за кого они нас принимают!.. За разбойников... башибузуков?! Это вовсе нестерпимо!

– Успокойтесь, Митя, – проговорил Шергин, вытирая ногу. – Не рвите себе душу.

Скажите лучше, что за моча ударила в голову ротмистру Плесневу?

– Этого я не знаю, – на мгновение сконфузился прапорщик. – Но могу предполагать.

Ротмистру ударила в голову успешно проведенная мобилизация среди местного населения.

– Ну и как же он ее проводил? – поинтересовался Шергин.

Тут Митя Овцын замялся.

– Об этом, господин полковник, вам лучше спросить у самого ротмистра Плеснева.

– Черти, – пробормотал Шергин, натягивая сапоги.

По пути им встретилась пара ковыляющих мужиков, виснувших на бабьих плечах. Порка завершилась, солдатская масса гудела одобрением, хохотом и бранью в адрес раскольников. Со стороны прилетел женский взвизг, отчего хохот усилился. Шергин молча расталкивал загораживавших дорогу солдат. Митя Овцын где-то потерялся.

Возле одного из костров показался ротмистр. У него было багровое в отблесках огня лицо и опасно веселые глаза.

– А-а, господин полковник, – развязно крикнул он, – просим к нашему шалашу. Отведайте блюдо под названием «седло поротого сектанта».

Он протянул Шергину шашку с нанизанным куском поджаренного мяса.

– Встаньте, ротмистр, и благоволите пойти со мной. Я хочу задать вам пару вопросов.

– Вам пожаловались эти деревенские свиньи, – предположил Плеснев, когда они отошли в сторону, где было свободней и темнее. Он говорил громко и с вызовом.

– Не угадали.

– Не угадал? – разочарованно переспросил ротмистр. – А-а, вы хотите знать, как прошла мобилизация этих сволочей.

– Можно и так сказать. Только говорите тише, я не глухой.

– Отдаю должное нашему доктору, хоть и мерзавец каких мало. Без его совета мы бы этих столбоверов упрямых до смерти заporоли, а ничего не вышло б. Не желают они воевать за веру и отечество, хоть тресни. Ну да, у них же и вера другая и отечества никакого... как такового. – Ротмистр всхотнул.

– Что посоветовал доктор? – спросил Шергин.

– Доктор сказал умную вещь. Сказал во всеуслышание: велите солдатам употребить их баб и девок. Это для них, говорит, хуже смерти. Замирщение, порча от мира. Все свое, чего другие касаются, они-де выкидывают. А тут бы всех баб выкинуть пришлось.

Ротмистр зашелся в хриплом хохоте.

– А с медицинской, говорит, точки, – выдавил он сквозь надсадный смех, – прямая польза – чтоб не вырождались, свежую кровь им...

– Вы с ума сошли, – изумленно произнес Шергин.

– Нет, почему же. До дела хоть не дошло, а подействовало сразу. Как услышали, что доктор предлагает, тут же смирение явили, чуть не сами в роты попросились. А доктор-то, доктор, – ротмистра вновь развезло хохотом, – можно, говорит, еще молельню их спалить, все равно сектанты.

Он оборвал смех и сделался мрачным. Покачнувшись, сказал:

– А все равно наш доктор – изрядная скотина... Любви в нем нет, вот что.

Горные реки вскрывались одна за другой и с дробным грохотом начинали буйное движение. Отряду везло – до сих пор ни одна не преградила намертво путь. Какие-то успевали перейти по льду, других вынуждали подниматься к освободившимся от ледохода

верховьям и там перебираться по камням, веревочным мосткам. Становилось голодно, горное зверье ходило далеко стороной.

На второй день после ухода из кержацкой деревни горы приобрели оттенок бурой засохшей крови. Среди солдат это произвело сильное смущение и уныние. Офицеры доносили, что объявились подстрекатели, которые скрытно мутят воду, толкают рядовых к неподчинению и мятежу. Шергин подозревал подстрекателей в самих офицерах, по крайней мере некоторых, но вполне допускал мысль, что в полк могла проникнуть красная пропаганда. Теперь в России негде было спрятаться от этой заразы, она, как испанка, распространялась по воздуху и одним движением косила тысячи до того вполне здоровых людей.

Стойбище туземцев на склоне горы было издали похоже на скатившиеся валуны, чутко застывшие в ожидании малейшего толчка для продолжения бега. Горные калмыки, жившие охотой, высыпали из юрт, в равнодушном ожидании глядя на изнуренный переходом отряд. Если бы не желтый оттенок их лиц, они бы казались ожившими осколками красных гор, которым надоело неподвижно лежать и слушать вой ветра, секущего их своим резцом, медленно, но верно вырезающим на них морщины. Впереди туземцев стоял высокий старик в меховой шапке и длинной дохе. Его лицо было не просто иссечено ветром, а подверглось более сложной и жестокой операции. Покрытое шрамами, оно походило на физиономию тряпичной куклы, сшитую из разных лоскутов: один был желто-коричневый, как у всех, другой – красноватый, под цвет гор, и гладкий, третий – бурый и смятый в комок. На границе между двумя лоскутами тряпичник, разломив пополам пуговицу, приделал маленькие, настороженные, недобрые глаза.

Это был шаман.

Он определил главного в отряде и обратился к Шергину. Сказал, что еды в стойбище едва хватает, – зверь уходит и не дается в пищу. Рядовой Вогуличев старательно переводил его речь. Калмыки подтвердили слова шамана уныло-энергичными киваниями, как механические болванчики.

– Нам достаточно будет части того, что запасли ваши охотники, – ответил Шергин, внутренне морщась. Торг за еду успел набить ему оскомину в продолжение всего зимнего похода. Везде одно и то же. Никому не улыбалось кормить голодную ораву пришельцев, воюющих неизвестно за что.

Вогуличев, как мог, перевел. Шаман, потревожив движением свои лицевые лоскутья, хотел что-то сказать, но Шергин не дал ему:

– Оставим это пока. Мои люди устали, они передохнут здесь до завтра, и мы пойдем дальше.

По глазам шамана было видно, что у него имеются возражения, но, поколебавшись, он развернулся и ушел. Остальные туземцы, проявив любопытство, рассматривали амуницию солдат и глядели, как те устраиваются. Иные, особенно смелые, предлагали меняться: показывали шкурки, костяные амулеты и требовали за это богатство винтовку либо ремень с пряжкой.

Удостоверившись, что солдаты ладят с аборигенами, полковник направился к юрте шамана – еще раньше подметив, куда тот скрылся. Вогуличев громко топал рядом, осознавая свою значительность. В юрте было темно – горел лишь маленький красноватый огонек в очаге из камней, словно потусторонний глаз, наблюдающий за всем, что происходит по эту сторону. Привыкнув ко тьме, Шергин различил лежащего человека – он натужно дышал и

был, очевидно, в бреду. Возле сидел на полу шаман, положив руку на грудь больного, и тихо бормотал. Потом бормотание прекратилось, шаман что-то сказал. Вогуличев, помедлив, истолковал его слова:

– Сегодня ночью... э-э... я буду звать духов, разговаривать с ними. Э-э... духи послали болезнь, и отнять ее могут только они. Если твои люди помешают мне, духи рассердятся и нашьют беду. Вели твоим людям не мешать мне.

– Хорошо, – ответил Шергин.

– Ты чего-то хочешь от меня, – продолжал шаман. – Чего?

– Хочу спросить тебя: знаешь ли ты дорогу в заповедную землю, которую называют Беловодье?

Слова «Беловодье» в гортанных звуках Вогуличева Шергин не разобрал. Вероятно, оно было передано описательно. Шаман издал звук, напоминающий смех вороны. Шергин плохо видел его лицо, но был уверен, что оно осталось неподвижным.

– О том нужно спрашивать не меня.

– А кого?

– Белого Старца.

– Где его найти?

– Он живет на горе Белого Старца.

– Понятно.

Теперь была очередь полковника смеяться по-вороньему.

– Как я узнаю эту гору?

– Узнаешь, – ответил шаман. – Если дойдешь. Путь к горе Белого Старца стережет дух гор. Он принимает обличье красивой девушки или медведицы. Его легко рассердить, а можно задобрить. Он не любит, когда кто-то идет к Белому Старцу.

– Как я узнаю гору? – повторил Шергин, пропустив мимо ушей чепуху про сердитого духа, которую воспроизводил Вогуличев.

Шаман долго собирался с мыслями.

– Я и так много сказал тебе. Дух гор может рассердиться на меня и наказать.

– Но сначала я накажу тебя и твой род. Я велю забрать всю добычу, а тебя возьму с собой. Твои сородичи останутся без еды и шамана, а ты будешь разбираться с духом.

Шаман поразмышлял и ответил:

– Белый человек хитрый, злой и глупый. – Вогуличев очень стеснялся, переводя это, но не посмел ничего перевернуть или утаить. – Он не знает, что такое гнев духов... Я расскажу тебе, как найти гору Белого Старца. Но больше ни о чем меня не спрашивай, потому что ничего не услышишь.

...На ночное камланье туземцы высыпали всем родом, расселись полукругом недалеко от уложенного на землю больного. Другим полукругом, пошире, устроилась сотня солдат, пожелавших быть зрителями. Остальные спали или занимались своими делами, не проявляя интереса к туземному колдовству. Явились на представление и несколько офицеров. Кто-то даже выразил сожаление, что в этом «театре» не найдешь приличных дам и ресторации с шампанским и икрой. Пока Шергин думал, где ему сесть, солдаты освободили место.

– Сюда, вашкородь, тут мягше и теплей. У господ офицеров, чай, холодновато.

Шергин опустился на сложенную солдатскую шинель, подумав, что среди офицеров ему и в самом деле холодновато.

Разодетый в пух и прах шаман, с болтающимися разве что не на заду амулетами,

пробовал свой бубен. На солдат, как и на сородичей, он не смотрел. Не глядел даже на больного, укутанного в тряпье. Его внимание было поглощено предстоящим разговором с духами.

– Вишь, морда у него будто из разных кусков собрана, – говорил поблизости Вогуличев, обращаясь к соседям. – Великий шаман, значит. Великое посвящение прошел.

– Какое-такое у них посвящение, Вогуличев? – спросили его.

– А вот слушай. Духи его на тот свет утаскивают и там перебирают по костям, чтоб ничего по-старому не осталось, а все на другой лад было. Кожу сымают, мясо. Потом заново собирают. Теперь уж он ихний, полностью. А вон, видишь, бубен у него – черта на нем.

– Ну?

– По этой черте можно вызнать, с какими духами шаман дружбу водит – из нижнего мира либо из верхнего. Разницы-то между ними для нас, к примеру, никакой, а у них, шаманов, это важно. Нижние злее, что ли. А то ли сильнее, чем верхние.

– А этот каким бесам служит?

– Этот – нижним. Чертой они наш земляной мир обозначают, а под ней и над ней – миры духов. Если верхний больше нижнего, значит, шаман с верхними дружит. Ежли наоборот – с нижними.

– А дохтор наш с какими дружит? – вдруг спросил кто-то.

– Дохтор-то? – Вогуличев крепко почесал в голове. – Да кто ж его знает. Вот поди и спроси у него.

– Так он же не скажет.

– Он с вечера опять зарядимшись. Вон, глазами ворочает. Точь-в-точь шаман.

Между тем шаман все быстрее обходил вокруг костра и ложа больного: то скользил плавно, как змея, то прыгал лягушкой, то принимался скакать по-козлиному и трясти головой. Бубен под ударами била издавал пронзительные и тягучие низкие звуки, которым вторила глотка шамана, исторгавшая утробные рулады. Чем больше он вертелся и прыгал, тем сильнее начинал биться в бреду больной – мотал головой, разбрасывал руки, выгибал спину и стонал.

– Умается так, – пожалел шамана солдат, сидевший рядом с Вогуличевым.

– Ему еще долго скакать, – ответил тот. – Они привыкшие. С духами разговор долгий. А ты думал!

Но разговор шамана с духами случился короче, чем все предполагали, и виной тому был дохтор.

Он видел то, чего никто, кроме, может быть, шамана, видеть не мог. Но шаман был занят пляской, а дохтор сидел спокойно и внимательно смотрел. В какой-то момент он почувствовал приближение знакомого состояния, когда легкая дрожь из кончиков пальцев перемещалась по приятно натянутым ниточкам нервов внутрь тела, к самому сердцу, а потом проникала в голову – тогда дохтору делалось совсем хорошо. Окружающая реальность меркла, словно гасили свет, и в полутьме он начинал различать то, чего не видно в другое время. Дохтор называл их «гостями». Они могли иметь различные формы и размеры, и все показывали разные фокусы. Например, хватали его за руку и тянули – рука вытягивалась на много метров и могла, кажется, достать до верхушек деревьев. Это было забавно. Но иногда они не приходили, тогда дохтор томился и даже плакал, как ребенок, потому что становилось страшно. Или же начинал громко смеяться, потому что собственный страх казался ему забавным фокусом.

Но в этот раз гости повели себя иначе. Сперва все шло обычно – начались фокусы. Один из гостей был длинноволосой девицей в коричневом плаще с капюшоном. Он подошел к больному аборигену и стал трясти его, бить, поднимать и с силой швырять обратно. Шаман исчез из поля зрения доктора, как и остальной мир. Второй гость был коротышка с уродливой физиономией. Сначала он ничего не делал, только смотрел попеременно на девицу и доктора. Взгляд у него был светящийся и злой, но доктор давно не пугался таких вещей.

Он даже не испытал никаких неприятных ощущений, когда карлик приблизился к нему и взял за руку. Доктор подумал, что сейчас последует фокус, и не ошибся. Карлик прыгнул ему на грудь и зубами перекусил шейную жилу. Доктор не успел понять, почему так произошло...

Когда доктор захрипел, схватившись за горло, и повалился боком на землю, шаман рухнул на колени рядом с затихшим больным. Наклонясь к нему, он тихо провыл что-то и два раза сильно ударил в бубен.

Шергин пробился к доктору сквозь тесно сгрудившихся солдат. С первого взгляда было ясно, что тот мертв: глаза неподвижно выпучены, язык наружу, лицо посиневшее.

– Это же шаман его, братцы, – потрясенно сказал кто-то.

Версия была тут же поддержана гулом. Возмущенная толпа солдат обратилась в сторону шамана, который стоял, покачиваясь, у костра и все еще был не в себе. Его сородич, совсем недавно бившийся в судорогах, сидел на тряпье и моргал.

– Своего, вишь, вылечил, а нашего доктора угробил, вражья морда.

Подпоручик Кухельницкий рванул из кобуры револьвер и направил на шамана. Туземцы, тоже повскакавшие с мест, загалдели. Грянул выстрел. Но прежде раздался женский визг, и осоловело шамана загородила баба-калмычка. Пуля убила ее наповал.

Аборигены подняли вопль до небес, оттащили бабу и оттеснили подальше шамана. Один повернулся к чужакам и, ударяя себя в грудь, быстро и гневно стал говорить.

– Переводи, – потребовал Шергин.

– Чего там... – махнул рукой Вогуличев. – Ругается, одно слово... А! Говорит, эта баба – жена ихнего великого шамана Ундагатуя, и нам теперь несдобровать. Духи за нее отомстят, скоро и страшно.

– Скажи ему, – медленно и, едва сдерживаясь, произнес Шергин, – скажи ему, что мы в расчете. У нас мертвец и у них. Духи должны быть довольны.

Затем, плюнув в сердцах, крикнул:

– Всем разойтись. Никаких самосудов. Тому, кто нарушит приказ, лично оторву голову. – И, уходя, бросил через плечо: – Прапорщик Овцын, распорядитесь насчет могилы для доктора. – Потом добавил: – Черти!

...Заснуть не давали туземцы. Они долго колобродили по стойбищу и то кричали, то принимались отбивать глухой ритм и тоскливо подвывать: видимо, обряжали покойницу. Когда небо над горами стало бледным, Шергин смежил веки. Но тут же его разбудили новые вопли.

Рассвет успел надвинуться вплотную, и в серо-лиловой заре четко был виден быстро уходящий от стойбища солдат. За ним вприпрыжку бежал туземец, махал руками и пронзительно ругался.

– Эй! – гаркнул Шергин.

Солдат остановился как вкопанный и при виде полковника заробел. Туземец налетел на

него, вцепился в шинель и стал яростно дергать.

– Поди-ка сюда.

Рядовой подтрусил, невольно таща за собой туземца, и встал навытяжку. Шергин велел Ваське, лупившему со сна глаза, разыскать Вогуличева.

– Фамилия?

– Рядовой Кукушкин, вашскородь, – доложил струхнувший солдат.

– Что делал в стойбище?

– Ну, эта... думал продовольствием разжиться, – стеснительно ответил Кукушкин.

Подоспел Вогуличев, на ходу застегиваясь. Вникнув в суть претензий туземца, он ухмыльнулся.

– А что ж ты, Кукушка, на лежанке у бабы евойной шарил? Ай чего послаще искал?

– Так, – произнес Шергин, темнея лицом и подходя к рядовому Кукушкину. Тот совсем сник и уткнул глаза в землю.

В следующую секунду рядового свалил оземь сокрушительный удар. Туземца, не успевшего отцепиться, тоже снесло.

Встряхнув руку, Шергин сказал:

– Повесить бы тебя за разбой среди населения, да не могу – каждая душа теперь на счету.

– Дикари же, вашскородь, – проскулил Кукушкин, выплевывая зуб. – Нехристи поганые...

– Дур-рак, – процедил Шергин. – День-то какой сегодня, помнишь?

Кукушкин тупо заморгал, и полковник повернулся к Вогуличеву:

– Ты?

– Не могу знать, вашскородь, – выкатил тот по-уставному глаза.

– Ну и кто здесь, получается, нехристь? – с досадой спросил Шергин.

– Вербное ж нынче, – ахнул Васька. – Вчерась Лазарь воскрешался, а нынче осанна.

Туземец на четвереньках улепетывал к стойбищу.

День начинался скверно. После того как закопали в землю доктора, Шергин с пятью солдатами направился к юртам. Туземцы не хотели отдавать припасы, но их заставили поделиться. Из земляного «погреба» были извлечены разделанные куски мяса двух аргали – горных баранов и половины лося. Солдаты, подвесив узлы с мясом на палки, ушли. Шергин задержался.

– Духи наслали кару на меня, – сказал шаман, зло глядя, – моя жена отправилась по подземной реке. Тебя и твоих людей духи тоже покарают. Сегодня я опять буду разговаривать с ними. Я позову духа гор, духа медведя, и он убьет вас.

– Переведи ему, – велел Шергин, – смерть не страшна тому, кто давно умер.

Вогуличев нагнал его возле лагеря.

– А всех-то медведь не убьет, пожалуй? Больно уж распетушился колдун ихний. Может, того его?.. Чтоб не разводил возмутительную пропаганду среди населения?

– Не зли меня, Вогуличев, – попросил Шергин.

– Понял... – сказал тот и вздохнул. – Осанна нынче, значит.

По приметам, которые дал шаман, шли еще два дня, а к вечеру вторых суток по отряду расплозлось восхищенное: «Царь-гора!»

Окрестил ее этим именем Васька, разинувший рот при виде порфирных в закатном сиянии склонов и горячей алмазами округлой двухдольной вершины, отдаленно похожей на

императорскую корону.

Наутро Шергин собрал офицеров и сообщил план: идти на гору с сотней солдат. Остальные под началом штабс-капитана Гусейнова должны по перевалу выйти на другую сторону хребта, в Чуйскую степь, и там ждать. Шергин припечатывал свои слова щелчками пальца по карте, изобиловавшей, правда, белыми пятнами. Первопроходцы не баловали здешние края вниманием – думали, наверное, что Чихачев ничего им тут не оставил с середины прошлого века.

– Вопросы, предложения есть?

– Есть, – угрюмо произнес ротмистр Плеснев. – Почему штабс-капитан Гусейнов? Разве нет старших его по званию?

– Если вы имеете в виду себя, ротмистр, – ответил Шергин, – то вам оказана другая честь. Вы идете со мной. Надеюсь, у вас нет возражений?

Плеснев пробормотал нечто невнятное, и разговор перешел на обсуждение географических деталей.

Но в конце повисло гнетущее молчание, разрешившееся витиеватым рассуждением:

– Господин полковник, вы держите нас в неведении уже который месяц. Все мы, здесь собравшиеся, кроме вас, испытываем сильные сомнения относительно этого нелепого, простите, похода в горную глушь. У нас, что вполне естественно, закрадываются сомнения. Война полыхает где-то там, в России, а здесь мы преследуем каких-то призраков и покоряем горы. Простите, но это смешно, если не сказать хуже.

Высказавшись таким образом, поручик Недеев вскинул голову, демонстрируя орлиный профиль, раздул ноздри и окинул взором остальных офицеров, продолжавших гнетуще молчать.

Шергин тоже посмотрел – сначала на сидевших по одну сторону, затем по другую. Никто не отводил глаз, только прапорщик Чернов смущенно потупился.

– Что же, вижу единодушие, – промолвил Шергин. – И вот что я вам отвечу, господа офицеры. Война полыхает не где-то там, а именно здесь – для каждого из нас, для каждого из солдат... Преследуем призраков и покоряем горы? А вот тут вы правы, поручик, хотя сами, верно, не понимаете собственных слов. Любая война начинается с призраков... а заканчивается покорением горы. Впрочем, не буду утомлять вас философией. Я прошу только одного: веры... Поверьте мне. Я убежден: все разрешится в ближайшее время.

Он опустил голову, устало провел рукой по лицу, замолчал. Офицеры переглядывались, недоуменно пожимали плечами, кто-то скептически шевелил усами.

– Все, разговоры окончены. – Шергин овладел собой. – Выступаем через час.

Царь-гора была высока и тучна. По ней гирляндами вились ручьи, иногда срывавшиеся разноцветными от примесей водопадами. В тайге деловито сновали выползшие из зимних квартир бурундуки, рыли прошлогоднюю мокрую прель косули и насвистывали счастливые кедровки. Весна выдалась теплой и паркой, а в горах ранней, хотя по ночам по-прежнему обдавала морозом.

Сотня солдат, растянувшись редкой цепью и перекликаясь, искала следы человеческого жилья. Шергин шел в середине и изредка, когда выходили на свободный склон, посматривал на вершину. Он не сомневался, что Белый Старец, если таковой существует, живет именно там, среди вечного снега, ледников и голых камней. Половиной мозга он понимал, что это безумные мысли, но другая половина была сильнее и побеждала в споре, хотя и не приводила никаких доводов.

Доводом была сама гора. Днем она сливалась своими светящимися словно изнутри снегами с небом и казалась лестницей в заоблачные гостиницы, где всегда открыты двери для земных странников. В те минуты, когда Шергин ловил себя на этом, не вполне заслуженном ощущении, Белый Старец представлялся ему апостолом Петром, привратником рая, а сама гора – некими мытарствами, отделяющими земную жизнь от вечной. Разительную достоверность этому чувству придавали ночи, когда из скальных расселин и горных пещер выплескивалось наружу нечто злое, чье-то тайное и негостеприимное присутствие, словно на охоту за человеческими душами выбирались бесы-мытари. Воздух наполнялся невнятными шепотками и странным щелканьем, похожим на резкие звуки бича. Время от времени перед самым носом прошмыгивали быстрые холодные тени.

Что-то в этой горе было не так, как в остальном человеческом мире.

Шергин знал, что именно. Здесь было возможно самое невозможное. Вплоть до воскрешения мертвых.

А может, думал он, все дело во времени. Осанна сменилась восхождением на Голгофу... но смерть – всего лишь пауза перед воскресением.

В какой-то миг ему показалось, что он все понял. Поскользнувшись на каменной осыпи, он упал и увидел впереди, в нескольких шагах, человеческую фигуру в длинном белом одеянии, сшитом будто из сияющего тумана. Он увидел лицо человека – лицо было молодым, спокойным и отчего-то знакомым. Человек протянул к нему руку, но не подошел. Это был знак – вставай и иди. Шергин поднялся и пошел следом, теряя равновесие, оскальзываясь на вылетающих из-под ног камнях, раздирая руки в кровь при падениях. Человек впереди не падал, но и не оборачивался больше. Его ступни не сдвинули с места ни единого камешка.

Шергин забыл, что именно он понял и важно ли это. Он чувствовал, что понять – ничего не значит. Пониманием ничего не изменишь, не простишь и не воскресишь. Изменить, исцелить, сотворить заново может один шаг вверх по горе, срывающийся на скользкой осыпи, потом другой шаг и третий, четвертый... следом за человеческой фигурой впереди. Даже если упадешь – поднимешься. Сердце прочной нитью привязано к руке впереди идущего.

Вот чего теперь не хватало России – она упала и не могла подняться, ее придавливало чье-то тайное и злое присутствие. Она слишком обессилела в последнее время. Чтобы быть воскрешенной, она должна умереть. Сейчас самое время. Страстная пятница.

«Он сегодня умрет, – думал Шергин, чувствуя в душе отчаянный ужас и глубокое, отрешенное спокойствие. – Почему же Он здесь, со мной?»

Снова упав и поднявшись, полковник увидел, что впереди никого нет. Вряд ли от этого стало легче, но ужас постепенно затих. Шергин выбрался на твердую поверхность горной тундры. Во впадинах белел слежавшийся снег, на взлобках пробивалась пучками жесткая растительность и храбрились на вечных сквозняках голые, кривые деревья, ростом едва до бедра. Отсюда вершина казалась совсем близкой, отчетливо прочерченной в воздухе, который был сияющим, как нимб вокруг головы святого. Несколько ледниковых языков облизывали склон, спускаясь на сотни метров и загибаясь в разные стороны.

Все казалось близким, не только вершина. Соседний хребет на севере, облака, пасущиеся на склонах, словно тучные белые коровы, синяя эмаль неба, конец войны.

«А может, она уже кончилась, – подумал Шергин. – Для меня кончилась. Потому что я становлюсь здесь другим. Я сотворяюсь заново. Я – часть того нового, что творит сейчас Он.

Как та старая икона в прошлом году, из деревянной церкви, которая обновилась на глазах у всех. Мне никогда не постичь этой тайны обновления. Но я ее чувствую. Она запечатлена в красоте мира. Даже на этой мерзлой высоте. Вот зачем стремятся на Северный полюс, на высоту земли. Там ничего нет, кроме отношений человека и Бога. Там люди обновляются, как иконы. А без этого смертельная тоска».

Та же смертельная тоска охватила Россию. Но Россия выбрала странный путь к обновлению – через самоистязание. Он будет долгий.

В конце дня пошел сильный снег и выбелил тундру, переходившую в голые скалистые высоты, каменные россыпи и ледники. Отряд остановился на ночь, разложили костры из запасенного внизу хвороста. От усталости, голода и холода все были понурые и злые, говорили мало. Солдаты жались друг к другу для тепла – огня не хватало. Шергин, ссутулясь, ходил между кострами и тихо просил:

– Потерпите, братцы. Потерпите.

Поручик Викентьев окликнул его, сообщил, что неподалеку солдаты нашли вход в пещеру.

– Теплом тянет. Надо людей туда. Не то померзнут ночью.

Шергин так резко мотнул головой, что едва не сбросил шапку.

– Не надо.

Он инстинктивно не доверял здешним пещерам, откуда вместе с теплом исходили сквозняки низшей духовной реальности, как сказал бы покойный доктор. И хотя был уверен, что солдаты по доброй воле туда не сунутся, все же велел:

– Поставьте у входа двух человек, чтобы никого в пещеру не пускали.

– Но мы замерзнем на этой чертовой горе!.. Костры еле теплятся.

– Выполняйте приказ, поручик, – устало сказал Шергин.

...А утром обнаружилась пропажа выставленных возле пещеры часовых, братьев Ложкиных, неразлучных, как пальцы на руке. Выяснилось, что их забыли сменить, и никто не знал, когда они покинули пост.

С трудом разыскали пару карликовых деревьев, сделали факелы и отрядили трех солдат с офицером на поиски. Те вернулись через час. Рассказали, что пещера ветвится и тянется далеко вглубь. Пропавшие братья на крики не отзывались.

Шергин решил не тратить времени и идти дальше. Проходя мимо злополучной пещеры, некоторые солдаты снимали шапки и крестились. Никому не пришла в голову мысль, что братья могли сбежать. А если и пришла, то ее затаили, оставив на всякий случай при себе.

– Погоди, братуха, где ж выход? – спросил младший Ложкин, поворачиваясь вокруг своей оси. – Мы вроде отсюда шли.

– Вон еще поворот, – отвечал второй Ложкин, на год старший, с едва пробившимися усами и по-детски пухлыми губами. – Там, должно.

Но и за очередным поворотом выхода не оказалось. Головешка от костра прогорела и давала тусклый красный свет. Ложкин-старший поднял ее выше, и младший почувствовал, как трясутся колени, когда не увидел ни стен, ни потолка. Вокруг было огромное пустое пространство, плотно наполненное тишиной, которая вязла в ушах.

– Эй! – громко крикнул он.

– Ты чего? – вздрогнул старший.

– Ничего. Жутко мне. Кабы не сгибнуть здесь.

– Пошли взад, – рассудил старший. – Говорил тебе, надо было там в другую сторону

сворачивать.

– Говорил. А я тебе говорил, не нужно от дыры уходить. Погрелись бы и ладно. Черт же тебя потащил. Поглядим, поглядим. Вот и поглядели. Вот и сгибнем теперь тут, – в голосе младшего появилась паника.

– Не мочи штаны прежде времени, Алешка. Тут, должно, много выходов. Какой ни то найдем. Гора большая.

– То-то и оно, что большая. А может, нас там ищут? – обнадежился он. – Сколько мы тут? Утро небось уже.

– Может, и утро. А поищут да перестанут, – спокойно отозвался Ложкин-старший. – Не больно-то сюда господа офицеры сунутся. А если сунутся, мы их... – он стряхнул с плеча винтовку и сильно ткнул прикладом в воздух... – того.

– Ты чего? – растерялся младший. – Зачем – того?

– А чтоб из нашего брата кровь не сосали, в морду тычки не раздавали да по горам без толку не гоняли.

– Ты чего, Мишка, говоришь такое? – недоумевал младший. – Они ж с нами все терпят, поровну.

– Ага, поровну, – злобился Ложкин-старший. – Небось у офицерья нынче и костер дольше горел, и в часах им стоять не надо, ж... морозить. И портянки им денщики высушат и воды с утра нагреют.

– Им же по чину... положено так, Мишка, – все больше пугался младший. – А без чина это же что... это каждому, что вздумается...

– А что ж тут плохого, если вздумается? Человек, он же для полета. А не вшей разводять, так?

– А Бог? – упавшим голосом спросил младший. – Его-то тогда куда? Тоже... того?

– Глупый ты какой, Алешка, – рассердился на брата Ложкин-старший. – Бога ему куда. А может, нету никакого Бога. Говорят же, что нету. Красные белых и без Бога за милую душу треплют. А нам с тобой, что же, помирать за этого Бога, за офицерские теплые подштанники и тычки в морду?

Головешка погасла, напоследок прищелкнув. Братья остались в кромешной тьме.

– Ну вот, – тоскливо сказал младший, – теперь мы умрем не за Бога и не за теплые подштанники, а по дурости.

– Ты меня, Алешка, не зли лучше... – начал было старший, но вдруг примолк. – Тсс...

Прошло с полминуты.

– Слышишь? – прошептал старший.

– Идет кто-то, кажись. Далеко будто.

– Не, близко. Молчи.

Послышался тихий шорох. Младший Ложкин последовал примеру и тоже стянул с плеча винтовку, осторожно передернул затвор. Ладони вспотели от внезапного страха. Никто из отряда не мог приближаться сюда такими легкими, шелестящими шагами.

– Это подземная чужь, – произнес он едва слышно, одними губами. Но старший понял его.

– Щас мы ее...

Впереди возник желтый огонек. Он медленно двигался и чуть покачивался. Младший Ложкин крепче сжал винтовку и прицелился.

Из темноты выплыло лицо старика, а затем он обрисовался весь – белоголовый, с

длинной бородой, сгорбленный, одетый в грубую мешковину, с крошечной масляной лампадкой в руке. Света она давала так мало, что было непонятно, каким образом старик виден целиком, с головы до ног. Словно сам себе был лампой.

– Ну что, заплутали, молодцы? – со странной лаской спросил старик. Голос его не скрипел, не дребезжал и был полон совсем не стариковской силы.

– А ну, – прикрикнул на него Ложкин-старший и ткнул вперед винтовкой, – руки вверх, чужь подземная.

– Ахти, да какая же я чужь? – удивился, но совсем не испугался старик и продолжал источать спокойную ласку. – Вы глаза-то, молодцы, разуйте. Русский я человек, веры христианской.

– А ежели не чужь, – неуверенно произнес Ложкин-старший, – тогда говори, что ты тут делаешь, старая ветошь. Не то... – он опять ткнул стволом в воздух.

– Что делаю-то, миленький? – переспросил старик. – Живу да Богу молюсь. И ты со мной жить будешь.

– Это с чего? – Ложкин-старший так удивился, что опустил винтовку.

Старик не ответил ему. Вместо этого он сказал:

– Ну, идемте, выведу вас к свету. Здесь вам оставаться не нужно. Эх вас далече занесло.

– А где мы, дедушка? – спросил младший из братьев.

– Глубоко, моя радость, глубоко. В самом нутре горы.

– Как же мы сюда попали? Мы и шли-то недолго, – изумлялся младший.

– А тут долго и не надо. Коготок увяз – всей птичке пропасть. Ну, идем, что ль? Или здесь хотите остаться?

– Идем, – хором ответили братья.

Старик повел их в ту сторону, откуда они пришли. А может, в противоположную – братья в темноте потеряли направление. Лампадку старик держал перед собой, и Ложкиным, шагающими сзади, света едва доставалось. Но тут по бокам стали вспыхивать сами по себе огни, словно невидимая рука зажигала фонарики. Братья, шарахаясь от огней, со страхом озирались, а старший водил винтовкой, не зная, куда прицелиться.

Старик обернулся.

– Не дивитесь, – сказал, – так должно быть.

На братьев его слова подействовали успокаивающе. Младший повеселел, предчувствуя скорое спасение, старший закинул винтовку на плечо и спросил:

– И куда же ты нас выведешь, старик?

– А куда надо, туда и выведу.

– Ты вот что. Ты нас выведи под гору и на северную сторону. А там уж мы сами смекнем, куда податься.

– Да нет, миленький. Под гору тебе не надо, – ответил старик, не оборачиваясь. – Пропадешь ты там.

– Это уж не твоя забота, старый комод, – грубо сказал Ложкин-старший. – Эй, ты чего?

Он попятился. Старик, внезапно остановившись и повернувшись, просто смотрел на него, а Ложкину казалось, будто под этим взглядом он стал голым. Невольно двинулась рука – прикрыть срам, но этого было явно недостаточно. Прикрывать понадобилось все, потому что срам каким-то образом оказался повсюду – Ложкин чувствовал это и едва не сгорал со стыда.

– Стыдишься? – произнес старик, словно упрекая. – Меня стыдишься? Меня, червя

нечистого! Что же я Богу-то скажу на суде? Жил, дескать, грехи изживал, да не изжил ни самого крошечного, зато гостей пришлых стыдить был горазд, будто какой святой пустынный? Нет уж, миленький, – попросил он кротко, – ты меня не стыдись. Нам с тобой друг от дружки теперь нечего прятать...

– Как... как это? – стуча зубами, выдавил Ложкин-старший, ставший белее лунной головы старика. – Зачем это?

– Остайся, – еще более кротко сказал старик. – Иль не знаете, – он посмотрел на обоих, – что брат на брата идет?

– А может, правда, Миша, – пролепетал младший.

Старший повернулся к нему, долго, с минуту глядел.

– Останешься? – взволнованно спросил его младший. – Не зря же это... говорил же я тебе: Бога-то куда?..

Ложкин-старший стянул винтовку с плеча и протянул брату, отвел глаза.

– Прощай, Алешка.

И быстро, торопясь, отступил в тень, прижался к стенке туннеля.

– Подожди пока тут, – сказал ему старик и поманил младшего. – Пойдем, миленький.

Сколько времени они шли, он не разобрал. По пути старик говорил:

– Рабу Божию Петру так сообщи: оставь, скажи, ношу свою на горе, потомок твой заберет ее. Тайную землю не ищи, заплутаешь. А за смертью не гонись – одна тебя и так настигнет, а от второй сохрани тебя Бог.

– Сообщу, – кивнул Ложкин-младший. – А какому Петру-то, дедушка?

– А какого первым увидишь, как выберешься, тому и скажи.

Через некоторое время старик молвил:

– Ну вот. Пришли. Ты посиди здесь недолго, а потом иди.

– Куда идти? – Ложкин пытался увидеть что-либо в темноте впереди.

– Туда.

– Так ведь не видно ничего.

– Ночь, вот и не видно. А ты поспи лучше.

Ложкин опустил на пол пещеры. Глаза, набрякшие усталостью, закрылись, и он мгновенно заснул.

Ему приснились райские сливы. Они висели на ветке, и он срывал их по одной, клал в рот и млея от удовольствия. Никогда еще не доводилось ему пробовать таких слив. Да и немудрено – в раю он тоже никогда не бывал.

Проснувшись, он увидел свет, который проникал в пещеру из-за поворота туннеля. Ложкин хотел было вскочить и устремиться к выходу, но почувствовал в руке что-то мягкое. Пальцы крепко держали три крупные темно-фиолетовые сливы. «Это подарок старика, – подумал он. – Откуда у него сливы?»

Он засунул одну в рот, раскусил и, медленно жуя, долго млея от удовольствия. Никогда еще не приходилось ему пробовать таких слив. Да и немудрено...

Он съел все три, а косточки положил в карман. Надо думать о будущем. Когда-нибудь, когда кончится война, из этих косточек могут вырасти сливовые деревья.

Ложкин забросил на плечи обе винтовки и вышел из пещеры, шурясь от яркого света. Он очутился на узком заснеженном карнизе. Внизу была пропасть, сверху смутно доносились человеческие голоса. В ярко-синем небе, раскинув крылья, парила крупная птица.

– Эй! Эге-гей! – заорал Ложкин из всех сил. – Спасите меня!

Он кричал минуты две, пока на обрыве вверху не показалась голова. На него удивленно смотрел полковник Шергин собственной персоной, почему-то без шапки и с широко расстегнутым воротом выдавшего виды кителя.

– Ты что тут делаешь? – спросил полковник.

– Стою, вашскородие, – ответил Ложкин.

– Петр Николаевич! – раздался другой голос, и к голове полковника присоединилась еще одна, весьма взлохмаченная. – Ох ты, батюшки. Ну прямо горный орел... Да это же пропавший Ложкин, сукин сын! А где второй? Где твой брат, Каин ты проклятущий?! – возмушалась голова поручика Викентьева.

– Остался в горе, – честно ответил Ложкин и вдруг вспомнил: – Господин полковник, ваше высокоблагородие, у меня для вас важное послание.

– Для меня?

– Ну да. Вас же Петром окрестили?

– Ничего не понимаю. – Шергин вытер пот со лба.

– Ложкин, ты там что, веселящим газом надышался? – грозно крикнул поручик Викентьев. – Или нашел источник чистой водки?

Судя по всему, поручик и сам нашел нечто в этом роде, потому что его грозный вид был сплошным притворством, и Ложкин это отлично видел.

– Никак нет, вашбродие.

– Ну, давай свое послание, – сказал Шергин.

Поручик Викентьев исчез, чем-то отговорившись. Ложкин выпалил слово в слово все, что передал ему старик.

Полковник с минуту оставался неподвижен и постепенно становился красен. Потом потребовал:

– Опиши его.

Ложкин описал, как мог: белый, словно лунь, страшный, добрый. Шергин, распрямившись, тоже исчез.

Некоторое время солдат ждал, потом начал волноваться. Убедившись, что о нем забыли, он снова принялся кричать. Наконец над обрывом свесились веселые солдатские рожи. Узрев похороненного было товарища, они стали еще веселее, сбросили веревку, вытянули.

– Христос воскресе, Ложкин, шельма эдакая!..

Его окружили, смяли, подняли на руки и несколько раз подбросили.

– Во-ис-ти-ну... – с трудом вытряхнулся из него ответ.

Потом с него стянули шинель и сапоги.

– В воду его!.. Оштрафился... Пуцай поплавает...

У Ложкина захолонуло внутри.

– Какую воду, черти вы!... Смерти моей хотите...

Возражений никто не слушал.

Его сильно раскачали и бросили. Еще раньше Ложкин зажмурился и ничего не видел. Только в полете, невольно открыв глаза, он подумал, что сошел с ума.

Вода горного озера была теплой, почти горячей, и после морозца на снежном карнизе обжигала. Ложкин вынырнул, с воплем выбежал на берег и остановился с выпученным выражением лица. Солдаты хохотали.

То, что он увидел, показалось продолжением сна о райских сливах. В горном каре

между отвесными скалами цвела крошечная долина. Посреди нее разлеглось озерцо, булькающее пузырями и курящееся белым паром. Вокруг него стелилась широкой полосой молодая мягкая трава. Над травой выставили головки желтые маки, которые Ложкин сперва принял за бабочек-капустниц. Неподалеку от берега жарился насаженный на вертел горный козел.

Было тепло, как летом, и мокрый Ложкин скоро обсох.

– Во-ис-ти-ну... – повторял он в изумлении, которое не спешило покидать его.

Полковник Шергин также пребывал в состоянии потрясения основ. Душа его не находила себе места, и он три раза обошел вокруг озера, не заметив того. Солдаты купались, топили друг друга и играли в расшибалочку. Их громкие вопли не мешали полковнику созерцать собственные мысли, от которых душа еще сильнее шла вразброд. Это казалось настолько невыносимым, что нужно было срочно что-то предпринять. Нечто такое, чего раньше он никогда бы себе не позволил.

Посмотрев на плещущихся солдат, он подошел к берегу. Неподалеку стоял ротмистр Плеснев, по-наполеоновски сложивши руки на груди. По его выражению было видно, что ему хочется искупаться, но ронять себя в глазах рядовых он не намерен. Озерцо слишком маленькое, и плавать в стороне от солдат не получилось бы никак.

Шергин начал раздеваться. Ротмистр, наблюдая за ним, наконец не выдержал.

– Вы хотите купаться вместе с нижними чинами, господин полковник? – брезгливо топыря верхнюю губу, спросил он.

– Знаете, господин ротмистр, – он подчеркнул голосом абсурдное обращение к нижестоящему, – офицерский этикет меня не волнует сейчас совершенно. Вы разве не чувствуете, что сегодня мы все – я, вы, они – одна плоть?

Шергин остался в одних подштанниках, не вполне чистых.

– Ничего такого я не чувствую и не собираюсь чувствовать, господин полковник.

– Мне вас искренне жаль... Христос воскрес, ротмистр!

Он разбежался и прыгнул в самую гущу солдатских голых тел. Его приняли с восторгом, хотя и посторонились, освобождая место.

Купание в горячей воде несколько не охладило его мысли. Васька принес подцепленный на штык кусок жареного мяса, истекающий жиром, но Шергин не притронулся к еде.

– Уморить себя решили, вашскородь? – обиженно спросил Васька.

– Поди прочь, – отмахнулся полковник. – Нет, погоди. Стой.

– Стою. Гожу.

– Сейчас же позови прапорщика Чернова.

– Чтоб он уговорил вас съесть мясо? – уточнил Васька.

– Немедленно!! – рявкнул Шергин.

Ваську сдуло как ветром.

Прапорщик Чернов, за время похода ставший на полголовы выше и еще худее, чем был, когда его выловили из уральской реки, смотрел на полковника непонимающе.

– Я видел, – ломким, неустановившимся голосом говорил он. – Своими глазами.

– Ты видел, как убили всех троих? – медленно чеканя слова, спросил Шергин.

Миша Чернов моргнул и ответил не очень уверенно:

– Да.

– Вспоминай!

Прапорщик почесался, потянул носом, снова моргнул и уставился на Шергина почти испуганно.

– Ну?

– Марью Львовну помню... штыком. Ваньку малого... по голове.

– Как убили Сашу, ты видел? – Шергин от напряжения привстал с камня, на котором сидел.

– Нет, – выдохнул Чернов. – Не видел. Я только подумал...

Шергин снова утвердился на камне, перевел дух.

– Он жив.

– А? – раскрыл рот прапорщик.

– Мой сын жив. Они не нашли его.

Миша Чернов был потрясен.

– Я... я...

– Молчи, – велел Шергин, – и слушай внимательно. Через какое-то время мы уйдем отсюда вниз. Я хочу, чтобы ты запомнил все, что здесь. Оглянись.

Прапорщик послушно повертел головой.

– Я хочу, чтобы все это осталось в тебе – гора, озеро, эта трава, эта Пасха, купание солдат. Чтобы ты сохранил в себе эту высоту. Ты меня понимаешь?

Чернов ответил энергичным кивком, хотя изумленное выражение его свидетельствовало, что понимает он мало.

– Ты обязательно останешься жив, – продолжал Шергин с нажимом, словно приказывал остаться в живых, – и уйдешь за границу...

Прапорщик снова не сумел совладать с мышцами лица, поддерживающими на месте челюсть.

– Я?.. Я не уйду... Никуда я не пойду из России.

– Пойдешь. Отыщешь себе пристанище за границей. Будешь жить и хранить Россию там.

А потомки твои пусть возвращаются, когда будет можно.

Миша мотал головой, сначала медленно, потом быстрее.

– Нет.

– Да! Посмотри туда.

Шергин показал рукой вверх, на покрытый ледником гребень горы, неровным и расщепленным кольцом окружающий долину.

– Туда мы не пойдем, – опять с нажимом сказал он.

Чернов, поглядев на отвесные, заледенелые стены, снова перестал что-либо понимать.

– А зачем... – выдавил он.

– Вот и я говорю – незачем нам туда лезть. Не по Сеньке шапка. Мы свою высоту взяли. Большого нам не дано. Остальное пускай берут наши потомки, если сумеют. Если им будет дано. А наша задача – сохранить для них это.

Он обвел жестом маленькое горное каре с озером и цветущей прибрежной полосой, с отдыхающими солдатами.

– Но они сумеют. Это обетование... я получил его здесь. Обетование о потомке. Мой сын жив...

Шергин вдруг затрясся и закрыл лицо руками.

Прапорщик Чернов смущенно отвернулся и еще раз смерил взглядом крутые скалы, хмурые, совершенно неприступные.

– Это какой же дурак туда полезет? – нарочито грубо спросил он, чтобы не дрожал голос.

– Я не знаю, – сказал Шергин, резко отдернув руки и вернув себе нормальный вид. – Но дураков в России с избытком хватает сейчас.

Миша Чернов окончательно сконфузился, видя, что смысл разговора уходит от него все дальше.

– Ступай, – отпустил его Шергин. – Стой. Пообещай, что не забудешь этот разговор.

– Ага, – кивнул прапорщик, – ладно.

Тут же зарумянясь и вытянувшись во фрунт, он поправился:

– Так точно, господин полковник.

Оставшись один и прогнав Ваську, который явился напомнить о холодном уже мясе, Шергин вооружился огрызком карандаша, расстелил на валуне лоскут бумаги и принялся писать отвыкшей от подобных упражнений рукой. Слова поначалу выходили корявыми, жирными, затем буквы становились все тоньше и мельче и, не поспевая за мыслями, наползали одна на другую.

Он писал больше часа, взмок от напряженной работы и несколько раз торопливо оттачивал ножом затупленный грифель. Лишь в одном месте он запнулся и долго не решался продолжать. Наконец карандаш снова клюнул бумагу. «Россия спасена, я услышал эти слова здесь, они прозвучали так ясно, как будто рядом был кто-то, но никого не было, и все-таки они были сказаны, я не знаю, что эти слова будут означать через сто лет, наверно, что-то другое, но сейчас они звучат в моем сердце и, точно знаю, не только в моем, и означают одно: мы заслужили то, что заслужили, а теперь нужно смириться и терпеть, Русь всегда спасалась терпением, я хотел бы умереть здесь, на горе, но я нужен моим людям, солдатам, потому...» Слово «потому» он недовольно вычеркнул и продолжал: «Я чувствую, что скоро освобожусь, нет, уже свободен, я ничего больше не должен этой войне, я отдал ей все, что мог, нет, еще не все, осталось последнее...»

Алтай и прежде не скупился на яркость красок и художественные переливы оттенков. Но на высоте около трех тысяч трудно было ожидать чего-то, кроме черно-белого рисунка. Однако здесь тоже встречались вариации: опалово-синие пятна мхов, глянцевая ржавчина лишайников, киноварь скал, фиолетовые тени в складках горных пород, голубые ореолы ледников, салатные пучки травы, желтые увядающие маки. Как будто модный художник наляпал кисточкой разноцветные мазки и выставил свое произведение на поднебесный аукцион, где его могли вволю оценивать пролетающие по делам ангелы и гуляющие по облакам святые угодники.

Федор почувствовал себя одним из них, пробираясь по молочному туману облака, решившего отдохнуть на склоне. «В сущности, покорение горы не что иное, как паломничество, – вспомнил он свою старую мысль, – тут уже и до святости недалеко».

На третьи сутки восхождения он вплотную подобрался к верхней границе тундры, где мелкая жухлая трава клиньями врезалась в курумы – каменные осыпи и безуспешно пыталась взбегать на морщинистые скалы с шапками снега. К полудню четвертых суток Федор оказался в ледово-каменном мешке и до вечера обползал его стены в поисках пути. В сумерках он удачно провалился в узкую расщелину, уходившую наклонно вверх, будто лестница без ступенек. Заночевать пришлось здесь же, втиснувшись в поперечную трещину. О том, чтобы залезть в спальный мешок, нечего было и думать. «И для чего я терплю такие муки?» – спрашивал себя Федор, скрюченный в три погибели. В том же положении он исхитрился приготовить ужин – вскрыл банку консервной колбасы и наделал бутербродов. «Определенно, это у меня наследственное, – размышлял он. – С каждым часом я все сильнее ощущаю в себе гены полковника Шергина. Этого загадочного Франкенштейна с любящим сердцем и мистической судьбой... Но, с другой стороны, разве меня влечет вверх родственное чувство? Ничуть. Я совершенно свободен от подобной сентиментальности».

Тут ему пришло в голову, что он свободен вообще от всего – и именно здесь, на высоте трех с лишним километров это ощущалось как абсолютное счастье, тогда как внизу, на земле рождало лишь тоску неприкаянности. Это новое чувство свободы поразило Федора до глубины души. Он попытался увидеть себя со стороны: скорченный, забившийся, как таракан, в каменную щель, дрожащий от холода – и рассмеялся. Но смех тоже был счастливым.

Проснувшись рано утром, он доел бутерброды и решительно полез вверх. Трещина в скале кончилась лишь через несколько часов. Выбравшись из нее и сбросив рюкзак, Федор долго лежал на спине. По синему морю вверх медленно плыли белоснежные лодки; в них не было гребцов, но, очевидно, лодки точно знали, куда они направляются. В какой-то момент Федору стало казаться, что не лодки плывут, а он сам куда-то движется. И в отличие от них он пока не совсем понимал, к какому берегу его несет.

Потом он встал и увидел захватившую дух картину. Прямо перед ним начинался короткий спуск в крошечное горное каре, посреди которого лежал кусочек неба. И по нему так же медленно плыли умные белые лодки. От этого опрокинувшегося неба на какое-то время в голове у Федора все смешалось. Он вдруг перестал понимать, где кончается небо и начинается он сам – скольжение лодок, переходящее в его собственное движение куда-то, делало эту границу несуществующей.

Каре окружало разорванное кольцо заснеженных скал. Травы возле озера не было и само оно не парило, но Федор узнал место по описанию. Сотня солдат с полковником Шергиным пришла сюда другим путем, не тем, который достался ему, но завещание полковника, безусловно, ждало его здесь.

Он спустился в долину и подошел к берегу. Вода была прозрачна до самого дна. Положив руку на поверхность озера, он тут же отдернул ее – обожгло холодом.

Федор не торопился. Он собрал свой туристический мангал, нашел у озера немного мха, разжег костер. Поставил воду и сварил суп из концентрата. В первый раз за четыре дня наелся вволю и ощутил от этого необыкновенное блаженство.

Только после этого он принялся за поиски. Задача облегчалась тем, что прапорщик Чернов был хорошим наблюдателем и имел великолепную память. Спустя десятилетия после войны он с точностью воспроизвел в книге подробности ландшафта и обрисовал скалу, в которой полковник Шергин схоронил заветную шкатулку. В скале было углубление, похожее на раскрытую слоновью пасть. Запустив туда руку по плечо, Федор наткнулся на имущество полковника.

Лакированная шкатулка красного дерева не пострадала от времени. Он вернулся к костру, сел и раскрыл ее безо всякого положенного в таких случаях трепета. Кроме бумаг, в ней хранились реликвии полковника. Федор вынимал их по очереди и долго, с внезапной грустью рассматривал. Небольшого формата Евангелие, сильно запачканное бурой кровью. Пожелтевшая фотография – молодая женщина с двумя детьми. Медальон с завитком светлых волос. Чеканный образок Богородицы на шею.

Бумаги, ломкие на сгибах и потемневшие, он перебирал еще дольше. Их было слишком много, чтобы сразу разобраться. На одной вверху стояло имя «прот. Иоанн Кронштадтский». На другой внизу – «Николай». Следующая была адресована «четвертому Государю, который приедет в Саров». Федора охватило странное волнение.

Это не был восторг профессионала, заполучившего в руки нечто важное. Голоса предков на старых документах могут звучать ясно и громко, но все же это голоса из той реальности, которой уже нет и никогда не будет. На бумагах полковника Шергина были записаны живые голоса, они звучали из какой-то другой реальности, которая никогда не умирала и никуда не уходила. Она была здесь и всегда, и Федор почувствовал ее присутствие. «Как если бы в дверь дома, где живут старые замшелые агностики, постучался настоящий Дед Мороз», – подумал он.

Впрочем, себя он никогда не причислял к агностикам.

Федор развернул письмо полковника Шергина. Оно так и начиналось: «Моему потомку, который найдет эту шкатулку».

«Милый мой, далекий, незнакомый...»

Он продирался сквозь почерк, как через дебри. Шергин-старший выложил в этом письме всю душу – она текла непрерывным потоком, не оставляя места для абзацев и точек. Дочитав до конца, Федор почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Он был во власти сожаления, светлой тоски и чего-то еще, чему и названия не придумаешь. Словно объял необъятное, и сам стал растянувшейся, истончившейся до предела оболочкой этого необъятного.

Смахнув слезы, он перечитал письмо заново.

«Мы свидетели гибели России, вам предстоит начинать все заново, наше свидетельство бессильно, пусть и выражено действием, войной против красной звезды, ваше свидетельство

будет подкреплено силой взывания к Богу миллионов невинно погубленных, их будет еще много, теперь только начало, это новое свидетельство тоже будет воплощено в действии, но я не знаю каком, вы должны будете подняться выше, чем мы, теперь гибель не остановить, все, что мы ни делаем, только усиливает агонию, я больше не хочу в этом участвовать, я снимаю с себя бремя бессильного действия, теперь только смириться с Промыслом и посылить спасать то, что еще можно – жизни людей, веру, память...»

Он аккуратно свернул листки и сложил в шкатулку, а саму ее сунул в рюкзак. День близился к вечеру, снег на скалах сделался синим, как незабудки. Федор прошелся вдоль берега озера, рассмотрел окружающие каменные стены. На первый взгляд они казались неприступными, но его не оставляла мысль, что впечатление обманчиво. Если как следует все продумать и, главное, предусмотреть... Если к тому же не пугаться заранее и не обещать себе легкой победы...

Он не знал, зачем это нужно ему. Как не знал и то, почему и для чего полковник оставил здесь письмо. Но причины того и другого, несомненно, существовали, и они были сильнее всего прочего. «Если есть гора, значит, надо на нее забраться», – сказал себе Федор. Потом он вспомнил Аглаину сказку про деревню под высокой горой и ее жителей, которые окаменевали на полпути к вершине. «Завтра я поднимусь туда, – подумал он, разогревая на костре ужин. – Раз уж пришел сюда, глупо не довести дело до конца. Но если я сорвусь и сломаю себе шею?.. А разве не этого я хотел, когда выпрыгивал из окна? Тогда было еще глупее...»

На рассвете, когда снег на вершине из синего стал нежно-розовым, будто стены древнего Кремля, Федор начал покорять гору. Если бы у него имелось альпинистское снаряжение – ледоруб, зубила и прочее, дело шло бы легче. Но в рюкзаке отыскались только складной нож и веревка, которую не к чему было приспособлять. Федор взял нож, перекинул моток через шею по курткой и прыжком взобрался на широкий уступ скалы.

Метрах в двадцати над головой проходила узкая трещина в породе, поднимавшаяся наклонно еще на полтора десятка метров. Распластавшись по поверхности скалы, Федор полз к трещине больше часа, цепляясь за едва ощутимые неровности. Главное, понял он с первых же метров, – почувствовать доверие к скале, прильнуть к ней, как младенец к груди матери, и повторять собственным телом каждый ее изгиб. Стать аморфным и текучим, как нагретый воск. Это было трудно, но в конце концов ему удалось вообразить себя каплей воска, достаточно сумасшедшей, чтобы ползти вверх против всех законов природы. Он даже закрыл глаза, чтобы зрение не мешало испытывать поразительное чувство перевоплощения и единения с каменной стеной. Это было настолько странное и великолепное ощущение, что Федор очень удивился, когда пальцы попали в трещину. Ее ширина как раз позволяла ставить в щель ногу и прочно держаться рукой.

Следующие пятнадцать метров он преодолел быстро и на крошечном выступе, которым заканчивалась трещина, немного отдохнул. Дальше скала уходила в наклон от него, но дело осложнялось слоем слежавшегося снега. Теперь приходилось расчищать поверхность, рискуя потерять равновесие, и конкурировать с плотным снегом за обладание каждой выемкой в скале. Перчатки, с обрезанными накануне пальцами, давно не грели, руки стали терять чувствительность. Мысли в голове тоже замерзли и почти не ворочались. Это было хорошо – меньше поводов впасть в панику. Федору казалось, что он пребывает в состоянии сомнамбулизма. Рассудок был отключен едва ли не полностью, а управляло им нечто из глубин подсознания, которое захватило его и несло наверх. Он наблюдал за собой точно со

стороны – как будто не он висел на скале, а нечто вроде дистанционно управляемого механизма. При этом механизм мог испытывать эмоции, ощущать самого себя, оценивать положение и просчитывать следующий шаг. Но в целом он мешал Федору – был слишком медлителен, неуклюж и мог в конце концов все испортить.

Из последних сил он забросил себя на узкую, длинную горизонтальную площадку и четверть часа отлеживался, отогревая руки над пламенем зажигалки. Пальцы были в крови, саднили сорванные ногти, перчатки на ладонях превратились в ветошь. Федор был счастлив.

Дальше на полтора метра вверх по гребню простиралась снежно-ледовая целина, блистающая на солнце цветными огнями. Подняв себя, Федор вскарабкался на уступ, встал в полный рост, вдохнул ветер, который дул в спину, будто вознамерился помогать, и пошел. Прочно утопив ботинок в хрустком, твердом снегу, он сделал шаг и вбивал в белую гляцевую корку другую ногу. Это продолжалось так долго, что он утомился считать шаги и стал смотреть в небо. Оно было фиалкового цвета с примесью лимона и напоминало о хорошем завтраке, от которого Федора отделяло теперь слишком многое.

Освободившаяся от безумного напряжения часть мозга вернула себе способность мыслить по-человечески. Федору внезапно подумалось, что, когда он дойдет до вершины, ему уже нечего будет делать в этом мире. Останется только живым вознестись на небо. Ведь поднимаются не для того, чтобы спускаться. Однако в этой мысли ему чудилась какая-то тревожащая неточность.

Было трудно дышать, он захлебывался ледяным воздухом, который колот изнутри, и с каждым шагом все сильнее казалось, будто он умер. А эта белая пустыня – препятствие, которое должны преодолевать души на пути к вечности.

Сделав очередной шаг, он ощутил под ногой лед и упал. Несколько метров кувыркался вниз, распахивая лицом жесткую корку снега. Эта же корка помогла остановиться, но руки были содраны в кровь. Лицо набухло теплой пульсирующей болью, и он почувствовал, как по лбу и щеке ползут кровяные дорожки.

Запретив себе думать о боли, Федор достал нож, подобрался к ледовой поверхности и стал выдалбливать упор для ноги.

Таких упоров ему понадобилось сделать около полусотни. Когда позади остался последний шаг к вершине, Федор выпрямился. Шатаясь и задыхаясь, откинул назад голову и сказал:

– Свободен.

А потом прокричал в небо:

– Свобо-о-де-е-ен!!!

По высохшей на ветру крови текли слезы, такие же теплые и быстрые. Федор стал поворачиваться, оглядывая пространства вокруг. На юге лежала бурая степь с ниточками-реками и паутинкой-дорогой. Далеко на востоке тянулся цепью поперечный хребет. На севере безбрежно ширилась бело-голубая с коричневыми прожилками горная страна. С запада протягивало прозрачно-розовые лучи утомленное солнце.

«Странное дело, – неторопливо думал он, – я здесь совершенно один, в полном, наиполнейшем и абсолютном одиночестве. Но отчего-то я чувствую необыкновенную полноту бытия. Словно во мне не одна жизнь, а множество. Меня наполняет множество разных людей, живых, умерших, знакомых и неизвестных. И мне это совсем не неприятно. А внизу это ощущение ужасно бы раздражало. Как все эти люди оказались во мне?.. Как будто я попал в центр мироздания, вокруг которого в одном вихре крутятся жизни миллиардов

землян. Но как я выберусь из этого вихря?»

Несмотря на сильный холод, продувающий насквозь ветер, голодное подвывание в животе, разбитое лицо и обмороженные, изодранные руки, ему не хотелось покидать вершину. Федор боялся потерять при спуске это потрясающее ощущение расширившегося жизненного пространства. На память пришли слова Аглаи о нежелании становиться частью мира, и неожиданно стал ясен их истинный смысл. «Она давно поднялась на свою царь-гору, – сказал он себе. – Тому, кто сделал это однажды, тяжело ладить с миром, который никакой царь-горы не видит. Но что-то мне подсказывает, она все-таки ответила на вопрос, спускаться ли с вершины в деревню под горой. Ведь лошадей наверху нет, и выжженной солнцем степи тоже, и бабушки Евдокинишны с дедом Филимоном, и всех остальных... и меня тут тоже не было». Последнее соображение чрезвычайно озадачило и встревожило Федора. «Как же мне встретиться с ней здесь? А что если мы с ней на разных вершинах?»

Чтобы немного согреться, он решил обследовать верхушку горы. Она представляла собой криво усеченный гребень, протянувшийся на сотню метров. Большая его часть была занята льдом и снежными наносами, но с южной стороны виднелись каменистые плечи, обдуваемые ветром. Минуя лед, Федор отправился по периметру. Ему хотелось еще чего-то необыкновенного, разительного, вроде того чуда, которое досталось полковнику Шергину и его солдатам – горячего озера и цветущего луга в окружении вечных снегов. Он понимал, что ничего такого с ним не приключится, но все-таки надеялся и жадно вглядывался в поверхность склонов.

Сначала он не поверил глазам, подумал, что мерещится из-за кислородного голода. Но подойдя ближе, отчетливо увидел в расселине, укрытой от ветра, цветок на длинной тонкой ножке. В наплыве внезапной нежности Федор упал на колени, прикоснулся задубевшими пальцами к лепесткам и сказал, с трудом двигая замерзшими губами:

– Чудо ты мое желтоглазое...

«Как же ты тут оказался?» Думать было легче, чем произносить слова. Да и цветку, наверное, все равно – говорят с ним или думают про него. «Ты тоже забрался сюда, чтобы почувствовать свободу?..» Федор колебался, сорвать ли цветок, не будет ли это грубым попранием свободы вольного существа. «А может, ты вырос здесь для меня? Ты ведь понимаешь, брат, что свободу человеку дает что-то большее, чем просто его желание быть вольной птицей... Правда, я пока не знаю названия этому чему-то...»

Он оборвал ножку цветка и бережно пристроил его в кармане на груди, под курткой и свитером. «Извини, брат, за неудобства, но ты ведь, как я слышал, жизнестоек...» Эдельвейс благодарно кивнул, прижавшись головкой к рубашке. Федор распрямылся и пошел обратно.

Теперь его с непреодолимой силой тянуло вниз, к Аглае, ее лошадям и всем остальным. Ему казалось, что он должен принести им нечто новое, поведать небывалое, дать почувствовать неведомое. Он ощущал себя Прометеем, идущим к людям с огнем в руках.

Проехаться вниз по ледяной горке на собственных тылах Федор не решился, хотя так и подмывало вспомнить детство. Но спускался все равно лежа на боку, нащупывая ногами зарубки во льду. Потом шел по своим же следам в снегу. Его трясло, руки и ноги давно ничего не чувствовали, словно их туго набили ватой, глаза слезились и в сеющих тени сумерках почти не видели. На карниз, отделявший поле снега от голой отвесной стены, он свалился, не заметив пустоты под ногами. Взвыв от боли, Федор подумал, что сломал руку и два-три ребра, но отвлекаться на это уже не было времени – подгоняла темнота. Пройдя по уступу, он обнаружил подходящий камень, прочно сидевший на скале, и обвязал вокруг него

веревку. Другим концом обмотал себя в поясе. Он не знал, достанет ли длины, но другого выхода все равно не было. Второй проблемой были руки – они отвратительно слушались и не хотели держать веревку. Несколько минут Федор разминал их, сжимая и разжимая кулаки, и снова грел над хиреющим огоньком зажигалки. Потом перелез на стену и пошел вниз.

Веревки не хватило на несколько метров. Перерезав ее, он пролетел это расстояние и снова расшибся. Избитый горой, окровавленный и помороженный, в расплосованной одежде, Федор трясущимися руками разжег костер. Ночь словно только этого и ждала, чтобы стугнуться окончательно. А затем ее разорвал вопль: Федор отогревал руки в теплой воде и орал благим матом от режущей тупым ножом боли.

...Возвращаться было приятно. Чуть-чуть щекотало внутри, героически страдали, но уже не так сильно, руки, шрамы украшали лицо, в рюкзаке лежали трофеи. Федор знал, что гора изменила его и из той гранитной глыбы, которую он чувствовал внутри себя до восхождения, наконец высеклось нечто, хотя и нуждалось еще в шлифовке. А значит, должно измениться и многое другое. Например, отношения с Аглаей. До сих пор эти отношения имели неправильный характер, думал он. Но теперь все встанет на свои места. Она должна понять, что отказываться от счастья неразумно и грешно. Ведь он мог навсегда остаться там, наверху – но сделал все, чтобы вернуться, к ней, ее лошадям и всем остальным...

Лошадей он увидел первыми. Потом, чуть в стороне, за кустами показался огонь, и до Федора донесся обеденный запах. Он невольно ускорил шаги и не увидел впереди подвоха. Нога попала в заросшую травой яму, подвернулась, и он грянулся оземь.

В отличие от предыдущих падений на этот раз обнаружился результат – Федор не мог подняться, нога стала совершенно недееспособна. Он увидел, как из-за кустов появилась Аглая. Было до слез жаль испорченного впечатления, которое он должен был произвести своим возвращением из поднебесья. Аглая, узрев его жалкое положение, припустила бегом.

– Я, кажется, наконец-то сломал ногу, – извиняющимся тоном сказал Федор.

Аглая села на колени и принялась ловко стаскивать с него башмак.

– Ты выглядишь как француз, отступающий из Москвы, – заметила она, ощупывая ногу. – Что с тобой произошло там?

– Всего не опишешь... Ай! Больно же.

– Это просто вывих. – Ее брови поползли вверх. – А что у тебя с руками? И с лицом?

– Боевое крещение, – пожал плечами Федор. – До свадьбы заживет.

– До какой свадьбы? – не поняла Аглая.

– До нашей, разумеется. Помоги мне встать.

Смолчав, она закинула его руку себе на шею и поддержала. Федор заковылял на одной ноге.

– Ты нашел, что искал?

– Нашел. А ты это серьезно?

– Что?

– Насчет француза.

– Нет, конечно. Просто подвернулось.

– А-а, тогда ладно. Но это сравнение в корне неверно. Я бы даже сказал, парадигмально неверно.

– Хорошо, – сказала Аглая и добавила тише: – Я так боялась, что ты останешься там.

Федор помолчал, размышляя о том, что она имеет в виду.

– Но я же не остался.

– Я думаю, это правильно.

Его разобрало недоуменное любопытство.

– Ты что же, обо всем знаешь? Откуда?

– Всего не опишешь... – коротко ответила Аглая.

Он рассмеялся.

– Кое-что описать можно. Я, например, когда спускался, думал, что я Прометей или что-то в этом роде. Но оказалось, я жалкий бурдюк и меня тащит на себе девчонка... – Он задумался. – А может, именно этого последнего штриха и не хватало...

Допрыгав до привала, где курился паром котелок с супом, Федор тяжело рухнул в траву и закатал штанину. Аглая достала бинт и занялась его голеностопом. От ее теплых прикосновений и уверенных движений Федора охватила приятная истома. Он извлек из кармана на груди слегка примятый эдельвейс и протянул ей.

– Это самый дорогой подарок, который я когда-либо делал, – сказал он честно.

– Не сомневаюсь в этом, – ответила она, взяла цветок и нежно расправила пальцем лепестки. – Я тоже кое-что нашла. Только вряд ли это может быть подарком. Покажу потом.

– Это еще не все, – продолжал Федор, залезая в другой карман.

– Что это за пакля? – удивилась Аглая.

– По-моему, это клочок длинной белой бороды. Я нашел его наверху, он торчал в щели между камнями.

– А почему именно бороды?

– Потому что в сто лет таких толстых волос на голове не остается.

– Ты думаешь, это Белый Старец? – Глаза Аглаи расширились. – Цагаан-Эбуген?

– Эбуген не Эбуген, – проворчал Федор, – а что дедушке, если судить по показаниям свидетелей, вторая сотня лет перевалила как минимум за середину – это факт.

– Но... если судить по показаниям свидетелей, – копируя его, произнесла Аглая, – их было двое, старый и молодой.

Полминуты Федор не находил что сказать. Затем дал волю эмоциям.

– Но это же меняет все дело! Картина совершенно ясна! И причем здесь этот Цагаан?!

Его ожгло резкой болью. Федор вскрикнул, но тут же все прошло.

– Вот и все, – молвила Аглая, вправив сустав. – Теперь порядок. Забинтую, и можешь ходить.

– Благодарю вас, – ошарашенно произнес Федор. – Это очень мило.

– А что полковник Шергин? – поинтересовалась она.

– С ним тоже все в порядке. Мы поговорили, и он поведал мне, как было дело.

– И как оно было?

– О, это долго рассказывать, надо начинать издалека.

– Обед еще не готов.

– Ну, тогда слушай... Все дело в том, что полковник Шергин очень любил Россию и был, что называется, добрым христианином...

Утро выдалось тихим и ласковым, как котенок. Солнце мягко подогревало спину, от кромки лиственного леса доносилась нежно-серебристая птичья акапелла. В воздухе носился аромат поздних цветов, а земля исходила прозрачным туманом, который окутывал все таинственным флером.

– Это здесь.

Аглая остановила лошадь и спешила.

Федор не слишком ловко, как тяжелый толстый шмель, приземлился на одну ногу.

– Может, скажешь?

– Увидишь сам. Рассказывать бессмысленно.

– Ох уж мне эти туземные тайны, – недовольно отозвался он.

Аглая привязала лошадей к одинокой голубой ели и направилась в сторону ручья, прыгающего по камням на склоне. На пригорке он образовывал крошечный водопад, разлетающийся цветными брызгами. Федор нагнулся к воде, чтобы напиться, а когда выпрямился, Аглаи не было.

– Эй! Что за шутки? – крикнул он.

Ее сосредоточенная физиономия вынырнула из какой-то щели за водопадом. Аглая приложила палец к губам.

– Тс-с. Иди за мной.

– Ну и кого из нас, спрашивается, больше влечет мистика? – пробормотал Федор, протискиваясь в вертикально вытянутую узкую дыру.

Здесь было темно и душно. Аглая включила фонарик и пошла вперед по расширяющейся пещере.

– Пахнетдохлыми мышами, – поморщился Федор.

Аглая остановилась.

– Что? – спросил он.

– Смотри.

Луч фонарика бегал зигзагами по груде блестящего хлама. Постепенно до Федора дошло, что груда имеет правильные геометрические очертания и сложена из отдельных пирамидальных брусков, отливавших рыжим блеском.

– Что это?

– Золото Бернгарта, – спокойно ответила Аглая.

Федор тяжело сглотнул и вцепился ей в плечо.

– Не подходи.

Но она и без того не двигалась с места.

– Надо сдать его государству, – предложила Аглая.

– Государству от этого пользы не прибудет. – Федора одолевали неприятные мысли.

– Рано или поздно кто-нибудь еще найдет его.

– Найдет, – согласился он и ненатурально оживленным голосом спросил: – Ну что, Аглая Бернгартовна, как делить будем – по правде или по справедливости?

– По правде, – ответила она, даже не улыбнувшись.

– Верно. Справедливость – дело темное. Пошли отсюда.

Федор забрал фонарь и подтолкнул Аглаю к выходу.

– Как у нас справедливость искать начинают, – объяснил он по пути, – так друг дружке лбы бьют и морды дерут. А потом за топоры берутся, на тачанки садятся и подковы на каблуки насаживают.

– И в Беловодье ходят, – добавила Аглая.

Они вылезли наружу и побрели к лошадям.

– Знаешь, эта история про Беловодье начинает мне нравится, – после раздумья поделился Федор. – Она засверкала новыми гранями.

– Вот уж не предполагала, что у нее могут быть новые грани, – удивилась Аглая.

– Просто у тебя замылился глаз. Ты ведь не будешь отрицать очевидное?

– И что тебе очевидно?

– Да то, что на пути у Беловодья стоит Царь-гора.

– Ах это, – небрежно сказала Аглая, взлетая на своего жеребца. – Этой новой грани много сотен лет.

– Неужели. – Федор невозмутимо двинул бровью и тоже одним махом оседлал лошадь.

Аглая одобрительно дернула уголком губ и ударила по крупу коня каблуками.

Полночь тянулась вязко и долго. Шергин отчетливо слышал тиканье и несколько раз взглядывал на старинные часы с кукушкой. Однако длинная стрелка не двигалась с места, будто заснула на цифре двенадцать. Он хотел спросить священника, что с часами, но усть-чегеньский батюшка, усмехнувшись в жидкую козлиную бороду, понял его без слов.

– Это, видите ли, весьма умные часы, немало выдавшие на своем долгом веку. Они чувствуют настоящее время.

– Какое настоящее? – подавленно спросил Шергин, ощущая себя разбитым и навсегда уставшим.

– То, которое сейчас в России остановилось. Время метафизическое. Долгая полночь, безвременье. Боюсь, как бы эти странные люди, называющие себя большевиками, вернувшись, не арестовали мои часы за контрреволюцию, – пошутил отец Илья и долил себе чаю из остывающего самовара.

– Вы боитесь только за часы?

– Часы безответны, человек же предстанет пред Господом и дела его будут взвешены... Что же тут бояться? Его несправедливости? – Священник с шумом и удовольствием втянул в себя чай. – Ответил я на ваше недоумение?

– Мое недоумение простирается слишком далеко, батюшка. В последние дни я пережил многое, мне даже казалось, что я нашел ответы на все свои вопросы. Но вот опять я перед разбитым корытом. Меня мучают сомнения...

– Они мучают вас оттого, что ответы действительно найдены, – благодушно ответил священник. – Уверен, вам это не показалось.

– Мне бы вашу уверенность...

– Извольте, поделюсь.

Шергин посмотрел на него долгим, затуманенным взглядом.

– Что же, в самом деле...

– Ну-ну, решайтесь. Быть может, вам не представится больше такой возможности.

– Может быть... – Шергин импульсивно встал и, пройдясь, поворотился к стене с часами, заложил руки за спину. – Я, понимаете ли, батюшка, монархист до мозга костей...

– Это не преступление, – покачал головой священник, – сие весьма достойный образ мыслей.

– Тогда ответьте мне, – Шергин порывисто развернулся, – почему государь, зная, что ждет Россию, – а он знал это, ему было передано, – почему он совершал ошибку за ошибкой? Почему не сумел предотвратить все это?

– Что ему было передано? – безмятежно спросил священник.

– Пророчество, предсказание, ясновидение – называйте как хотите, – нервно проговорил Шергин и уселся на стул.

– Ах вот оно что. Видите ли, пророчество – это не приказ, спущенный с неба. Иуде никто не повелевал пойти и предать. Напротив, Иисус остерегал его, говоря, что один из двенадцати станет предателем. Предсказание – лишь предупреждение о том, что может случиться.

– Да, верно. Оно и случилось. Николай был бессилён остановить это. И полночь будет длиться долго. Гибель могла быть отсрочена, отменена вовсе, если бы были жесткие

действия, если бы Россия покаялась...

– Но мы не покаялись. И государь-император выбрал свой путь.

– Тоже верно. Но и мы должны выбирать. Принять ли гибель России за реальность – и смириться, сложить оружие, сохранять Россию лишь внутри себя. Или же принять эту гибель только за вероятность, которую еще можно миновать, – и продолжать драться с этими... с этими красными дегенератами.

Он замолчал, бессильно обмякнув на стуле.

– Ваше лицо сейчас стало страшно, – произнес священник.

– А, Франкенштейн, – пробормотал Шергин.

– Гм... Ваше прозвище? Оно вам не подходит, – убежденно заявил отец Илья. – Однако я не о том. Неужто вы не видите повсюду знаки, глаголы небес? Только слепой их не узрит. И не приходило ли вам в голову, откуда на Руси столько зловонного гноя, который изливается из вскрытого нарыва? Думаете, большевики – мировое зло? Оставьте эти нелепости для барышень. Коммунары – скальпель в руках Господа. Какое же вы право имеете поносить инструмент, который держит Его врачующая десница? Да запретит вам Господь произносить хулу на них.

Шергин ошеломленно наблюдал за энергичными подскоками священнической бороды.

– Вы совершенно серьезно говорите это?

– Совершенно серьезно. Вы, русские офицеры и солдаты, готовы на смерть за умирающую Россию. Почему же вы думаете, что умирать сейчас нужнее, чем жить для России и своих ближних? Русский человек умеет умирать, а вот жить ему надо учиться, особенно нынче. Вот где геройство, а не в том, чтоб считать себя спасителями России. Благородство и рыцарство хорошо, а только Бог, может, и не требует от вас теперь в жертву ваши жизни. Да и так уж сколько полегло вас по всей земле русской. Думаете, не хватит? Узрите перст Господень, и будет вам благо!

Шергин встал, подошел к священнику и опустился на колени.

– Благословите, отче, – смиренно попросил он.

Тот размашисто перекрестил его, и полковник приник губами к благословившей руке. Затем вернулся на место.

– Я благодарен вам за эти слова. Однако скажите, откуда вам все это знать – про знаки, перст – в вашем медвежьем углу? Неужели отсюда так хорошо видно, что происходит в России?

Отец Илья прищурился. По лицу его разбежались мелкие веселые морщинки.

– Из медвежьего-то угла как раз бывает виднее. Не полагаете же вы, ваше высокоблагородие, что все важные события совершаются в центрах? А может, как раз в таких-то углах?

– Это какие же, например? – Шергин точно так же сощурился.

– Ну, например, через сто лет в медвежьем углу найдут вашу могилу, и это станет переломным моментом в истории новой России. А?

– Для священника у вас своеобразное чувство юмора, – усмехнулся Шергин.

– Да уж какое есть... Или вот, например. – Отец Илья повернулся к шкафчику, открыл дверку и запустил руку вглубь, за книги. Спустя мгновение на столе между самоваром и чашками на блюдах обосновалась пирамидка из золота. – Видали такую премудрость?

– Откуда это у вас?

Шергин был сражен внезапным явлением старой знакомой.

– Не имеет значения. Но по вашему лицу я заключаю, что вам сие не впервые лицезреть.

Вероятно, эти штучки путешествуют разными путями.

– Вы считаете, тут замешаны красные? – спросил Шергин.

Священник удрученно покачал головой.

– Вряд ли. Замешаны интересы посильнее. Большевики, что, они всего лишь дети. Злые, умственно изувеченные дети. Но они орудие – как человеческой корысти, так и милосердия Божьего. – Он вздохнул, помолчал и сказал: – А войну эту вам не выиграть. Дух в белых войсках не тот.

Шергин снова посмотрел на умершую в вертикальной позе стрелку часов. На этот раз ему показалось, что она еле заметно сдвинулась.

– В последнее время, – проговорил он, – меня посещает одна пренеприятная аналогия. Не так давно я и мои солдаты оказались свидетелями языческого камлания в здешних горах. Шаман призывал духов, чтобы исцелить болезнь, которую они же, по туземным верованиям, наслали... Кончилось все это весьма неприятно, но суть в другом. Вы ведь понимаете, о чем я говорю? На тяжело больную Россию мы своими действиями призываем все тех же духов, которые едва ли не причина ее нынешнего состояния. Мы думаем, что исцеляем ее, а она уходит от нас все дальше в потусторонний мир.

– Потусторонний мир... это вы метко выразились. А давайте-ка мы с вами, – батюшка оживился, задвигался, – еще чайком побалуемся.

– Благодарю, – Шергин поднялся, – я должен проверить караулы. Завтра, надеюсь, мы с вами увидимся.

– Постойте-ка, не хотите ли забрать эту вещицу?

Оттопыренным мизинцем священник показал на пирамидку.

– Не имею никакого желания.

– Берите, берите, – настаивал отец Илья. Он взял пирамидку и, поднявшись, втиснул ее в руку Шергина. – Доведется, вернете по адресу.

– Я не совсем понимаю вас...

– Да чего уж тут понимать. Ну, теперь идите с Богом.

Автоматически сунув пирамидку в карман, полковник коротко поклонился и вышел.

Безлунная ночь полностью скрывала в своем чреве убогие хибары Усть-Чегеня, деревянную церковь, истинное чудо для здешних мест, и даже белые горные зубцы – белки по-местному. Пять с лишком сотен полковых душ ночевали у костров в степи, начинавшейся прямо за огородами и курятниками. Обходя посты и окликая часовых, Шергин не переставал думать о том, что в ближайшие дни все разрешится. Правда, окончательный исход был неясен, но в любом случае на его мундир падет густая тень позора... Это было тяжелее всего.

До третьего поста он не дошел. В горло впиваясь налетевшая удавка, его резко дернуло и повалило наземь. Затем на него навалилось нечто многолапое и отвратительно пахнущее, стало возиться, затыкая рот вонючей тряпкой, намертво стягивая руки и ноги. Шергин пытался отплевываться, потому что от тряпки тошнило, мычал и изворачивался. Тогда его оглушили ударом по затылку.

...Сквозь серый туман, похожий на слизь, медленно проступали очертания лица, совершенно чужого, незнакомого и в то же время отзывавшегося в голове странным всплеском, круговертью обрывков памяти. Шергин пошевелился. Руки и ноги были свободны, он сидел на полу, упиравшись спиной в мягкое. Перед ним стоял, наклонясь, человек

с гладко зачесанными назад длинными волосами, с короткой треугольной бородкой и глазами, похожими на рисованные очи египетских богов и фараонов. Он был одет на восточный манер в красный шелковый халат, подпоясанный широким черным кушаком.

– Узнаешь меня?

– Бернгарт, – произнес Шергин, с трудом удерживаясь от тошноты, которую вызывала уже не мерзкая ветошь во рту, а тупая боль, переливавшаяся в черепе.

– Ошибаешься.

Человек в халате выпрямился, ушел в сторону. Шергину стоило усилий проследить его передвижение.

– Я – император и верховный повелитель Алтайской Золотой Орды, – сказал Бернгарт, усаживаясь на круглую подушку, возле которой стоял низкий квадратный стол, настолько низкий, что походил на подставку для ног.

Помещение тоже было с низким потолком, небольшое и с круглыми стенками, завешенными тканью. Шергин догадался, что это юрта.

– Обращаться ко мне следует – «повелитель». Но тебе по старой памяти позволяю называть меня просто – господин генерал.

Бернгарт принялся раскуривать трубку на длинном чубуке.

– Говорил ведь я тебе – будешь меня искать.

– Я искал вас потому, Роман Федорович, – медленно проговорил Шергин, борясь с головокружением, – что обещал вашему человеку узнать о его посмертной судьбе. Это бедолага был почему-то уверен, что вы воскресите его из мертвых.

– Вижу, удар по голове не лишил тебя чувства юмора и солдафонской фамильярности. Что ж, поговорим, как это называется, по душам. Тот болван едва не провалил дело, порученное ему, поэтому ни о каком воскрешении речи быть не может. Он мне не нужен.

Дым, наполнивший юрту, имел сладковато-приторный запах, а дрожащие кольца в воздухе казались венчиками призраков.

– Что вам нужно от меня? – выдавил Шергин.

– Абсолютно ничего. Но у меня возникла небольшая прихоть – дать тебе шанс изменить свою судьбу.

– Мне нечего в ней менять.

– Ты этого и не сможешь – без меня. Одиннадцать лет назад я заглянул в твою судьбу и немного сдвинул ее линию. Теперь я дам тебе возможность вернуть ее на место.

– Ничего уже не вернуть, – глухо проговорил Шергин.

– Твоя жена и дети мертвы. Но ты можешь получить гораздо больше, если смиришь гордыню и подчинишься мне. Я хозяин этих мест, и здесь решается мистическая судьба России. Да что России – всего мира. В недалеком будущем Алтай делается столицей всемирной империи. Ты можешь вписать себя в ее историю, если не настолько глуп, чтобы отвергать мое предложение.

Бернгарт щелкнул пальцами, в юрте появился туземец с подносом в руках. Он расставил на столе кофейный набор, наполнил из чайника чашку и так же бесшумно исчез.

– Можешь налить себе кофе, – не то предложил, не то велел Бернгарт.

Шергин не сдвинулся с места.

– До сих пор я слышал только про мировую революцию, – произнес он, – но про всемирную империю – впервые.

– Мировая революция, всемирная демократия... Все это лишь пути к мировой империи.

– И в начале этого пути большевики развалили Российскую империю на куски, – с сарказмом сказал Шергин. – Где теперь Польша, Финляндия, Прибалтика, Украина?

– Это первый этап. Пускай жрут столько свободы, сколько влезет. Потом их проще будет встроить. Они даже не заметят этого, а когда заметят – обрадуются.

Бернгатт допил кофе и аккуратно промокнул губы шелковым платком.

– Скажу более того. Не далее как на прошлой неделе адмирал Колчак имел конфиденциальную беседу с... неважно с кем. Ему была предложена всемерная помощь в обмен на согласие зваться Верховным правителем не России, а Сибири, оставив западные территории большевикам.

– И что Колчак?

– Ничего. Он не согласился. Предложение было слишком вызывающим по форме и неубедительным по сути.

– Кто вы, Бернгатт? – спросил Шергин. – Не красный и не белый, так кто же?

– Как ты все-таки предсказуем. Я знал, что ты задашь этот неумный вопрос. На определенном уровне это уже не имеет значения – большевик, республиканец, франкмасон или агент британской разведки. Однако их всех объединяет одно – им всем нужна эта война в России. Они растут на ней, как плесень. Но я не осуждаю их, вовсе нет. По секрету могу открыть тебе, кто начал эту войну.

– Кто же? – без особого интереса спросил Шергин.

– Я.

Бернгатт снова взялся за трубку и с видимым удовольствием выпустил несколько сизых колец дыма.

– Понимаю. Да, – сказал Шергин, решив, что перед ним сумасшедший. – На определенном уровне так все и начинает представляться.

– О, я вижу, ты штудировал философские труды. Кто бы мог подумать – ведь ты производил впечатление ограниченного служаки. Но Шопенгауэр так и не приблизился к пониманию. Ему не хватило смелости. Мир как воля и представление... Весь вопрос в том, чьи это воля и представление. Не думаешь же ты, что все эти Бронштейны и Ленины исполняют свою волю и наделены *такой* силой представления?

– Я, безусловно, далек от того, чтобы так думать. Как раз сегодня ночью... или вчера?.. у меня был разговор на эту тему.

– Интересно знать с кем.

– Так, с одним священником.

– Попы! – пренебрежительно бросил Бернгатт. – Вот курьезное племя. Какие поумнее как будто и мыслят верно, да все не в ту степь... А что, не говорил ли этот поп обо мне?

– Не говорил. Но кое-что попросил передать.

Шергин ощупал карманы и извлек золотую пирамидку.

– Ваше, полагаю, имущество.

Догадка оказалась верной.

– Ах это. Разумеется, мое. Оно идет и красным и белым для поддержания священного огня войны. Всюду нужны люди, выражающие определенный образ мыслей и действий. Особенно в белых армиях, где еще много болванов играют в благородство и рыцарство. Достаточно много, чтобы слишком быстро проиграть эту войну.

– Примеряете на себе роль антихриста, Бернгатт? Вы похожи на комедианта. Для чего вам все это? Бросьте и пойдите в монастырь на покаяние.

– Покаяние? – Бернгарт театрально громко расхохотался. – Оно для безмозглых старух. Новое вино не вливают в старые мехи. Это очищение. Большевики смели всю жирную либеральную мразь во главе с проституткой Керенским. Это очищение в крови! – От яростного восторга глаза его стали круглыми, сильно выкатились из орбит и налились красным.

– Да, очищение, – мрачно согласился Шергин.

– Я чувствую твой страх, – продолжал Бернгарт, пристально глядя на него, словно магнетизировал. – Правильно, бойся. Я создам мировую империю. В ней будет все по-другому. Все. Ничего человеческого. Эта тварь – человек – или обретет суть или исчезнет.

– Какую суть? – вяло спросил Шергин, ощущая усилившуюся дурноту. Голос Бернграта проникал в череп сверху, будто по голове били молотом.

– Долго объяснять. Да ты не поймешь. Для этого надо перестать выворачивать душу перед попами. В конце концов это унижительно и нелепо. Попы не могут дать суть. Она дается другими.

– Я догадываюсь кем.

Бернгарт швырнул ему бумажный прямоугольник.

– Теми, кому я несую это.

Шергин увидел у себя в руке рисованную открытку дореволюционных времен. На ней был изображен раввин, держащий в одной руке обезглавленного жертвенного петуха, в другой нож. Рядом лежала отрезанная у петуха голова государя Николая Александровича в императорской короне. «Да будет это моим выкупом...» – прочитал Шергин и в омерзении выронил открытку, машинально вытер руку о шинель.

– Кровь его на нас и детях наших, – замогильным магнетическим голосом произнес Бернгарт. Затем снова расхохотался. – Да полно. Ты бледен как смерть. Поговорим о насущных делах.

– Забавно, – выдавил Шергин.

– Что забавно?

– Вспомнилась одна встреча. В Забайкалье, в августе прошлого года... Тоже, кстати, Роман Федорович. Фамилия еще такая... гремучая. Унгерн фон... Не помню. И тоже мечтает об империи. Поскромнее, правда, от Желтого до Белого моря. Бредит восстановленной монгольской державой. Монархист ярый, но при том ламаист, что само по себе бессмыслица. Хотя по рождению лютеранин. А вы, Бернгарт, еще не приняли ламаизм?

– Все религии – искажения древней истины.

– И что вас всех так тянет на этот панмонголизм, – будто не слыша его, говорил Шергин. – Дикая азиатчина, язычество непролазное, копыто дьявола четче некуда, интеллект, философия – одно изуверство. Культура бессмысленности, разрушения смыслов. Большевизм родился не в Европе, хотя и она приложила руку, а в Азии. Орда – это правильное название, точное. Европа использовала большевиков как кувалду для России. Но и сама скоро испугается этой кувалды... А впрочем, я не сомневаюсь, что этот Унгерн плохо кончит. Что-то такое у него в лице... обреченное.

Он замолчал, поднял голову и посмотрел на Бернгарта. Тот сидел, полуотворотившись, и тоже безмолвствовал. Снаружи слышалось приглушенное войлоком юрты цоканье копыт и отдаленные клики туземцев.

– Роман Федорович... фон... – сам с собой заговорил Бернгарт. – Карикатура... запасной вариант?.. Но у меня тоже нет сомнений, что этот «фон» плохо кончит.

Он повернулся.

– Я дал тебе шанс и жду ответа.

– Я хочу уйти, – сказал Шергин.

Бернгарт помолчал.

– Дурак был, дураком и остался. Куда ты уйдешь?

– В Монголию. Или Китай.

– Помнишь, что я говорил тебе? Будешь зарабатывать извозчиком и сдохнешь нищим на завшивленном одре.

– Меня это не остановит.

– Тебя? А твои оборванцы-офицеры? Солдатня?

– Они уйдут со мной. – После нескольких секунд раздумья он добавил: – Я обещаю.

Слово русского офицера.

– Слово русского офицера мне никогда не казалось хорошей гарантией. Но тебе я верю. А если не сможешь ты, твое обещание выполню я. Если кто-то из них останется здесь, они уйдут... путем всякой плоти, как говаривали в старину.

– Я могу идти?

– Разве тебя кто-то держит?

Шергин не спеша поднялся. Спешить было невозможно – всякое резкое движение отзывалось в голове боем молотков. Так же неторопливо он вышел из юрты, огляделся.

Над горами поднимался рыже-пепельный рассвет. Вокруг была голая степь с редким прошлогодним сухостоем. Поблизости от нескольких юрт паслись десятка два стреноженных лошадей, за ними приглядывал калмык. Еще трое туземцев стояли в карауле. Слышался храп, фырканье коней и бормотанье птицы, прячущейся в сухой траве.

Шергин пошел на восток, приблизительно определив направление. Было очень холодно, но мороз быстро прояснил голову, и ему стало легче.

Скоро его догнал верховой калмык. В поводу он вел запасного коня.

– Алтан-хан приказал дать тебе коня и показать дорогу, – на ломаном русском сказал туземец.

Шергин сел на лошадь. Калмык поскакал впереди, забрав немного в сторону.

Рассвет из рыжего сделался янтарно-палевым, и воздух над степью словно заболел желтухой.

Когда до Усть-Чегеня оставалось не больше километра, калмык отстал. На околице деревни перед полковником выскочил солдат с винтовкой наготове и застыл изумленный.

– Ва... вашеско... – начал он заикаться.

– Пшел прочь, – крикнул Шергин, вдруг разозлившись на то, что никто, кажется, не заметил ночного исчезновения командира полка.

Недотеп-часовых, разумеется, следовало примерно наказать. В другое время и в другом месте он скорее всего велел бы расстрелять каждого третьего из них. Но теперь было не до того.

Он поскакал по деревенской улице, поднимая длинный хвост пыли и переполох среди псов и петухов. Совместными усилиями те устроили такой концерт, что в движение пришла вся деревня. Из халуп выбегали заспанные офицеры, натягивая на ходу сапоги и хватаясь за оружие. В окна просовывались розовые лица баб с перепуганными глазами, некоторые на всякий случай принимались визжать, другие, унимая собак, составили им аккомпанемент.

Шергин остановил коня возле церкви, спрыгнул, постоял, перекрестился на деревянную

маковку, потом сел на крыльце и стал ждать. Лошадь, обнаружив источник прокорма, принялась щипать молодую траву.

В скором времени перед ним собралось с полдюжины офицеров. Шергин, не поднимая взгляда, чертил палкой в песке фигуры.

Вслед за офицерами прибежал Васька и бесцеремонно заблажил:

– Вашскородь, да где ж вы ночью-то все бродите, не спите, а я уж все глаза проглядел, рази ж дело это – до свету шататься...

– Поди вон, – сказал Шергин, негромко, но таким голосом, что Васька осекся и спрятался за спины офицеров.

– Петр Николаевич, – раздался тревожный голос прапорщика Чернова.

Шергин посмотрел на него, словно не узнавая.

– А, это ты, Миша.

– Я, Петр Николаевич. Что с вами?

– Господин полковник, в самом деле, объясните нам, что происходит.

Шергин бросил палку, отряхнул руки.

– У меня, господа, для вас известие. Убедительно прошу отнестись к нему со всей серьезностью и трезвостью.

– Откуда эта лошадь, господин полковник?

– Лошадь? – Шергин недоуменно взглянул на коня и пожал плечами. – Мне одолжил ее император Золотой Орды.

– Что? Что вы такое говорите, господин полковник? – заволновались офицеры.

– Вы смеетесь над нами? – громче других прозвучал голос ротмистра Плеснева.

– Нисколько. Мне, господа, не до смеха. Сегодня ночью я принял окончательное решение.

– Позвольте узнать какое.

– Я принял решение вывести полк за границу. Монголия близка, господа. Для России мы ничего другого более сделать не можем. Только это...

– Простите, господин полковник, но вы, очевидно, сошли с ума, – среди общего гробового молчания проговорил ротмистр.

– Я не сошел с ума.

– В таком случае, вы предатель, – спокойно произнес Плеснев. – Или трус. Что в общем одно и то же.

Шергин поднялся и, глядя в сторону, сказал:

– Ротмистр, будьте добры сдать оружие. Я арестую вас за распространение паники.

– Господа, – возвысил голос Плеснев, – полковник Шергин предатель и трус и должен быть немедленно взят под стражу.

– Петр Николаевич, в самом деле...

– Это измена...

Но протестующие выкрики быстро смолкли под взглядом полковника.

– Господа, я не принимаю этих обвинений, они бессмысленны и напрасны. Через полгода, самое большее через год от Белого движения в России ничего не останется. Я хочу спасти хотя бы немного.

– Спасти свою шкуру, – сквозь зубы процедил Плеснев.

– Поручик Овцын, прапорщик Чернов, – Шергин оставался невозмутим, – примите оружие у ротмистра и проводите его под арест.

С холодным, непроницаемым выражением лица ротмистр достал из кобуры револьвер. Миша Чернов протянул руку.

Выстрел стал неожиданностью для всех.

Прапорщик растерянно обернулся. Ротмистр опустил револьвер и, словно удивляясь, сказал:

– Вот так.

Из-за спин офицеров с пронзительным воем выкатился Васька, бросился к Шергину, упал рядом и бережно обнял. Полковник хрипел и задыхался.

Из глаз прапорщика Чернова брызнули слезы.

– Как вы... как вы могли! – крикнул он ротмистру. – Вы мерзавец! Убийца!

Плеснев молча повернулся и отправился прочь. Задержать его ни у кого не возникло мысли.

– Что же вы наделали, господа офицеры?

К раненому подошел священник в барашковой телогрее поверх выцветшей рясы. Никто не видел, откуда он появился. Он опустился на колени и, отстранив безутешного Ваську, принялся быстрыми движениями расстегивать шинель полковника. Прапорщик Чернов, встав за его спиной, спросил дрожащим голосом:

– Он умрет?

Священник не успел ответить. Шергин открыл глаза, сфокусировал взор на батюшке и с усилием проговорил:

– Видите... я все-таки ушел... от судьбы...

Затем взгляд полковника переместился к небу и остановился навсегда.

Васька, вцепившись себе в волосы, побежал с воплем по деревне. Священник поднялся, перекрестился и немного торжественно произнес:

– Вот человек и вот его подвиг.

– Какой подвиг? – беззвучно глотая слезы, спросил Миша.

– Подвиг любви.

После этих слов раздался еще один выстрел, совсем уж внезапный. Стреляли издалека, пуля задела кого-то из офицеров. За ней прилетели другие, заставив всех броситься врассыпную.

Прапорщик Чернов колебался: остаться возле тела Шергина или отбиваться от неприятеля вместе со всеми. Его сомнения разрешил священник:

– Не делайте глупостей. Уходите. Уходите как можно дальше отсюда. Я похороню его сам.

Бой шел весь день. К ночи отряд полковника Шергина прекратил существование.

«Почему я не взял это проклятое золото?» – размышлял Федор, шагая по деревенской улице. Он разыскивал Аглаю, чтобы сообщить ей пренеприятную весть: ему необходимо возвращаться в Москву. Впрочем, он лишь тешил себя надеждой, что новость окажется для нее неприятной, но наверняка знать не мог, и это также добавляло его мыслям полынную горечь.

«Несколько слитков хватило бы с лихвой покрыть чертов алмазный долг. Как она сказала тогда? Крещение снимает все долги. Легко про это рассуждать, когда всех долгов на душе – девичьи грезы и ненапудренный нос...»

В глубине души Федор, конечно, понимал, что лукавит сам с собой и по золоту вздыхает только потому, что не вздыхать было бы ненатурально для человека со здоровыми рефлексам. В действительности все было ясно, как дважды два, еще там, в пещере. История с алмазами кое-чему научила его. Взять золото означало бы отрабатывать потом долг, но хозяевам пещерного золота деньги, разумеется, не нужны – они, пожалуй, запросили бы душу. Собственная же душа с некоторых пор была Федору дорога, и отдавать ее кому попало он не собирался – поскольку ею уже владела Аглая.

Кроме того, какая-то часть его души принадлежала полковнику Шергину. Перечитав несколько раз письмо и прочие бумаги из шкатулки, Федор исполнился необыкновенного волнения. Он проникся мыслью о том, что русская история – древняя и загадочная мистерия, которую под силу разгадать только тем, кто будет жить в последние времена. Вернувшись из гор, он поделился этим рассуждением с отцом Павлом, а в ответ получил не менее загадочную, чем русская история, улыбку.

– Дорогой Федор, вы совершенно правы. История России загадочна ровно в той же степени, в какой и христианская Церковь является тайной организацией.

– Что вы имеете в виду? – воззрился на него Федор.

– Лишь то, что участником этой мистерии, равно как и христианских таинств, может стать любой. Нужно лишь принять входное посвящение.

– Вы меня пугаете.

– Ну что вы. Это только маленькие дети плачут во время крещения. Взрослому человеку не пристало.

– Хотите сказать, если я крещусь, мне откроются все тайны исторической мистерии? – не поверил Федор.

– Сформулировано грубо, но в общем суть верна. Став христианином, вы многое начнете воспринимать по-иному. Даже самые простые вещи.

– Эти простые вещи тоже покажутся мне участниками мистерии?

– Более или менее. Хотя, вероятно, ваши анархические устремления еще долго будут вводить вас в заблуждения.

– Мои анархические устремления? – удивился Федор. – Что вы, ну какой из меня анархист?!

– О! И какое же у вас нынче самоопределение, позвольте узнать? – любопытствовал отец Павел.

– Так ведь монархист я, батюшка. Как писал один философ после революции, «я стал, по подлому выражению, царист». А вы что подумали?

– А я, представьте, так и подумал. Из анархистов в монархисты – это для русского человека очень естественно. Как и обратно, минуя середину. Потому как середины для русского человека не существует.

– Тудыть ее в качель, – ввернул Федор.

– Имейте в виду, быть монархистом в наше время немодно. Нынче на дворе снова «завоевания февральской». Самодержавие – весьма сложная форма власти. Остальные по сравнению с ней – упрощение. Люди привыкли, что правит бездушный механизм, машина государства, им так легче понимать и ругать происходящее. Смысл монархии как живого, очень чувствительного организма им недоступен. Следовательно, отвергаем.

– Знаете, меня это не пугает. Когда я был на горе и читал завещание полковника... а ведь действительно завещание, самое настоящее... я просто понял, что получил наследство. Не эту шкатулку, а что-то намного большее. Затрудняюсь выразить это словами, но вы должны понять... вы же имеете дело с такими вещами, с нематериальным уровнем...

– В Церкви это имеет вполне определенное название – благодать Святого Духа. Ваше приобретение также должно иметь обозначение, – убежденно заявил отец Павел, – иначе вас легко будет сбить с толку.

Федор посмотрел на него внимательно, кивнул.

– Вы правы. В таком случае скажу просто – я получил в наследство Россию. Ту, которая жила в сердце полковника Шергина. В его время эта Россия уже не существовала. Да и была ли она когда? Но в мое время она еще не существует. Еще. Вы понимаете?

– Прекрасно понимаю.

– А эти документы, – Федор вынимал из шкатулки бумаги и раскладывал на столе, – я хочу отдать вам. Вы лучше меня знаете, как ими распорядиться. И это тоже. – Поверх писем легло старое Евангелие в пятнах крови.

Отец Павел трепетным движением руки открыл книгу с покоробившимися страницами, прикоснулся к бурым метинам. Затем перебрал бумаги.

– Письмо вашего прадеда вы тоже отдаете?

– Разумеется. Оно принадлежит не мне. Вернее, не только мне.

... Не найдя Аглаи, Федор вернулся домой и с грустью стал паковать вещи. Несколько месяцев мысль о возвращении в Москву не посещала его, что само по себе, если задуматься, было странно. Лето семимильными шагами стремилось к осени, кончались и деньги, но вспомнить о былом и ощутить тоску в сердце его заставил лишь звонок матери. Она сообщила, что отец лежит в больнице, избитый до полусмерти. На все вопросы Федора ответить не могла. Плакала в трубку. Просила приехать. Он обещал, холодея от предположений.

Дед Филимон собирал на стол обед. Басурман терся о ноги, выговаривая себе кормежку. С печки наблюдала за всем вполглаза бабушка Евдокинишна. Другой половиной глаза она впадала в прежнюю блаженную созерцательность, но время от времени возвращалась из грез и оповещала всех о том, что пора ей помирать – ангелы зовут. «Да погоди ты, мать, – отмахивался дед Филимон, – успеешь».

– А что, Федька, – спросил дед, – не сладилось у тебя с Аглайкой? А то давай, сосватаю. Вы, нынешние, ничего сами не умеете. А тут, понимаешь, подход нужен. Девка – она, как конь с норовом, брыкаться будет, пока сил хватает. А обессилеет – тут ты ее и бери. Измором, значит.

– А если она двужильная? – буркнул Федор.

– Так и ты не будь дурак. Думаешь, она двужильная, а она глядь – сломалась, как хворостинка, и тебе к плечу носом липнет. То-то, Федька. Зри в оба... Кого это там принесло?

В дверь стучались – негромко, вежливо. Оказалось – отец Павел, и с ним еще один – тоже в рясе и с бородой, но без креста, на вид благообразный.

– Из неместных будете? – сразу вычислил его дед Филимон.

Отец Павел представил гостя. То был его однокашник, приехал из Бийска, сан имел дьяконский, но не простой, а с приставкой «архи». Федор, внезапно оробев от этого «архи», двинул шеей в кургузом недопоклоне.

– Так вы и есть потомок полковника Шергина? – дружелюбно пробасил гость.

Дед Филимон, не растерявшись и не дав Федору ответить, пустился в обгон:

– А вы, значит, и есть теперешний идейный авангард? Раньше-то все говорили: опиум для народа, попы отсталые. А теперь все по телевизору показывают, как с ними власти за ручку здороваются. Внук вон туда же: креститься мне, говорит, али не креститься? А прежде вроде не заявлял.

С печки донеслось шамкающее недовольство:

– Да ты сам-то крещеный, даром что нехристь. Мало□го возили в Алтайск, к попу на дом.

Дед Филимон слегка осадил, пнул кота под хвост и сел на табурет.

– Теперь, говорит, царя вернуть надо. Будто в бумагах про то писано, которые с гор приволок. Врет, думаю. А вы как считаете, господа-товарищи хорошие?

– Да погоди, дед, – поморщился Федор и пригласил гостей садиться.

– Басурман, вражья морда! – взревел вдруг дед, подскакивая на месте. Кот, по какому-то своему кошачьему умыслу спутавший его ногу с когтеточкой, в испуге отлетел к окну, прыгнул, тряхнул хвостом и исчез на улице.

– Отчего имя такое у кота? – спросил дьякон, с интересом пронаблюдав за маневрами Басурмана.

Дед Филимон в карман за словом не полез.

– Так не блюдет свою кошачью вероисповедность, – с неким вызовом ответил он. – Мышей не ловит, а все на сторону ходит – к соседке прикармливаться. Она, дура, его уважает и жрать дает, потому как он голодным прикидывается и на хозяев ей клеветает. На меня, значит. Как же не басурман? А вы себе шей-то накладывайте, господа-товарищи, чего столбом сидеть. Федька, тарелки подай людям... Ага, так вот я и говорю, про опиум-то...

– А позвольте вас, уважаемый Филимон Иванович, спросить, – сказал дьякон, берясь за тарелку и половник. – Любовь вы к какой категории относите – тоже, верно, опиума?

– Это в каком же смысле? – дед от неожиданности вопрошал с ложки на стол.

– А в прямом. Отчего это, скажите, советская власть вместе с религией выбивала из своих граждан любовь к ближнему? Брат на брата, жена против мужа, дети против отца, доноительство на соседа – где ж тут любовь? Нету. Один звериный страх, идолопоклонство. Уж если что опиумом определять...

Он развел руками и принялся хлебать щи. Федор воспользовался моментом, чтобы вставить слово:

– Кстати, об идолопоклонстве. Как я понимаю, полковник Шергин абсолютно доверял пророчествам о России, которые носил с собой. Настолько доверял, что ни капли не сомневался в безнадежности Белого дела. Но разве вера в судьбу, фатум не сродни

поклонению идолам?

– Безусловно, сродни, – воодушевленно отреагировал отец Павел. – Однако вы, Федор, неверно трактуете. Полковник, насколько мы можем судить, не был фаталистом. Знаете, что сделал бы на его месте фаталист? Увел бы отряд на колчаковские передовые и угробил до единого человека в первом же бою. У него не было бы выбора, потому что он поклонился идолу судьбы. Но пророчества – скорее, напротив, вспомогательное средство, чтобы избежать тисков судьбы: они предупреждают о возможных ошибках и опасностях впереди.

– Во, точно, – снова воспрянул дед. – Помню, как я свою Нинку первый раз за себя сватал. Прорекал мне наш бригадир: девка – чистое пламя, штаны не подпали. Ан не послушался, ну и подпалился. Сгоряча-то Нинка на руку тяжела была. Потом кумпол мне две недели залечивали – все в глазах тряслось и зеленело. Во такие они, остережения. Но, правда, через месяц помирились. Три деревни у меня на свадьбе гуляли. Так это выходит штука такая, – он поднял палец кверху, – амбавалетная.

– Амбивалентная, – поправил Федор, косо посмотрев на деда. – Какие же, по-вашему, опасности подстерегают Россию в будущем, если судить по этим предсказаниям?

– А вот вы, к примеру, – гулко, как в бочке, прозвучал бас архидьякона, довольного щами. – Возьмете да и устроите февральскую революцию наоборот. Чем не опасность?

– Думаете, у меня получится? – поинтересовался Федор.

– Глаза у вас блестят подходяще для такого дела. Но я вас сразу предупреждаю, тут и пророчества не нужны, – истина в умах не водворяется через революционную свистопляску. Этаким образом она из умов, напротив, выскакивает.

– Слышь, Федька, не вздумай мне революцию делать, – дед Филимон постучал черенком ложки по столу. – У меня коммерция серьезная, налаженная... свисту не любит.

Федор почувствовал себя задетым.

– Однако все может случиться по-другому, – с сарказмом произнес он. – К примеру, некие заинтересованные силы, вдохновившись подобными предсказаниями, а вернее вдохновив ими толпу, декорируют власть в стране на монархический манер: с царем-батюшкой и боярами-бра^тушками. И волки сыты, и овцы довольны – отныне их будут кушать не живьем, а хорошо поджаренными и нафаршированными.

– Вот тут вы ошибаетесь, – ответил дьякон. – Бутафорская монархия в России так же невозможна, как не может президент Америки, оставаясь президентом, принять мученичество за Христа.

– Ну почему же...

– Потому что Бог не фраер, как справедливо замечено.

– Молодец какой, дьяк, – весело мотнул головой дед Филимон.

– Очевидно, только на это и приходится уповать, – серьезно сказал Федор.

Аглая пропала бесследно. Наутро дед принес сложенный лист бумаги, исписанный каракулями. Задрал на лоб очки и пожаловался:

– Не разберу чего-то, погляди, что за ерунда такая.

Федор, зевая, посоветовал:

– Брось в мусор.

– А я говорю, погляди. Может, важное чего.

Федор взял бумажку и нехотя стал изучать. Минуту спустя его рука дрогнула, он поднял потемневший взгляд на деда.

– Откуда это взялось?

– На крыльце валялось. Ну чего там? Полезное есть?

– Нет, – отрешенно сказал Федор. – Только вредное.

– Что, таможенные пошлины подняли? – встревожился дед и потянул бумажку из рук Федора. Но тот вцепился в нее крепко.

– Здесь нет домашних телефонов. Им, наверное, пришлось напрячь мозги, чтобы придумать подброшенную записку.

– Чего так? – не понял дед и вдруг вскипел: – А ну отвечай, когда старшие спрашивают!

– Да у вас тут не дикий аул, а просто бандитский Петербург! – вспыхнул в ответ Федор. – Аглаю похитили! Выкуп требуют!

Дед жалостно наморщился, затем воинственно подобрался.

– Кто? Сколько?

– Пока нисколько. Меня хотят, – хмуро пояснил Федор.

– А на что ты им сдался?

– Ой, дед, тебе этого лучше не знать.

– А сам, видать, знаешь. Ну ты, Федька, и м... – с большим чувством сказал дед, изумленно садясь на стул. – Чего делать намерен?

– Одно из двух, – чуть побледнев, ответил Федор. – Или я их, или они меня. Третьего не дано.

Одевшись и накинув куртку, он пошел из дома.

– Стой, ты куда? Не дури, Федька.

Дед попытался перегородить собой дверь, но был решительно отодвинут с дороги.

– Ну иди, иди, терминатор недобитый, – крикнул он в окно. – Думаешь, напугаются?

От тревоги за Аглаю Федор так сжал челюсти, что ответить не было никакой возможности.

– А может, и напугаются, – немного успокоенно сказал себе дед Филимон. – Страшон Федька в гневе. Аж сердце дрогнуло.

Он закрыл окно, накапал в стакан валокордин, выпил и задумался.

Встречу ему назначили в двух километрах от поселка, возле автозаправочной станции на Чуйском тракте. Как только взгляд Федора остановился на синем внедорожнике с тонированными окнами, припаркованном у дороги, передняя дверца машины открылась. Он не спеша двинулся к джипу, запоминая номер. Но и без номера автомобиль было легко опознать: высокая посадка делала его подобием четырехколесного клоунского велосипеда – не хватало лишь веселенькой раскраски.

Федор разместился на сиденье. Машина тронулась.

– Ну? – сказал он.

– Не нукай.

Вымогателей было двое – один за рулем, второй сзади.

– Вы пригласили меня помолчать втроем? – немного раздраженно поинтересовался Федор.

– Не трясси нервами и слушай. У тебя последний шанс. Вернешь долг, гуляй свободно. Сколько на счетчике натикало, сказать или сам считаешь?

– Где девушка?

– В гостях у сказки, – сострил водитель. Он был чрезвычайно костляв и мог бы сыграть в кино Смерть: скулы и челюсти туго обтягивала кожа, в сочленениях голых безволосых рук хрящи выпирали так остро, что казались атавистическими шипами.

– Как вы меня нашли?

– В другой раз не свети рожу по ти-ви.

Федор закусил губу, проклиная на чем свет стоит технический прогресс человечества.

– Если девушку хоть пальцем...

– Замерзни, – грубо посоветовал второй бандит. – Все в твоих руках. Предупреждаю: исчезнуть не удастся. Сроку два дня. Наутро третьего твоя подружка умирает у тебя на глазах. Возможно, ей придется помучиться. Потом твоя очередь.

– Я верну деньги, – процедил Федор. В голове у него ощущалось некое упругое коловращение мысли, от которого стало даже немного щекотно. – Но за ними нужно ехать.

– Куда?

– В горы.

– В пещеру Али-бабы? – фыркнул костлявый.

– Угадали.

– За буратин нас держишь? – сказал второй. – Это тебе не на пользу.

Федор рассмотрел его в водительское зеркало: это был человек правильных геометрических очертаний. Лицо представляло собой прямоугольник, насаженный на квадрат шеи, с приделанным снизу треугольником подбородка. По бокам торчали овалы ушей, а посередине мигали кружочки выкаченных глаз. В целом он напоминал персонажа детского мультфильма, но Федор не мог вспомнить какого именно.

– А вы что, не знаете, как называются эти горы? – спросил он. – Алтан в переводе с древнетюркского означает «золотой».

– Короче, Миклухо-Маклай.

Федор сделал паузу, поскольку был уверен в облагораживающем влиянии театральных эффектов на людей простых и до сих пор не задумавшихся о смысле жизни. Затем сказал:

– Там золото.

Молчание длилось чуть дольше, чем требовалось для осознания факта. Федору это понравилось.

– Где? – страстно выдохнул водитель.

– В пещере.

– Сколько?

– Центнера полтора, – прикинул Федор.

– Кто еще знает? – спросил прямоугольный.

– По-видимому, никто. Скорее всего, оно лежит там с Гражданской войны.

– Откуда знаешь?

– Я профессионал, – без ложной скромности ответил Федор. – У меня нюх.

– Следопыт, что ли?

– Можно сказать и так.

– На машине проедем?

– Думаю, да. Только надо запастись продуктами. И бензином.

– Гляди, следопыт. Не на тот след заведешь, медведям тебя скормим. Говорят, они тут злые.

– Не то чтобы злые, – задумался Федор, – но пожрать любят. Оружие у вас, парни, надеюсь, имеется?

...Дорога большей частью проходила в молчании. Федор показывал путь, водитель тихо ругался по матушке, когда езда превращалась в автоальпинизм и в любую минуту мог

заглохнуть двигатель. Второй бандит громко поглощал чипсы, пачку за пачкой, и время от времени лаконично комментировал увиденное за окном: «Лепота...»

Августовская осень в горах разгулялась не на шутку. Леса поржавели и попрозрачнели, лиственницы сбрасывали иголки, делаясь похожими на эротические грезы юности. Пастухи перегоняли стада ниже и попадались чаще. Федор старался не думать, так как подозревал: додуматься сейчас можно до такой нежелательной и опасной мысли, которая заставит его сказать, что про золото в пещере он пошутил. В то же время он понимал, что означают подобные сомнения. Они означали существование в его голове еще более опасной мысли, от которой, будь она извлечена из глубин, зашевелились бы волосы – столь откровенной мистикой шибало бы от нее. Возможно, он даже не поверил бы ей и попытался отстраниться от нее, чтобы сохранить веру в себя. Но не было никакой уверенности, что это удастся.

Машина остановилась на узкой лесной дороге. Водитель торопливо выскочил и отбежал за кусты, на ходу расстегивая брюки.

Через пять минут он вернулся, несколько отрешенный от реальности. Сев за руль, еще какое-то время думал, при этом смотрел прямо перед собой.

– Эй, Скелет, ущипни себя за зад, – посоветовал товарищ.

– Сейчас, – машинально ответил тот, берясь за руль, – сейчас... Там в кустах лежит голый... поеденный. Как в «Челюстях». Руки-ноги откусанные. – Он повернулся к Федору: – Это что за крокодилы здесь водятся?

Зрачки у него были расширенные, в них плескалось неведомое.

– Ах это, – сохраняя невозмутимость, ответил Федор. – Так это духи пошаливают.

– Какие духи? – напрягся бандит на заднем сиденье. – Талибы через границу ходят?

– Обыкновенные духи, с того света. Человечину очень любят. Особенно устремившуюся ко злу. С холодным сердцем и немытыми руками.

Федору показалось, что в глазах у прямоугольного промелькнуло нечто вроде понимания.

– Едем, Скелет. А ты, слышь, прикинься рыбкой и молчи. Не на проповеди.

Какое-то время Федор следовал этому указанию. Он размышлял, тот ли это труп, который они с Аглаей забросали ветками, или посторонний. Сопоставляя географические ориентиры, он пришел к выводу, что Скелет видел не Толика, а какого-то другого несчастного. Если только это не странствующий мертвец. От подобных соображений Федору расхотелось молчать, и желание поделиться наболевшим пересилило опасения нарваться на грубость.

– Но вообще я более склонен думать, что это призраки Гражданской войны, которых вывел тут Бернгарт. Не слышали о таком? Хотя, дело, конечно, не в нем. Это у нас, у русских, такая игра – друг дружку по лбу лупить в поисках истины. В нас за сто лет накрепко вбили психологию гражданской войны. У русского не может быть много истин – если их больше одной, он от них болеет и звереет. Ему одна-единственная нужна, абсолютная. И кто сказал, что такой нет на свете? Кто измерял истины циркулем и сказал, что они все равны? А некоторые к тому же равнее остальных...

– Кто? – Скелет отвлекся от дороги.

– Я-то знаю кто. Только не скажу.

– Ну и гад.

– Ладно. Пускай. Я вот что хочу сказать. Предположим, до 17-го года у нас была историческая миссия, которую опытным путем выводили из единственной, всеми принятой

истины. Назовем ее условно «бремя русского человека». Хорошо мы это бремя на себе волокли или плохо, неважно. Наверно, все хуже тащили, спотыкаться начали. И вот из милосердия у нас это бремя забрали, сказали: отдохни немножко, погуляй, пока не надоест.

– Кто сказал? – спросил Скелет.

– Предположим, Бог. И с тех пор мы гуляем. Русская гулянка, как известно, широка и тяжела последствиями. Но мы к этому привычные. Пока гуляли, на нас сперва другой груз навесили, потом, в 91-м году, мы и этот спихнули. С тех пор опять лбами бьемся: гулять надоело, а какое историческое бремя на себя теперь взвалить, не знаем? Вам, к примеру, это известно?

– Ищи других выючных ослов, – угрюмо ответил прямоугольный.

– Вот именно, – сказал Федор. – Это для себя мы молодцы, а для соседей по планете – выючные ослы. Свое не везем, так будем чужое на горбу тащить, пока шкура не слезет.

– Слышь, папа римский, – бандит сзади потерял терпение, – я тебя в последний раз по-хорошему прошу – прикрой трансляцию.

Федор, помедлив, произнес:

– Ну, в общем, я сделал для вас все, что мог.

...Пещеру он нашел легко, будто раз десять тут побывал, и в этом тоже было предчувствие, снова шевельнувшее своими ложноножками. Федор, сжав зубы, перешагнул ручей и поманил за собой бандитов. Узрев дыру и заглянув внутрь, они велели ему лезть первым. Фонарь нес Скелет, луч света прыгал по сторонам, как мартышка в клетке.

Последние шаги Федор проделал в леденящем душу сомнении: на месте ли золото? Его охватила тревога, и тусклый блеск металла не сразу бросился в глаза. Зато резко ударил по натянувшимся до скрипа нервам возглас Скелета. Изумленный вскрик выбил из стен гулкое эхо и отправился дальше, в глубь горы.

– Золото!.. Золото... золото... – на разные лады бубнил Скелет, глядя во все глаза и не решаясь подступиться.

Прямоугольный шагнул к горе тускло-желтых брусков, опустился на корточки и пару минут сидел без движения. Когда ошеломленное бормотание Скелета пошло на убыль, он заявил:

– Этого мне хватит.

Федор подступил к Скелету, взял его за грудки и потряхнул:

– Где девушка, говори быстро.

– А? Какая девушка?..

Федор дал ему оплеуху.

– А... Там, в пустыне... в степи... типа виллы... Да пусти ты.

Скелет смотрел на золото. Федор оставил его и направился к выходу.

Ни о чем таком он не думал, выбираясь наружу. Но когда за спиной раздался рокошующий грохот, он сразу понял, что ждал чего-то подобного.

Вход в пещеру перестал существовать. На его месте образовался завал из каменных глыб. Ручей тоже исчез под обломками скалы, но спустя несколько минут Федор увидел тонкую струйку, пробившую себе дорогу. Только водопада больше не было.

Он попытался отвалить камни и быстро убедился, что это бессмысленно. Затем покричал немного, дожидаясь ответа из горы.

– Что голосишь, не услышат тебя.

Сильно вздрогнув, Федор обернулся. Сзади стоял беловолосый старик с долгой бородой,

заткнутой за пояс. На нем была длинная ветхая рубаха, похожая на монашье рубище, а на ногах огромные лапти, подвязанные веревочками. На плече он держал вязанку хвороста.

– Бог в помощь, – одеревенело произнес Федор.

– И тебе, хороший человек, помогай Бог. Что ж ты товарищей своих бросил?

– Гусь свинье не товарищ, – с запинкой ответил он.

Длинные волосы старца шевелились от несильного ветра, и Федору казалось, что от головы его исходит белое сияние, на которое было непросто смотреть.

– И потом – в чем вы меня обвиняете, дедушка? – спросил он, отводя глаза.

– Господь с тобой, хороший человек, в чем мне тебя винить. Ты только вот о чем подумай. Когда ты шел наверх, тебя вела свобода. А когда спускался – что вело?

Федор резко вздернул голову, но тут же невольно вскинул руку к глазам.

– Я...

– Спроси у цветка – почему он вырос там для тебя? Чтобы управляться со своей свободой и не потерять ее, – что ты должен нести в своем сердце?

Федор долго собирался с мыслями, придумывая ответ. Когда он произнес первую, коряво прозвучавшую фразу, старика перед ним не было. Белая голова светилась далеко впереди. Федор, не раздумывая, кинулся догонять.

– Постойте!.. Да стойте же... Я понял...

Старец остановился.

– Вы из отряда полковника Шергина, – еще издали прокричал Федор. – Я хочу спросить вас...

Но, приблизившись, он не мог вспомнить ни одного вопроса. Смотрел и громко, взволнованно дышал.

Старец подошел и положил руку ему на голову.

– Ступай, хороший человек, ступай. Господь тебя потрудиться зовет. Прошу лишь – мирен будь. Других за собой потянешь. Бог вами чудо и сотворит. Вся Русь на Царь-гору подымет.

В этот момент Федор почувствовал, как увлажнились глаза.

– А тех двоих... не спасти? – выдавил он.

– То теперь не твоя забота, ступай себе.

Старец подбросил на плечо вязанку и двинулся дальше. Федор не сумел придумать, чем его остановить.

Сжавшись у стенки полуобрушенной пещеры, Скелет пристукивал зубами от страха. Луч фонаря то высвечивал руку мертвеца, погребенного обвалом вместе с золотом, то метался в поисках выхода из каменного склепа. Наружное отверстие пещеры было замуровано глыбами камня, зато туннель, уходивший в глубь горы, завалило только наполовину. Но идти туда Скелет панически боялся. Именно из туннеля шел темный ужас, который он почувствовал за миг до того, как рухнул потолок пещеры. Он и сейчас слышал доносившееся оттуда шелканье и тихое шипение, будто где-то сыпался песок. Звук приближался.

Скелет отполз дальше, волоча разбитую камнем ногу, уменьшился в размерах, насколько сумел, и выключил фонарь. В темноте громко бухало сердце.

Вдруг он заметил, что стало светлее – можно было разглядеть себя и стену пещеры с коркой засохшего мха. В страхе повернув голову, он увидел человеческую фигуру – целиком белую и этой белизной разрывающую тьму пещеры. От фигуры веяло спокойствием и миролюбием. Скелет немного ободрился.

– Ты кто, – пролепетал он, – привидение?

– На-ка, пощупай, – ответила фигура, приближаясь.

Скелет сообразил, что это не призрак, а обыкновенный старик, хоть и странный. Нагнувшись, он дал себя потрогать, затем склонился над вытянутой ногой Скелета, в окровавленной и разодранной штанине.

– Ну ничего, это мы выправим.

Он быстро хлопнул ладонью по колену, Скелет взвыл и, таращась, попытался замахнуться на старика.

– Как, полегчало? – как ни в чем не бывало спросил тот, разгибаясь.

Скелет с удивлением обнаружил, что и впрямь стало лучше, нога могла сгибаться.

– Полегчало, – пробормотал он. Потом покосился на мертвеца. – А его поднять сможешь?

– Товарищу твоему ничем уже не поможешь. А ты вставай-ка, да идем отсюда. Пока те не пришли. – Старец кивнул на туннель.

– А кто там? – замирая от жути, спросил Скелет.

– Да уж известно кто. Ничего хорошего от них не жди.

Старец подхватил его под руку, с силой поставил на ослабевшие от страха ноги.

– Как мы отсюда выйдем?

– Пойдем потихоньку, так и выйдем. Тропка всюду отыщется.

Старец взял Скелета под локоть и повел неторопливо. Скелет озирался, удивляясь тому, что они идут и все никак не упрутся в стену пещеры. Казалось камень расступался перед ними, рассекаемый, как прежде темнота, сиянием, стекавшим со старца.

– Зовут-то тебя как, радость ты моя?

– Скелетом погоняют.

Старец качнул головой, и Скелету почудилось, будто где-то нежно зазвенели бубенцы.

– Не гоже живого человека мертвецким именем звать. При крещении как нарекли?

– Юркой. А тебе почем знать, что я крещеный?

– Георгий, значит. Хорошее имя. Почем знать-то? У тебя ж на лбу крест горит. Святые печати – они, милый, не смываются.

Скелет старательно ощупал лоб.

– И правда горит. Заболел, что ли?

В степи свистело и завывало, точно стая волков окружила дом. В сумерках молнии были особенно впечатляющи, разливая в темно-сером воздухе бледно-желтую, водянистую акварель. Ветер бросал в окно горсти пыли и тут же уносил ее прочь.

Свет в доме не горел, его некому было включить. Аглая сидела на полу в углу кухни и смотрела на пыльную бурю. Она ждала, когда кто-нибудь придет, но никто не появлялся уже двое с половиной суток. У нее была вода из крана и батон хлеба, от которого осталась половина. Время от времени сюда наведывалась степная крыса и шарила глазками. Ее целью был хлеб, но Аглая тщательно охраняла свое продовольствие, а когда засыпала, то засовывала батон за пазуху. Крыса все равно была довольна, ей доставались крошки, а иногда щедрые кусочки. Аглая подкармливала крыску, чтобы хоть с кем-то общаться и делиться грустью.

Может быть, здесь имелась и другая еда, но девушка не могла до нее добраться. Нога была прикована наручником к водопроводной трубе.

Среди грома и свиста бури вдруг почудились посторонние звуки. Аглая приложила

ладонь к полу и замерла. Кто-то колотил в двери дома, пытаясь сломать их. Девушка улыбнулась и стала ждать.

В одной из комнат раздался звон стекла. По времени, которое понадобилось пришельцу для проникновения через окно в дом, она определила, что этот человек не слишком проворен.

Аглая очень удивилась, когда перед ней возник дед Филимон с двустволкой в руках. Вид у него был воинствующий и страшный: глаза сверкали, борода стояла вперед торчком, с ног до головы его покрывал слой пыли.

Дед упер ружье прикладом в пол и сказал укоризненно:

– Ох и задала ты мне, девица, суету сует. Федька-то где?

Аглая смущенно улыбнулась.

– Здесь его нет. Никого нет.

– Как это нет? – рассердился дед и пристукнул ружьем об пол. – Куды ж он запропастился? Ушел как есть третьего дня, с кинднепингами твоими разбираться. Покрошу, говорит, в капусту. И рожу такую сделал – лютую.

Дед пододвинул табуретку и сел, ружье приткнул между колен. Пригорюнился. Аглая опустила голову и опять загрустила.

– Ну чего молчишь? – спросил дед чуть погодя. – Чего думаешь-то?

– Я не думаю, – ответила Аглая, – я молюсь.

– Эх, девка, – вздохнул дед Филимон. – Страшно небось тебе было?

– С молитвой не страшно.

– Ну-ну, ври.

Дед помолчал и снова заволновался:

– А с Федькой-то чего ж? Где его носит, а?.. Э, да у тебя водопад на щеках.

Аглая хлюпнула носом.

– Ты мне тут... того... не разводи слякоть, – строгим и одновременно дрожащим голосом сказал дед. – Этого я терпеть никак не могу. Придет Федька, слышь? Придет. Никуда не денется. Вот тоже вздумала – внука моего оплакивать. Не разрешаю я тебе. Понятно?

– Понятно, дедушка.

Аглая насухо вытерла слезы.

– Вот то-то. Сиди и жди.

– Дедушка Филимон, сними с меня эту железку, немоготу больше.

– И не подумаю. – Дед решительно покрутил головой. – Пускай тебя Федька спасает. Как энтот... герой-любовник. Так от веку заведено, понимать должна. А то что ж это получится, если тебя старый хрыч освободить будет?

Аглая улыбнулась печально.

– Я тебя, дедушка, расцелую, вот что получится.

– Дудки, – насупился дед. – Федьку лучше целуй. Он по тебе давно мается. И куды твои глаза, девка, глядят? На луну, что ли?

– Только не уходи, дедушка, – попросила Аглая.

– Вестимо не уйду. Постерегу тут тебя. А то мало ль чего. Буря вон как разгулялась.

В окна теперь рвался не ветер – казалось, внутрь пытается попасть темное многолапое чудовище. Оно скрежетало зубами, царапало когтями по стенам и стеклам и ругалось на своем зверином языке. От его потуг дрожал весь дом.

– Будто демоны воют, – сказала Аглая и запоздало удивилась: – Как же ты дошел сюда, дедушка?

– Да как... ногами дошел.

– Ты, дедушка Филимон, тоже герой. Хоть и не любовник.

– Ну, – сконфузился дед, – это как поглядеть. Может, и тряхнул бы молодостью...

– А как ты узнал, что я здесь?

– А слово такое – дедукция – слыхала? Нам, дедам, без этой дедукции никак. Это такая штука... страсть какая нужная. Вот моя дедукция мозгами раскинула и пошла людей спрашивать. Не видали ль чего, не слыхали ль. А они и говорят: видали, мол, драндулет чудной, все колесил тут, будто вынюхивал, в степь ездил. Тут я и сам припомнил: точно, был такой, у дома моего тоже наезжал. А в степи у нас какие примечательности, окромя верблюдов? То-то и оно.

Аглая отломилась от зачерствевшего батона кусок и стала задумчиво жевать. В дверь просунула шевелящийся нос степная крыса, зыркнула на пыльное чучело с ружьем, презрела его и пошла подбирать крошки.

Федор торопился. Гнал машину на предельной для гор скорости, с риском угробить ее на очередном бугре или сыграть в сальто на подъеме. Нервы натянулись так, что на них можно было сыграть скрипичный концерт до-минор. Федору даже казалось, что он слышит тихое неприятное поскрипывание внутри себя. «Это скрипит моя несмазанная, запущенная душа», – подумал он и снова вспомнил Аглаино предупреждение: горы не любят долгов на совести. До какой степени это правда, он увидел утром, когда случился обвал. Теперь ему было тревожно, чудилась некая незавершенность утреннего события.

После чудовищной переправы по иссохшему каменистому Ильдугему стало совсем темно. Федор включил передние огни и решил ехать всю ночь. Справив малую потребность, он сел за руль, но не успел нажать на газ. Через лобовое стекло он увидел белое лицо и расширенные глаза, наставленные на него. Ёкнувшее сердце обвалилось в район чуть повыше пяток. Если это был испуг, то пополам с оторопью. Но в голове тут же шевельнулась надрывная мыслишка: «Панночка поме□рла». Федора начал разбирать совершенно неуместный хохот.

Девка в плаще уперлась руками в капот и, перебирая ими, двинулась к дверце водителя. Уняв смех глубоким вдохом и долгим выдохом, Федор вышел из машины.

– Ну что ж, настало время познакомиться, – произнес он и сам удивился тому, с какой легкостью начал нести чушь. «Наверное, это оттого, что у меня дрожат коленки», – подумал он.

Горная девка не спешила отвечать и вообще как будто не собиралась заводить разговор даже из приличий.

Неприличность ситуации первым ощутил Федор. Впрочем, что ощущала его визави, определить было трудно. Ему вдруг стало совершенно ясно, что под плащом у ночного явления совершенно ничего нет, кроме тугого белого тела, и собственная плоть отозвалась на это понимание самым непосредственным образом. Федор сглотнул и невольно отступил. Девка подняла руку к шее и потянула шнурок завязки.

Плащ упал к ее ногам, как полотно на открытии памятника. Только теперь Федор осознал, что испуган по-настоящему. Девка шла к нему, но он не мог сделать больше ни шага. Ноги превратились в студень и при любом движении могли уронить его.

В горящих, как у животного, девкиных глазах он увидел злобу. Она подошла ближе, от

нее исходил душный жар. Вдруг она взмахнула рукой, и Федор, вскрикнув, схватился за лицо. Ему показалось, она полоснула его острыми когтями. Глаза пронзила страшная боль и молнией воткнулась в мозг.

Федор упал и с криком покатился по земле. Что-то теплое текло по ладоням. Его захолонул ужас, и, сквозь собственные вопли, до него едва дошел низкий девкин голос:

– Помни обо мне. Всегда помни о моем народе. Теперь ты не забудешь о нас.

Сознание Федора помутилось, он погрузился в совершенное небытие, а когда выбрался из него, то боли уже не было.

Он провел рукой по глазам – они оказались невредимы. Он тут же открыл их.

Увиденное произвело на него не меньшее впечатление, чем прибытие поезда на зрителей первого парижского синемаатографа.

Вокруг, насколько здраво он мог судить, воздвигла тяжеловесные пространства огромная пещера. Потолок, со сплошной выделкой бело-рыжих сталактитов, был виден едва-едва, ажурно-бугристые стены мерцали зеленоватым сиянием, словно облепленные мириадами светлячков.

Федор сидел на голом камне посреди разноцветных наростов и пытался понять, что происходит с ним. Но это было очень трудно, гораздо легче оказалось встать и идти, прокладывая путь между полянами стылых солевых зарослей и абстрактными скульптурными группами. Он помнил слова девки, однако не мог придумать связь между ними и пещерой. Ему чудилось, что ответ на вопрос находится где-то рядом, более того, он давно знает его, слышал не однажды. И от предчувствия ответа Федора начинало колотить.

Вскоре он ощутил на себе взгляд и понял, что с самого начала его изучал кто-то невидимый. Взгляд не имел четкой локализации, он исходил отовсюду, будто вся пещера была недреманным оком.

Втянув голову в плечи и не глядя по сторонам, Федор быстро шагал вперед. Задумавшись о том, какое чувство вкладывает в свой взгляд невидимый наблюдатель, он пришел к единственной мысли: никакое. Его изучали словно букашку, насаженную на иголку, – с равнодушным лабораторным интересом. От этого жесткого излучения равнодушия Федора начало мутить и тошнить. Он ускорил шаг, потом побежал, лавируя между препятствиями.

Остановился, только когда увидел эскалатор, вмурованный в стену пещеры. Лента ступенек беззвучно двигалась вверх.

Узрев признаки цивилизации, Федор без размышления встал на эскалатор. Логика метро подсказывала, что наверху должен быть выход. Но логика подземелья могла оказаться иной, и, когда эскалатор вынес его к декорациям станции метрополитена, Федор немного успокоился. Впрочем, и станция была странной – такой же безразмерной, как прежде пещера. Человек здесь и впрямь походил на букашку, суетливо перебирающую лапками. Федор не слышал звука собственных шагов, это было чрезвычайно неприятное ощущение. К тому же появилось впечатление дробности чужого взгляда, словно он состоял из множества – миллиона взоров, слившихся в один.

Федор закрыл ладонями уши, но бессмысленное действие не могло спрятать его от невидимых. Он опять пустился бегом.

Как снова очутился на эскалаторе, он не заметил. Сел на ступеньку, сжал руками голову и заплакал, точно ребенок. Это были слезы обиды, унижения и страха.

Потом эскалатор кончился, и Федор вышел наружу.

Вокруг были горы, утро, прозрачный туман. Невдалеке виднелось синее пятно джипа. В нескольких метрах от машины Федор увидел лежащего человека. Опасаясь чего угодно, он медленно подошел ближе. Тело лежало неподвижно, похожее на труп.

Федор внезапно понял, что это лежит он. Первой была мысль о том, как холодно ночью в горах. Он бросился к телу и стал тормошить его.

...Очнувшись, он вспомнил все, до мельчайших подробностей.

Аглая проснулась от нового звона стекла. Дед Филимон, дремавший на табуретке, вздрогнул, тотчас окружившись аурой пыли, и нацелил винтовку на дверь кухни.

– Не надо, дедушка, – сказала Аглая, – там свои.

– Откель знаешь?

– Это Федор, дедушка.

– Чего ж он стекло бил? – волновался и недоумевал дед. – Есть же битое.

– Дедушка, ну какой же герой-спаситель ходит по чужим следам?

– Ну да, ну да, – озадачило деда Филимона. Но ружье он не опустил. Крикнул: – Федька! Ты, что ли?

Вместо ответа явился сам Федор. Бледный и осунувшийся, небритый, похожий на рыцаря печального образа. Поглядел исподлобья тоскливыми глазами.

– С одной стороны, видимо, я, – сказал он, – а с другой – очевидно, совсем не я. А вы кого ждали?

– Ну а те... ну которые, – боялся радоваться дед, – ты с ними как?

– Их проглотили горы.

Федор посмотрел на ногу Аглаи, взял у деда ружье, приставил дуло к замку наручников и бестрепетно выстрелил. Железка распалась на две части.

– Я отвел их в пещеру с золотом, – сказал он, глядя ей в глаза.

– Ты... – она смотрела на него в ужасе.

Федор протянул ей руку, но Аглая сжалась в углу.

– Я пытался предупредить их, как мог. Они не вняли.

– Ты принес их в жертву, – пробормотала Аглая. Ее была крупная дрожь, темные круги под глазами стали почти черными.

– Нет. Я не делал этого. Это чушь. Дай мне руку, мы уедем отсюда и забудем всю эту историю.

Аглая качала головой.

– Как же это можно забыть?.. Ты не должен был... Уходи, Федор.

– Вот как, я снова в опале? Что я «не должен был»? Надо было оставить тебя этим волкам на растерзание? – Федора душил гнев, едва сдерживаемый. – Я отвел их туда, чтобы выкупить тебя. Там лежала гора золота, как будто для этого и предназначенная...

– Она не для этого была предназначена, – тихо перебила его Аглая. – Ты знал это.

– Не знал. И не знаю, – отчеканил Федор. – И в мыслях не было.

– А должно было быть. Надо же думать, прежде чем...

– Так, – зло сказал он. – Значит, я кретин и злодей?

– Нужно испытывать себя и мотивы своих поступков, – потупилась Аглая.

– Ты не понимаешь...

– Это ты не понимаешь, – бросила она, вскинув голову. Глубоко запавшие глаза смотрели почти безумно, с мукой.

– Или ты даешь мне руку, или я уезжаю.

– Уезжай, – после короткой паузы сказала она.

– Ну вот и поговорили, – криво усмехнулся Федор.

Он открыл окно кухни и перелез через подоконник.

– Дед, ты со мной?

– Да как же я ее тут оставлю? – горестно воскликнул дед Филимон.

– Как знаешь. – Федор спрыгнул на землю.

Дед потер дулом ружья висок и вздохнул:

– Ты бы мне сказала, что ль, о чем вы тут разговаривали, будто малахольные какие?

В купе поезда, медленно уходящего с барнаульского вокзала, было парко, словно сюда провели отдушину прачечной. Радио бравурно напутствовало отъезжающих. Позднее лето махало на прощание попестревшими ветками кленов. Федор опустил окно ниже и выключил звук.

– Ну, как говорится... – сосед по купе поставил на столик бутылку водки, отвинтил крышку и разлил в стаканы по маленькой. – За все, что было, чтоб оно еще раз было.

Он чокнулся стаканом о стакан, выпил и в ожидании посмотрел на Федора.

– Извините, не пью.

– Давно? – с пониманием отнесся пассажир.

Федор, не ответив, расстегнул рюкзак и достал рубашку, чтобы переодеться.

– Не переживай, – ободрил сосед. – Ты молодой. Организм, как говорится, крепкий. Твое от тебя не уйдет. Врачи запретили или так, баба?

Федор встряхнул рубашку, и на пол со стуком упало нечто увесистое, закутанное в платок. Недоумевая, что бы это могло быть, он подобрал вещь и развернул.

– О! – сказал сосед. – Все-таки баба. Что ж медальончик без цепки?

Федор почувствовал, как пылают у него щеки. На ладони лежало Аглаино богатство – золотой кругляш с Женой, имеющей во чреве. Девчонка с диким характером и непредсказуемым поведением, не желавшая видеть его, даже не попрощавшаяся, каким-то образом исхитрилась подсунуть подарок.

Первым желанием Федора было выкинуть медальон в окно, а вместе с ним и записку, не читая. Затем ему стало интересно, какие мотивы были у нее на уме. Он хотел выйти из купе, но сосед остановил:

– Да сиди, читай спокойно. Баба, она дело такое. Комфортабельность любит. А я покурю пойду.

Когда дверь закрылась, Федор развернул записку. «Это чтобы расплатиться с твоими долгами», – говорилось там. Даже подписи не было.

Он порвал бумагу на мелкие клочки и высыпал за окно. Потом взял со стола стакан, поднес ко рту, помедлил и выплеснул водку вслед утраченной надежде, разлетевшейся вдоль железной дороги.

Москва оказалась неожиданно шумна, кичлива, бестолкова. Федор не был готов к подобной перемене, оглушавшей, будто ведро мерзлой воды на голову, и с первой же минуты захандрил.

Но за пестрым балаганным фасадом столицы было и другое. Из-за стекол зданий и машин, из отдушин метро и дверей магазинов, с чердаков и из подвалов, даже из глубины человеческих глаз на него смотрело нечто. Оно вымораживало душу пещерным холодом и выгрызало на сердце свое клеймо: помни о нас всегда. Тайный пещерный народец давал знать, что их владения давно простираются повсюду и первопрестольная – всего лишь одна

из клоак бесконечного подземелья.

Впервые осознав жестокую тяжесть девкиного дара где-то в районе Уральских гор, через которые медленно тащился поезд, Федор решил, что ни о чем жалеть не будет. Ни об оставленной в Золотых горах слепоте, ни о потерянной любви, ни о мятежном хаосе, наполнившем душу. Да и не терял он любовь, вдруг подумалось ему. «Спроси у цветка – почему он вырос там для тебя?» Разве так теряют любовь? Нет, так ее находят. С вершины горы либо падают, ломаясь насмерть, либо сходят, обретая любовь к миру, лежащему внизу.

Но теперь между ним и миром стоял легион пещерных жителей.

...Федор шагал по коридорам клиники, разглядывал номера на дверях. Коридоры ветвились, как в лабиринте, по ним гуляли на костылях и на колясках травмированные, забинтованные люди. Между пациентами лавировал вечно спешащий медперсонал.

– Простите, – Федора нагнал человек в накинутом белом халате и с портфелем в руке, пытливо заглянул ему в лицо, – не вы ли правнук полковника Шергина?

– Вы ошиблись, – сухо сказал тот и сделал попытку пойти дальше.

Незнакомец загородил ему дорогу, раскинув руки в неуклюжем приветственном жесте, выдававшем острое желание поболтать здесь и сейчас.

– Нет-нет, я вас узнал, – запротестовал он. У него было круглое лицо, очки в тонкой оправе, большие залысины, дорогой костюм и не терпящие возражений интонации. Каким-то неизвестным чувством Федор определил, что перед ним чиновник, не так чтобы крупного ранга, но и не совсем мелочь. – Кроме того, – продолжал незнакомец, – вы ищете двести тридцать седьмую палату. Там лежит Михаил Шергин, ваш отец. Не имеет смысла отрицать очевидное.

– А что имеет смысл? – нехотя спросил Федор.

– Дело, понимаете, в том, что у меня к Михаилу Александровичу имеется разговор.

Он перекинул портфель из руки в руку, извлек из внутреннего кармана пиджака визитку и протянул Федору.

– Вы всегда можете найти меня по этим телефонам.

– А для чего мне искать вас? – не понимал Федор, читая название чиновничьей должности. Она оказалась выше, чем он думал. Тем более загадочной представлялась настойчивость незнакомца.

Тот развел руками.

– Как известно, человек предполагает, а Бог располагает.

– Допустим, – сказал Федор после короткого раздумья и спрятал карточку, запомнив имя – Иван Сергеевич, как у Тургенева. – Ну а я-то чем могу?

– Собственно, вы можете послушать наш разговор. Только и всего.

– Только и всего?

– Именно. Это не займет много времени.

– А может, у вас пистолет за поясом? Допустим, вы киллер и хотите убрать нас обоих одновременно, без шума и пыли?

От этого предположения глаза Ивана Сергеевича сползли вбок, выражая тем самым весь идиотизм сказанного.

– Ну к чему же такой радикализм? Вы что, в каждом встречном подозреваете подосланного убийцу?

Федор пожал плечами.

– Вы правы, это паранойя. Простите. Нервы ни к черту.

– Что так? – участливо поинтересовался Иван Сергеевич.

– Дело в том, что меня уже несколько раз пытались убить.

– Ах вот как. Весьма интересно. В таком случае наше знакомство тем более полезно и содержательно.

– Вы полагаете?

– Убежден. Ну что, идемте?

В палате было много света и простора. Кровать стояла по центру у окна, по соседству с ней на тумбочке возвышалась гора фруктов, как на фламандском натюрморте, и графин с ярко-рыжим морковным соком. Шергин-старший лежал с закрытыми глазами и поднятой на воздух загипсованной ногой. Голова у него была перебинтована, на бледном лице чернели темные подглазья.

– А, сын, – не поднимая век, сказал он. – Наконец-то вспомнил о родителях.

Федор откашлялся.

– Здравствуй, отец. Как ты себя чувствуешь?

– Нормально я себя чувствую, – немного раздраженно ответил Шергин-старший. – Мать небось сказала, что помираю? Ничего подобного. Морковку ем и пью, мать велит – говорит, кости быстрее срастутся. Понос от этой морковки уже замучил.

Он открыл глаза и спросил недовольно:

– Это кто с тобой?

Гость выступил вперед:

– Позвольте, Михаил Александрович, представиться...

– Не позволю, – перебил его Шергин-старший. – Говорите быстро, что надо, и проваливайте. Не хочу никого видеть.

Ивана Сергеевича это не обескуражило.

– В таком случае, к делу. Буду краток. Вы, как мне представляется, человек честный и порядочный...

– Идите к черту с вашими преферансами.

– ...и, очевидно, – не моргнув глазом продолжал чиновник, – именно по этой причине оказались в этом несчастном положении...

Федор замер с вытянутой шеей, как птицелов в кустах. Шергин-старший, напротив, задвигал руками и здоровой ногой, подползая вверх по подушке.

– ...поскольку, надо предполагать, некоторые события в нашей жизни случаются как раз для того, чтобы мы задумались, туда ли, по той ли дороге мы идем.

Шергин-старший нашарил возле морковного графина телефон.

– Я вызываю милицию, – заявил он. – Федор, держи этого подосланца, чтоб не сбежал. Сейчас разберемся, кому тут нужно задуматься о неправильной дороге.

Федор нерешительно шагнул сперва к двери, затем к «подосланцу», который оставался совершенно спокоен.

– Бог мой, вы меня совсем не так поняли. Я не имею никакого отношения к нападению на вас, уважаемый Михаил Александрович. Я всего лишь хотел сказать, что, возможно, это знак, который вы не должны оставить без внимания. Знаки окружают нас повсюду, но, к несчастью, не многие умеют их читать. Очевидно, из-за этой метафизической безграмотности мы все время идем не туда, куда нам нужно.

– Нам – это кому? – с подозрением спросил Шергин-старший, не расставаясь с телефоном.

– Всем честным русским людям.

– А вы, я так понимаю, работаете в автоинспекции?

– Не совсем, – улыбнулся Иван Сергеевич. – А почему вы так решили?

– Ну как же, про дорогу и дорожные знаки разговор завели... Только я что-то не пойму

– вам чего надо?

– Мне, собственно, нужна Россия. Как и многим прочим. Заметьте, не доход, который можно стричь с нее разнообразными способами, а сама Русь-матушка.

– Федор, ты кого ко мне привел? – с драматизмом в голосе произнес Шергин-старший.

– Однако вы с полным основанием можете спросить у меня, что такое наша Россия-матушка и чем она отличается от всех остальных в мире.

– Родной вы мой, – сварливо отозвался Шергин-старший, – на этот вопрос ответ был дан еще в девятнадцатом веке. Дураками и дорогами отличается.

– Вот видите, не зря я заговорил о дорожных знаках. – Иван Сергеевич расплылся в лучезарной улыбке. – То есть вы согласны, что российские дороги иные, не похожие на, так сказать, общечеловеческие?

– И еще сто лет не будут похожи. Не понимаю, к чему этот бестолковый разговор. Федор, объясни наконец, что это за тип и для чего ты притащил его сюда!

Шергин-старший начинал волноваться. Федор хранил гробовое молчание.

– Ни через сто, ни через тысячу лет, – возразил Иван Сергеевич. – А если все-таки станут похожи, то будут уже не российские. Ведь если русские потеряют свою столбовую дорогу, то очень быстро вымрут, превратившись в неандертальцев, не способных к выживанию. По этой дороге мы когда-то вышли из лесов и болот. Сбившись с нее, мы снова уйдем в болота и сгинем там. Так вот, чтобы не сбиться, вдоль дороги расставлены знаки.

Шергин-старший мелко затрясся – рассмеялся и застонал одновременно: были сломаны ребра.

– Наконец-то... Я все понял. Это же форменный сумасшедший.

– Может быть, – сказал Иван Сергеевич, снова улыбаясь. – Все дело в том, что в данном случае считать умом и в каком направлении с него сходить. Если принять эти поправки, то могу признаться вам, что не так давно я сошел со своего прежнего ума и теперь пребываю в совершенно ином его состоянии. Могу даже рассказать, что стало тому причиной. Это были знаки.

– Какие знаки? – встрепенулся Федор.

– Мне было предъявлено весьма основательное свидетельство бытия Божия, – как о чем-то само собой разумеющемся выразился Иван Сергеевич.

– Вы христианин? – быстро спросил Федор.

– Во всяком случае, не магометанин. И даже не сторонник западных конфессий. Но в данный момент я лишь представляю круг лиц, кровно заинтересованных в сохранении русских как нации. А следовательно, в возвращении на столбовую дорогу. В последние сто лет мы потерпели слишком много поражений. Царя, опять же...

– Что опять же? – выпалил Федор.

– ...принесли в жертву inferнальным силам.

Федор сделался белым, как мумия, и захотел спрятаться в тень, но ее нигде не было.

– Черт знает что такое, – возмущенно молвил Шергин-старший. – О народе-богоносце не хотите беседу завести?

– В следующий раз обязательно, – пообещал Иван Сергеевич. – Сейчас я должен вас

покинуть. Вот мои контакты. Надумаете – звоните в любое время.

– Надумаю что?

– Вырваться из плена темных иллюзий, мешающих увидеть истинный смысл истории.

Откланявшись, Иван Сергеевич исчез за дверью.

– Каков проходимец, – после долгой паузы произнес Шергин-старший. – Наврал с три короба, а чего хотел, не сказал. Это твой новый круг общения? Где ты все-таки его подцепил?

Федор развел руками.

– Проходил мимо.

– Не думал я, что ты в попы подашься... Нет, ты мне скажи, чего он добивался? В свою пещерную секту меня вербовал?

– Он не из пещерных, – снова побледнев, возразил Федор.

– Может, передумаешь с попами якшаться? – просительно посмотрел отец. – Мне черносотенец в семье ни к чему, позор на мои седины.

– Поздно, – покачал головой Федор.

– Они завербовали тебя?! – отчаянно простонал Шергин-старший.

– Поздно, – повторил Федор. – Мы все вовлечены в эту мистерию – нашу историю. И я, и ты, и этот... Иван Сергеевич. Никто не сможет передумать ее.

Он вытащил из кармана письмо и протянул отцу.

– Оно и для тебя написано, ты тоже потомок.

– Чей?

– Полковника Белой армии Петра Шергина.

– А, ты же раскопал какого-то белогвардейца. Мать рассказывала. А с чего ты решил, что он нам родня?

– Голос крови, – сказал Федор.

Он коротко изложил суть своих изысканий, затем, без перехода, продолжал:

– В горах мне открылась одна вещь. Закон истории один для всех – русских, китайцев, американцев, евреев, мусульман. Принимающим Любовь дается свобода. Отвергающим ее остается судьба.

Шергин-старший набрал номер на телефоне, и дождавшись ответа, взволнованно закричал в трубку:

– Мать! Наш сын тронулся умом. Его затащили в секту и забили мозги истерическим бредом. Нужна срочная госпитализация... Он несет какую-то блажь про судьбу и любовь... Сидит передо мной... Нет... С утра был здоров?... Значит, по дороге свихнулся... Влюбился? ... Сейчас спрошу... Потом перезвоню.

Отец положил телефон и окинул Федора обнадеженным взглядом.

– Ты влюбился?

– Если ты спрашиваешь, собираюсь ли я жениться, то такая возможность не исключена, – несколько заторможенно сказал Федор и сам задумался над собственными словами.

– Я, разумеется, не буду принуждать тебя к этому, – Шергин-старший был немного ошарашен. – Мы с матерью современные люди и не станем навязывать тебе свою родительскую деспотию...

– Расслабься, пап, я вовсе не принуждаю вас с матерью быть современными родителями... Но я не о том говорил.

Он снова покопался в кармане, и в руку Шергина-старшего легла круглая золотая пластина.

– Что это? Откуда? – всполошился отец. – Ты ограбил музей?

– Аглая подарила, – лаконично объяснил Федор.

– Это та, в которую ты влюбился? Она черный археолог?

– Нет, она лошадей любит. Не в этом дело. Этот медальон – пророчество. Оно сбылось. Не всякое пророчество сбывается, но всякое настоящее пророчество – ключ к свободе. Оно дается, чтобы уйти из-под замка судьбы, вылезти из долговой ямы.

– Все-таки госпитализация не помешает, – с сомнением поглядывал на сына Шергин-старший.

– Она сказала, чтобы я продал эту вещь и расплатился с долгами, – не слыша его, говорил Федор. – Я не буду продавать. Когда девушка отдает мужчине такую вещь, она думает совсем о другом.

Несколько минут они молчали.

– Нда, – оборвал тишину отец. – Ну... может быть. Мне-то ключей от жизни никто не дарил. Самому до всего пришлось доходить ...

– Прости меня, – выдавил Федор. – Тебе из-за меня досталось.

– Объясняй, – недоуменно потребовал Шергин-старший.

– Помнишь, ты по телефону спрашивал, что за типы меня ищут... Я думаю идти сдаваться в милицию, они ведь не отстанут. Тем более двоих из них я того...

– Чего того? – удивился отец.

– Ну того, – Федор мотнул головой.

– У тебя, сын, винтики в мозгах совсем разболтались. И сам ты весь пришибленный. Причем здесь, я тебя спрашиваю, эти немытые бандюганы?

– Как... – растерялся Федор.

– Их месяц как переловили. Всю банду. Я же тебе сказал, что займусь этим.

– Тогда – кто тебя так?..

– Это я и сам хотел бы знать, – задумался Шергин-старший. Потом спросил: – Слышишь, сын, может, правда на меня дорожный знак свалился?..

Поначалу Федор обрадовался, что дело так легко разрешилось и алмазный долг сам собой расточился. Но позднее, когда смотрелся утром в зеркало, понял: ничего не кончилось, все главное только начинается. Долг просто подвергся реструктуризации, перешел в иное качество, и счет к оплате будет предъявлять уже не мафия, а подземный народец, к которому в конце концов попадают все человеческие векселя, подписанные чернилами, кровью или удостоверенные компромиссом с совестью.

Пещерные жители чем дальше, тем больше заходили в сны Федора, как к себе домой, сопровождали его всюду, подбрасывали странные мысли, неслышно для других встречали в разговоры. Цыганки-гадалки шарахались от него на улице. У Федора не осталось ни добрых знакомых, ни друзей, не говоря уже о подругах. Он сделался мрачен и уныл, как Онегин на деревенском покое. Много раз ему являлась нехитрая идея снять порчу у бабки-знахарки. Останавливало в последний миг соображение: идею подкидывали они же. Не однажды его посещала мысль покончить с мучением, выпрыгнув в окно, по-настоящему. «В сущности, для чего я все это терплю? – безответно спрашивал он себя. – И чем до сих пор жив?» Второй вопрос занимал настолько, что разгадывая его, Федор напрочь забывал о всех способах самоубийства.

К Новому году додумался до интересного: он жив еще благодаря тому, что не знает, какая сила удерживает его в этой жизни. В тот же день, синим снежным вечером, подсвеченным желтыми фонарями, все стало ясно.

Последний раз он был в церкви полгода назад. С тех пор как вернулся в Москву, даже мысли не возникало – зайти, постоять, вспомнить пережитое, соединиться с *ней* хоть так, в воображаемой молитве. Да и теперь никакой мысли не было. Остановился перед входом, стоял, слушал доносившееся пение. Потом его подхватило, словно ветром наподдало, и занесло вверх по лестнице. Там оставалось только открыть дверь, чтобы тем же ветром не стукнуло об нее лбом, и сдернуть с головы шапку.

Он попал в тепло горящих свечей и кадильного дыма. Осмотрелся, приткнулся возле иконы святого. Людей было много, но они не мешали. Постояв немного, по привычке, Федор сделал открытие.

Оказывается, и с давящей тяжестью на душе – всегдашней памятью о невидимом легионе – можно жить, потому что жива и другая память. Он вспомнил восхождение на Царь-гору, за несколько месяцев подзабывшееся. Перед глазами возник белый цветок с желтым глазом, тянущийся к небу среди снега и камня. Федор почувствовал остро саднящую боль в содранных ладонях, ощутил колючий холод в горле, увидел близкое, расписанное под гжель, небо. И тоска в сердце начала таять...

Через неделю он надел белую рубашку и крест на шею.

– Насовсем к нам или так, мимоходом, интерес утолить? – спросил старый священник.

Федор, не сразу проникший в смысл вопроса, замялся с ответом.

– А то есть такие – окрестятся, а потом не видно их, разве на Пасху зайдут, свечку запалят. Ровно зайцы безбилетные от контролера бегают.

– А мне бежать больше некуда.

На июнь была назначена защита диссертации. За полтора месяца до того Федор снял трубку трезвонившего телефона – оттуда вырвались бодрые вопли деда Филимона.

– Федька! Ядреный ты перец, до чего ж я по тебе соскучился. Как мать-отец? Когда к нам сюды опять нагрянешь? Бабка-то наша померла, схоронили на той неделе. Да, слышь, я ж теперь эксплантатор! Бизнес растет, ага, нанял себе двоих, на посылки, пушай бегают вместо меня. Ты-то как, не обженился? Я тебе чего звоню-то. Новость тут такая. Аглайка у нас сомлела. Дохтур приезжал, говорит, в город ее надо, на это... исследование, болезнь искать, значит. А девка ни в какую, лежит, таращится. Худущая, одни глаза остались, а от дохтура будь здоров отбивается. Не поеду, говорит, ни в какой город, там, говорит, помирать страшно. А как забудется, так бредить начинает, ага. Тетка ейная убивается, говорит, Аглайка в безрассудке все Федьку зовет, томится сильно. А как в себя придет, не помнит ничего. Ты б приехал, а? Девку спасти надо, загубит себя. Что ж это за любовь промеж вами такая бедовая приключилась, ох, не пойму, Федька. Ты в припадке укатил, Аглайка учудила тож...

Спустя сутки Федор сошел с трапа самолета в Барнауле. Еще через восемь часов стоял у двери Аглаино дома. Забыв про звонок, тарабанил кулаком.

– Батюшки! – сперва напугалась, потом просветлела тетка.

Федор скинул с плеча сумку.

– Где она?

Тетка, сама мало не сомлевшая от наплыва чувств, показала на Аглаину комнату.

Задержавшись перед дверью, Федор хотел постучаться, но вдруг отдернул руку. Мысль,

бежавшая за ним от самой Москвы, наконец настигла и впиваясь в мозг, впрыснув туда сомнение: что если опять прогонит? В бреду она могла любить его, а наяву... «Хотя бы увижу ее», – подумал Федор и открыл дверь.

Аглая лежала на постели, той самой, где прошлым летом лечила его от простуды. Из-под одеяла в самом деле выглядывали одни глаза, лица было не отличить по цвету от белой подушки.

– Ты... – глаза сделались еще больше, хотя это было уже невозможно.

– Я. Ты звала меня.

Она попыталась улыбнуться.

– И ты опять привел за собой хвост?

Федор перевел дух. Его не гнали. Это главное.

– Нет. Больше никаких хвостов.

– Мне уже лучше. Садись.

Она показала взглядом на табуретку у постели. Федор жадно глядел на ее исхудалое лицо.

– Что ты с собой сделала...

– Хорошо, что ты приехал. Я хочу... нет, я должна тебе...

– Ты ничего мне не должна, – спешно возразил он.

На лице у нее заблестели слезы, потекли к вискам.

– Прости меня. Я была...

И дальше пошло такое, от чего у Федора полезли на лоб глаза. Что она была ужасная дура, хуже самой глупой деревенской бабы. Что ее мало за это просто убить, а надо зажарить на медленном огне. Что из-за своей гордыни и непроходимой тупости она обидела такого хорошего человека, как он. Что он действительно не мог знать, чем все закончится там, в горах, и не хотел никому зла, наоборот, спасал ее, неблагодарную. Что все эти долгие месяцы она только о том и думала и в итоге вот. Результат, как говорится, налицо.

– Простишь?

– Дуреха ты и вправду. Я тебя простил еще до того, как нашел у себя это.

Федор положил ей на грудь золотой медальон.

Аглая просияла, похожая на полыхающую огнем щепку, выпростала из-под одеяла прозрачную руку, сжала заветный медальон.

– Спасибо. Ты настоящий...

– Кто?

– Просто – настоящий.

Федор качнул головой.

– А теперь и ты меня прости.

Аглая внимательно выслушала его, еле заметно двигая тонкими золотистыми бровями: что она была права и он действительно догадывался, когда вел тех двоих в горы. Что, наверное, он в самом деле хотел, чтобы все так кончилось, только не признавался себе – боялся. И что был страшно наказан за это. И какой он был недоумок, что разозлился на нее, когда она прогнала его.

– Оба мы хороши, – подытожила Аглая и взяла его за руку.

– Ну, со мной все ясно, – сказал Федор. – Но ты-то чего ради себя так мучила?

Она изобразила хитрую усмешку.

– Венчаться надо не с тем, кто полюбится, а с кем готов промучиться всю жизнь.

– Это что, – поразился он, – предложение руки и сердца?

– Оно самое.

Федор, вместо того чтобы обрадоваться, огорченно вздохнул.

– Все у нас с тобой не как у людей. Ну почему не я тебе делаю предложение, а ты мне?!

Возрожденную усть-чегенскую церковь освятили во имя Всех святых. Белокаменная краса с тремя куполами, вытянутыми в шпили, быстро прослыла окрестной достопримечательностью и собирала не только проезжих туристов. Русское население на сто верст вокруг, одичавшее от духовной бескормицы, вдруг потянулось к храму. Затепливало свечи, умилялось на иконные лики, с натугой извлекало из закровов застарелые грехи, охотно внимало красноречию отца Павла на проповедях. Вслед за тем дрогнуло туземное население: стариков, страшавших духами, не слушали, бегали смотреть на русского Бога, украдкой трогали распятие и повязывали, где можно, цветные ленточки.

Едва встав на ноги, Аглая отправилась к конюшне, битый час ласкалась с лошадьми, кормила сахаром, расчесывала гривы. Утомившись, позволила Федору отнести себя на руках домой – весу в ней было, как в котенке. На другой день он повел ее гулять к церкви. Уговорили отца Павла совершить обручальный обряд, для чего скрутили в кольца бесхозную проволоку. После обогнули церковь и остановились у могильного креста. Вокруг плиты густо вылезала из земли майская трава. Позолоченные буквы ярко горели на полуденном солнце.

Аглая вскрикнула. Взгляд Федора заметался, но ничего страшного поблизости не обреталось.

Она показала. В нескольких метрах от могилы тянулся к небу безобидный прутик с березовыми листьями юного салатного цвета.

– Этот кустик похож на привидение? – спросил Федор.

– Почти, – еле слышно прошептала она. – Он похож на белую березу.

Федор уставился на березу, пытаясь угадать в ней нечто большее, чем дерево.

– Прошлым летом ее здесь не было, – удивлялся он. – Когда успела вымахать?

Аглая вцепилась в его ладонь, сжала из всех своих хилых сил.

– Белая береза возвращается. Ты знаешь, что это такое?!

– Лучше скажи сама.

Она обмякла, оперлась на него и ответила:

– Чудо.